

Ольга МАСЛЕЙ

САМИ ПО СЕБЕ

1967

О. МАСЛЕЙ

САМИ ПО СЕБЕ

New York
1967

**All rights reserved. No part of this book may be reproduced
without permission from the author.**

1.

По линии был отдан приказ пропустить поезд особого назначения без задержек. О том, кто едет в вагоне первого класса, в приказе не говорилось. На остановках станционное начальство с опаской поглядывало на задернутые шторами окна и спешило с отправкой.

Во второй вагон, назначенный для охраны, еще в Ростове набилась посторонняя публика. Были тут и военные, и штатские в кожаных куртках и новых полушубках, были полувоенные во френчах без погон. У всех были удостоверения и командировки, помогали и продукты — денег начальник охраны не брал. В первый же день все перезнакомились, пили чай, закусывали южной снедью — по всему вагону пахло копченой рыбой и острыми консервами. Разговоры шли деловые — где и что можно достать и почем продать.

В окна никто не смотрел, да и смотреть было не на что — черные, с пятнами снега, поля, хутора без признаков жизни, кое-где сгоревшие села. В одном месте шум поезда спугнул стаю ворон; они дождались пока поезд подошел совсем близко и с сердитым карканьем закружились в воздухе. Видел их только машинист да дежуривший на площадке охранник. Охранник прервал пение, посмотрел вверх на птиц, вниз на лежавшие в овраге мертвые тела, плюнул и, ловко поймав оборванную ноту, запел опять. Машинист высунулся до пояса из окна и крикнул что-то неразборчивое. Едва прошел поезд птицы снова опустились в овраг.

На второй день стали попадаться перелески и холмы; обледенелый снег тонким слоем покрывал поля, низко нависло серое небо.

Охрана занимала первое отделение. Между лавками был втиснут стол, шипел примус, подогревая в огромном чайнике воду. Охранники играли в карты и пели.

За кипятком приходили со всего вагона; чаще других навевался чернородый человек в косоворотке, тугой ворот был расстегнут, открывал широкую красную шею. Если чайник не кипел, он присаживался на лавку и ждал. Место его было за перегородкой, но там он скучал — соседи были неподходящие. Офицер Генерального штаба, франтоватый молокосос, с восторгом рассказывал какой у них выдают паек и какую шикарную бурку он получил, белая была бы лучше, но и черная хороша. Генштабист ездил навещать родителей, отец священник, фамилия Оболенский.

— Фамилия неудобная, — заметил чернородый.

— Но ведь я же не князь, — горячо оправдывался молодой человек: — Это странно, но среди духовенства много таких имен. В Москве есть священник Толстой, совсем не граф, никакого отношения. Отец говорил — есть Трубецкой.

На вопрос о том, что можно достать в местах, откуда он едет, генштабист ничего путного сказать не мог и стал рассказывать о проекте новой формы для красноармейцев.

— Понимаете, шапки остроконечные, как при Александре Невском, конечно суконные, шинели длинные на груди нашивки. Шикарно, не правда ли? Еще не прошло, но я думаю примут...

Третий пассажир, небольшой, худощавый, похожий на мастерового, ни с кем не разговаривал. Он то спал, прислонившись к стене и вытянув ноги в серых валенках, то читал растрепанную, похожую на учебник книгу. Чернородый предложил ему бутерброд с икрой, но мрачный пассажир отказался и достал из мешка серый южный хлеб и сухую треску.

— Икорка-то лучше.

— Придет время и икру будем есть.

Дождавшись пока он выйдет за кипятком, чернородый приподнялся и открыл книгу.

— География Смирнова! — фыркнул он, выпучив

глаза: — Из „них“, уж это вы мне поверьте, у меня нюх...

Чем дальше на север подвигался поезд, тем больше были толпы мешечников на станциях и тем отчаянней они осаждали поезд.. Верст за двести до Москвы толпа опрокинула охрану и, гремя чайниками, толкая друг друга тяжелыми мешками, полезла на площадки.

— Слезай, сукины дети! — кричали охранники: — Поезд особого назначения. Оглохли? Стрелять будем!

Передние отшатывались, но сзади их подпирали другие, толкали вперед. Один из охранников прицелился в круглое облако и выстрелил. В толпе застонали, заохали; мешечники стали прыгать с буферов и с крыш; баба с громкими причитаниями дергала застрявший между перилами мешок. Только человек десять красноармейцев — кто в шинели, кто в ватной куртке, кто в подпоясанном ремнем старом пальто — продолжали лезть, сталкиваясь с отступавшими бабами.

— Стреляй! — весело и зло кричали они: — Небось мы стреляные. Что нам околевать здесь, что ли? Третьи сутки сидим, хлеб весь сожрали. Эй, велика Федора, чего стал? — понукали они высокого, с обмотанной грязными тряпками головой, красноармейца: — Ай, испужался? Авось не убьют! А и убьют — один конец...

Начальник охраны махнул рукой — до Москвы было недалеко.

— Вали, ребята, садись, лезь на полки, местов много! — орали солдаты, рассаживаясь за перегородкой первого отделения.

Через полчаса они мирно пили кипяток и жевали хлеб. И хлеб, и кружку дал мрачный пассажир.

— Мне не к чему, — сказал он отрывисто, — скоро доедем.

Молодой солдат с обмотанной тряпками короткой ногой все шутил, вспоминал как охранник толкал его прикладом в грудь.

— А я его костылем, — повторял он, беззаботно смеясь, — я его костылем! У меня своя оружия. Эй, ты, Федора, чего заскучал? Иди чай пить! Робеть нечего...

Высокий красноаремец лежал на верхней полке, отвернувшись к стене и обхватив голову руками.

— Спит, не тревожь, — останавливал пожилой солдат, смотревший в одну точку широко раскрытыми глазами, — ему и жевать неспособно. Чайку бы, конечно, хорошо.

— После попьет, кипяток вольный, — заметил пассажир в валенках: — Он что, раненый?

— Обожгло, что ли, почти что и не говорит, так мычит чего-то.

— Откуда?

— А родимец его знает, он к нам по пути пристал. Да мы и все кто откуда, кто по чистой, кто с отпусным билетом. Егорка вон прямо от Деникина...

Хромой солдат расхохотался.

— Я везде был, — сказал он хвастливо: — Что вы знаете? Как есть ничего! Вот ты мне скажи: кто такой есть атаман Григорьев? Не знаешь! А кто такой Махно? Да мало ли их! Мы с нашим барином Арсений Петровичем во всех странах побывали, в такие места зашли как есть ничего не понимаем! Денег у нас полна шкатулка, запустил руку, бери сколько захватишь. Ну народ там, я вам скажу, глупый! Ты им говоришь, они глядят и глазами хлопают. А живут чисто, много лучше против нашего. И девки у них красивые, черти! Перекинулись мы к Деникину, сперва в каком-то городе стояли, забыл название, лавки богатые, всякого товару навалено. Я матери полушалок купил. Потом стали мы наступать. Совсем близко подошли, вроде как свои места и говорят по-нашему. Я к Арсений Петровичу, не хочу, мол, больше воевать, домой пойду. Он на дыбки: „Ах, ты такой-сякой, мерзавец! Ты присягал?“ Ну подождал дня три. А тут, не знаю что такое, назад повернули.

Вижу дело плохо, занесет нас опять невесть куда. „ Так и так, — говорю, — Арсений Петрович, вы господа, вам все едино где ни жить, а мы христиане, нам надо к дому подаваться. ” Он, понятное дело, ругаться. „ Пошел, говорит, ты к черту ! Ты ж там с голоду околеешь, дурак ! ” А тут сколько то времени прошло, меня и пристукнули, взяли в гошпиталь, так и остался . . .

Рассказывал он для собственного удовольствия, никто его не слушал. Солдаты заняли все лавки, кто спал, кто громко зевал. Стало темнеть; за окнами ползли холодные снежные поля, чаще стали попадаться постройки, глухие обмороженные станции. К Москве подъехали незаметно, загрели рельсы на стрелках. Охранники стаскивали с верхних полок поклажу.

— Вставай, ребята ! — очнувшись, крикнул хромой солдат: — Эй, Федора, приехали в Белокаменную !

Большой красноармец тяжело спрыгнул с полки, подтянул бинты и вышел за другими на пустынную, темную платформу. В воротах стояло заграждение, проверяли документы. Под высокими крышами гулко отдавались голоса. Дожидаясь в очереди, хромой солдат балагурил, трюнил над товарищами и над самим собой.

— Пропал я ребята ! Сцапают они меня, сукин ты сын, скажут, белогвардеец, буржуй !

Шутил он и с заградительным отрядом, величал их „ ваше благородие ” и пропустили его, не глядя в замусолненное, продранное свидетельство. Пропустили и других.

За воротами высокий солдат остановился и полной грудью вдохнул морозный воздух. Его товарищи, толкаясь и что-то крича, прошли мимо. Впереди глухо шумела и шевелилась площадь. Нагруженные поклажей люди двигались во всех направлениях, перекликались и натывались в темноте друг на друга. Потрескивали костры, освещая то лохматое брюхо лошади, то горбатую, с мешком за плечами, фигуру.

Завидев огни подходившего трамвая, солдат дви-

нулся вперед. Трамвай со скрежетом завернул к вокзалу; в несколько минут он был набит людьми, мешками и бидонами. Солдат остановился в нерешительности.

— А вот раненого пропустите, убогого, солдатика, — верещала неизвестно откуда взявшаяся старуха, цепляясь за его рукав и стараясь вместе с ним вскарабкаться на подножку.

Он вырвал руку и отступил в темноту.

Вдоль тротуара, как в прежнее время, выстроились извозчики; худые, лохматые лошади стояли понуриив головы. Тут же между лошадьми, в диком свете костров вертелись мальчишки с салазками, покрывая резкими глосами крики извозчиков.

— Эй, гражданин, куда прикажете? Санки глядите какие, десять пудов довезу!

— Не верь, родимый, не верь, — бормотала над его ухом женщина с детскими саночками: — Они ребята продувные, нахальные — убегут и не догонишь! Вчерашний день обчистили так гражданочку... Уж давайте я довезу, много не возьму, помаленьку и доедем.

Под разломанным забором сидели обмотанные тряпьем бабы.

— А вот свеколка горячая, сахарная! — покрикивали они.

— Пирожки с говядиной!

— Эй, тетка! — кричали озорными голосами мальчишки, — почем ихoho?

Солдат дошел до угла и свернул в переулок. Мимо него, ныряя по ухабам, тянулись нагруженные сани; тут же по мостовой двигались пешеходы.

— На Остоженку довезешь? — спросил он дремавшего на углу извозчика.

Извозчик вздрогнул, очнулся, собрал вожжи. Ехали по пустым, темным улицам, шум площади затихал, все реже попадались прохожие. На высоком черно-синем небе поблескивали крупные звезды. На углу Маросейки какая-то женщина кричала на ребенка лет семи, сидевшего на снегу.

— Тяжело ему, подумаешь, устал! Ты погляди какой у меня-то мешок. Да иди ж ты, я тебе говорю, ишь, расселся!

— Ослабел народ, — пробормотал извочик, поворачивая к седоку бородатое темное лицо: — Вовсе есть нечего... Пришла, видно, наша смерть! Третьего дни стоял я у вокзала, сшибло каких-то встречным поездом, восемь человек искалечило. Дикий народ стал, ухватятся как ни попало, повиснут на приступках — только бы уехать... Да нешто можно? Ну, и сшибло. Меня милиционер забрал в больницу везть, все сани искровянили. Уж я теперь у вокзала не стою...

Он покрутил головой и отвернулся. Потом, подумав, заговорил сам с собой:

— Да и то сказать, как же теперь быть? У кого если детишки? Все-таки, думает, хоть картошек мерзлых привезу или там крупicc сколько-нибудь...

Солдат молчал. Долго тянулись по безлюдным улицам, по занесенным снегом площадям. Спотыкалась лошадь, сонно покачивался извозчик. Выехали к Храму Спасителя; подул с реки ледяной ветер.

— Так как же, значит, новая власть? — глухо спросил солдат: — Не очень-то о народе думает, даром что народная?

— Власть! — взвизгнул извозчик так громко, что отдалось в стенах храма: — Какая же она власть, лихоманка ее задуши! Погубили народ интеллигенты, пропадаем ни за что!

2.

Через час умытый, переодетый в мятый, пахнущий нафталином костюм, он сидел в заставленной мебелью комнате, наклонившись вперед, положив локти на колени.

— Так как же вы все-таки живете? — повторял

он оглядываясь : — Ведь, говорят, ничего нельзя купить... Вы здесь спите ? Почему в столовой ? А где Аня ?

Сидевшая против него женщина в черном, монашеского покроя платье рассматривала его прищуренными глазами.

— Ну ты и пропах какой-то гадостью, — заметила она морщась : — махоркой или потом... Что с твоим лицом ? Какие-то пятна, может тиф ? Почему ты ни разу не написал, неужели не мог как-нибудь дать знать ?

Он откинулся назад и, упершись ногами, попробовал отодвинуть тяжелое кресло.

— А вы совсем не изменились, мама, даже удивительно ! Ну, расскажите мне про Аню, что она делает ?

— Аня в Новой драматической студии, очень довольна...

— Ну а как вы вообще живете ? Вы даже не похудели...

— Легко говорить ! — воскликнула она обиженно : — Живем ужасно, если бы не Анин паек, давно бы с голоду умерли. Да еще эта дура, Паша, кое-что привозит. Мне даже кажется ей нравится наше положение, целый день где-то носится, комнаты ей убрать некогда, стоит в очередях... Могла б и не стоять, все равно ничего не продают. Ездит в деревню, недавно я целую неделю сидела одна, как без рук ! Теперь это называется мешечничать, как тебе нравится ? Но скажи же мне о главном — что случилось, почему отступили ? Ведь мы здесь ничего не знаем, живем как в лесу — газеты все врут, тошно читать... Почему ты молчишь ?

Он открыл глаза.

— Голова кружится, должно быть устал. Две недели ехал, даже не ехал, а валялся на каких-то станциях...

— Две недели ? Мы здесь два года сидим, ждем, надеемся !

— Вы, мама, не представляете — меня каждую минуту могли арестовать.

— А мы? Ты просто не знаешь, что сейчас делается! Ах, как все мечтали, как надеялись...

— Ну, не все, — усмехнулся сын.

— Ты мне не веришь? Паша! — крикнула она, поворачиваясь к двери: — Паша!

Дверь приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить большую, в белом фартуке фигуру.

— Паша, скажи Дмитрию Дмитриевичу как ты молебен служила! И закрой дверь — холоду напустишь.

— Ну и служила, что ж такого? Кушать то будете, небось не емши?

Дмитрий Дмитриевич раздвинул насупленные брови.

— Спасибо, Пашенька! Я и не помню, когда ел что-нибудь горячее, — да еще этот бинт проклятый!

— Бинт? — удивленно переспросила мать: — Какой бинт?

— Ерунда, камуфляж, я на кухне снял, не хотел пугать.

— А у меня сердце так и упало, — в волнении заговорила Паша: — гляжу, лезет какой-то, шинель солдатская, сам огромный, голова вся замотана. „Давай, говорит, ножницы скорей!“ И голос вроде знакомый, а не узнаю. Сейчас, думаю, зарежет!

— Ну, хорошо, хорошо, довольно. Иди и принеси Дмитрию Дмитриевичу чего-нибудь покушать!

— Ты, Пашенька, бинт убери — сожги, что ли?

— Пахнуть будет, — поморщилась мать.

Паша боком протиснулась в коридор и закрыла дверь.

— Неужели она в кухне живет? Там холодней чем на улице.

— Заставишь ее! Теперь даже Паша по-другому заговорила. Молебны то она служит, а вчера пришла с какого-то собрания — у нас ведь все заседают и дворники, и кухарки — так она пришла и заявляет, прислуге, говорит, полагается каждую неделю свободный день, и отпуск, и еще что-то... Можешь себе вообразить?

— Но где она, все-таки, спит?

— Вот здесь у меня на диване. Ужасно, конечно, но сейчас так тревожно, я каждую минуту просыпаюсь, все-таки есть кого позвать. Но ты мне так и не сказал, что произошло, почему отступили? Ведь дошли до Орла, так по крайней мере говорили? Правда?

— Правда, — неохотно согласился он.

— Так что же случилось? Вдруг, когда мы уже были уверены, что конец этим дьяволам — и ничего!

Дмитрий Дмитриевич крепко потер лицо обеими руками.

— Все это очень сложно, — пробормотал он угрюмо: — Главное, конечно, отсутствие поддержки.

— Поддержки? Но я ж тебе говорю... — и перебивая, не слушая, она стала рассказывать о каком-то предсказании, об отце Серафиме, на проповеди которого собираются огромные толпы, о грабежах и арестах, о темных слухах, о человеке с мешком за плечами, ожидавшем трамвая на Театральной площади... — И когда мешок развязали, там был мертвый ребенок, весь исколотый, не первый, потому и заметили что несколько раз и всегда с мешком...

— Мама, — сказал он, дождавшись паузы, — а где Лена? Вы что-нибудь знаете?

— Не знаю и знать не хочу! Наверно, живет в Кремле. Какое ей дело, что гибнет Россия, что люди пухнут с голоду... Вон у Марьи Васильевны руки в ранах, пальцы отваливаются. А помнишь Костю Сахарова? Арестовали! Мать в отчаянии, и надо признать, он вел себя как герой, так прямо и сказал все в глаза следователю. Уж они хлопотали, хлопотали — ведь у них связи. „Растреляем, говорят, но вы не беспокойтесь, очередь большая“. И это люди, скажи мне, это люди?

— Действительно в Кремле? — спросил он, пережевывая что-то горячее и безвкусное, поставленное перед ним Пашей: — Или вы это так?

— Ну почему я знаю? Ах, конечно, это грех когонибудь ненавидеть, но я просто не могу! Она и твою

жизнь погубила, а теперь из-за таких как она гибнет Россия. Ты бы давно кончил университет, был бы человеком...

— Ах, мама, какое это теперь имеет значение!

— Так не всегда же так будет! Придет все в порядок, что ты будешь делать, начинать сначала? Не знаю в чем дело, но ты всегда идешь против течения, будто нарочно хочешь испортить жизнь. Раньше не хотел кончить университет, работать, иметь приличное положение, а теперь... конечно, все это ужасно, и я Бога молю каждый день, чтоб как-нибудь это кончилось, но кто знает, сколько они еще продержатся? Все-таки многие устроились. Посмотри Алексей Иванович — получает прекрасный паек, даже копченую грудинку дали, правда с душиком, но кто теперь на это смотрит...

— А где Дима, вы знаете? И вообще все они, Чернышевы?

— Владимир Николаевич умер, ты слышал? И я считаю, что это прямо наказание от Бога. Он как будто и порядочный был человек, но тоже, тоже с либеральным душиком — вот Бог и наказал! А может и к лучшему, еще позавидуешь, по крайней мере не мучается.

Дмитрий Дмитриевич выпрямился и поднял голову. Кто-то громко стучал в кухонную дверь. Морщинки на лице матери разгладились.

— Аня, она всегда так!

В коридоре щелкнул выключатель.

— Чего вы в темноте сидите? — крикнул молодой, веселый голос: — Ты что-то врешь, Махмуд-паша, уж я по лицу вижу. Говори, что случилось!

Дверь распахнулась; в светлом четырехугольнике остановилась нарядная, ловкая фигура в высоких серых ботиках; блестящими из-под мехового берета глазами она вглядывалась в полутьму комнаты. Сзади ухмылялось широкое Пашино лицо; мать, не замечая отворенной двери, смотрела с довольной улыбкой. Дмитрий Дмитриевич приподнялся.

— Митька! — вскрикнула Аня, выпуская ручку

двери и кидаясь вперед : — Митька ! Я знала, я чувствовала ! Наши празднуют годовщину, меня так уговаривали, но я знала, что дома что-то случилось... Ах, как я рада ! Ведь ты оттуда ? Как ты приехал ?

Дмитрий Дмитриевич целовал шершавые от грима щеки, крепкий носик, вуаль, мокрый мех. Наконец она его оттолкнула и со смехом упала в кресло.

— Я совсем не ожидал, — пробормотал он неловко.

— Чего не ожидал ? — насмешливо спросила она.

— Что ты такая... взрослая. Как ты не боишься по улицам ходить в таком виде ?

— Я одна не хожу — меня всегда кто-нибудь провожает.

— Вот и я говорю, — вмешалась мать, — вырежут ей спину, тогда и будет знать как франтить. Нет, это правда ! Одна дама — я ее не знаю, но мне рассказывали — идет она по улице и вдруг замечает, что все на нее смотрят. Ну, она сначала думала завидуют — у нее пальто каракулевое. А потом какая-то старушка и говорит: у вас, сударыня, полспины вырезано. А она и не почувствовала ! Так ловко, ножницами или бритвой, где-нибудь в толпе, в трамвае...

— Кушать будете ? — спросила Паша, стаскивая с Аниной ноги ботик.

— Какая-нибудь гадость ? Ах, я сегодня замечательный салат-оливье ела, почти как в прежнее время ! Нет, Махмуд-паша, я не хочу, спасибо. Постой ! Вот держи талон, лучше завтра иди, а то расхватают, говорят, даже мед дают.

— Слушай, Аня, — сказала мать, — я думаю, Мите здесь постелить, а Паша у тебя на диванчике, а то ему будет коротко.

— Митя здесь ? Ни за что ! Это несправедливо, вы уже наговорились, а я еще слова не сказала. Нет, я знаю ! Паша, стели Дмитрию Дмитриевичу у меня на кровати, а я на диване. Идем, Митька ! Я тебе покажу замечательное достижение революции. Понимаешь, электрическая

печка, греет прекрасно и ничего не стоит! Я сама не понимаю как — мне один поклонничек устроил — мимо счетчика что ли... Ужасно смешно было! У нас есть заведующий технической частью, ничего, только простоватый. Я уже давно заметила, что он смотрит такими телячьими глазами. Вот раз на репетиции я говорю, как я ненавижу холод — пол бы жизни отдала, чтоб было тепло. Что ж ты думаешь? На другой день устроил мне эту печку. Я его благодарю, а он вдруг: А как же полжизни? Вы обещали. Вот дурак! Ну, что ты молчишь? Рассказывай!

Стены были увешаны огромными фотографиями бритых молодых людей и самой Ани в дубовом венке с голыми плечами, в испанском костюме с веером и в белом монашеском одеянии.

— Значит ты стала знаменитой артисткой.

— Ну, знаменитой я никогда не буду, — ответила она с напускной небрежностью: — Про меня обыкновенно пишут „Очень красива Опочинина в такой-то роли...“ Понимаешь? Про наружность, не про игру. Хотя я не знаю... У нас есть одна маленькая штучка, мордорот ужасный, но талант! Я ее по сто раз слушаю на репетициях и каждый раз мурашки по коже. Так она вчера мне говорит, я б свой талант отдала, только бы красивой быть...

— Все-таки, — сказал Дмитрий Дмитриевич, глядя на какую-то фотографию: — мама странный человек — этот ее костюм и крест...

— Пожалуйста, не придирайся! Она душка. И костюм стильный.

— Да не только костюм, вообще... Она как будто даже не обрадовалась.

— Фу, Митька, как тебе не стыдно! Это все мужчины так — пропадают, забывают и уверены, что женщины должны сидеть, ждать и кидаться в объятия, как только они удостоят появиться...

Дмитрий Дмитриевич сердито раскрыл запухшие глаза.

— То есть что ты хочешь сказать ?

— Ну-ну, пожалуйста, не сердись ! Лучше попробуй стать на ее место. Я маленькая была, но я помню, как она страдала, когда ты бросил университет и поехал куда-то на Северный полюс. А после этого сколько раз ты дома бывал ? То Париж, то война, то еще что-нибудь . . .

— Не могу же я отказаться от жизни . . .

— Ты не должен жаловаться. Может раньше так было, что женщины сидели и ждали, а теперь . . . Ну что ты так смотришь ?

Дмитрий Дмитриевич лежал между холодными простынями и постукивал зубами. Он чувствовал, что кровать куда-то едет, ее заносит то вправо, то влево, Анин голос уплывает, исчезает в снежной мгле. Он сделал усилие и открыл глаза. В комнате было почти темно, оранжево поблескивали спирали электрической печки, Аня смотрела на него с дивана, наклонившись вперед и подперев голову.

— Что ж ты не рассказываешь ? Я хочу все, все знать ! Ты пойдешь к Лене ? Я ее встретила, вид у нее ужасный.

— А где она живет ?

— Я с ней не говорила. Ты можешь узнать у Сережи. В их доме какой-то комиссариат. Ну, начинай ! Нет, подожди, я хотела еще одну вещь рассказать. Ты знаешь, наша студия под особым покровительством, поэтому и пайки и всякие льготы, но весной мы чуть было не засыпались. Все из-за „ Мы последние ” — глупо было ставить. Хоть из времен французской революции, но очень похоже. Ну и началась буря. На другой день после генеральной репетиции в Известиях статья : „ Невозможно терпеть ! Неужели советская власть не поможет нам бороться с кровавым вороньем ”, и т. д. Такие идиоты ! Потом приказ — пьесу запретить, назначить комиссию для расследования. Стали решать кому итти к

Луначарскому. Пришлось мне, потому что он всегда очень любезно со мной разговаривает.

— В Кремль ?

— Нет, в Наркомпрос. Такой противный старикашка — говорит, говорит, а сам смотрит масляными глазками. Кончилось все благополучно — ревизию отменили, назначили к нам товарища Зорича — имя, конечно, не настоящее. Он совсем ручной, мы над ним смеемся, дразним, рожа у него ужасно глупая, мы так к нему привыкли, что уже не замечаем, он приходит на наши вечеринки, приносит всякие деликатесы, очень интересуется искусством, даже стихи пишет — сплошной ужас, но мы нарочно хвалим, восхищаемся. Ты знаешь, он деньги в мешке носит, в самом обыкновенном мешке, как раньше сахар продавали, и никогда его из рук не выпускает. Станный тип, но он ничего. Ты заметил мои боты ? Это он достал, теперь такие ни за какие деньги не купишь !

Дмитрий Дмитриевич слышал все, что говорила Аня, чувствовал под собой мягкие пружины матраса, но откуда-то сзади проступали другие голоса, ему казалось, под ним покачивается полка вагона, бормочет старый извозчик.

— Аня ! — сказал он, тяжело переворачиваясь на бок, — у меня все в голове мешается. Разве ты не видишь, что делается ? Люди с голоду умирают, едят лошадей, крыс . . .

Несколько секунд Аня продолжала улыбаться, потом лицо ее сморщилось в недовольную гримасу и голова откинулась на подушку.

— Ах, оставь, пожалуйста ! — воскликнула она нетерпеливо : — Все это преувеличено, люди всегда стонут и жалуются. И все можно достать, дорого, конечно, но можно ! И вообще надо уметь . . .

Дмитрий Дмитриевич дышал через нос, громко посапывая.

— Слушай, Анька, поедem со мной !

Она ответила не сразу, будто не поняла или не поверила своим ушам.

— Куда? Зачем? Что я там буду делать? Неужели ты думаешь, я брошу студию? Ни за что на свете! Нет, Митя, не сердись, ты знаешь, мы с тобой совсем разные — ты идеалист, у тебя всегда общественные интересы, всякие революции и войны, а я люблю только искусство.

— Ты здесь пропадешь, Аня.

— Пропаду? Почему? Не беспокойся, проживу не хуже людей.

Дмитрий Дмитриевич долго не мог заснуть. Сколько он ни думал, все было сумбурно и мучительно. Только одно было ясно — надо как можно скорей выполнить поручения и вернуться на юг.

— Ты не спишь? — смеющимся голосом спросила Аня: — Я только хочу рассказать что-то забавное. Помнишь Ивана Александровича? Ну, который с папой в винт играл? Можешь себе представить, сделался большевиком. Дядя Коля возмущался ужасно: Позор! Долг интеллигенции! А третьего дня звонит маме и очень осторожно начинает объяснять, что глупо рисковать из-за мелочей, подставлять палки в колеса, надо сделать вид, что сочувствуешь. Ты слышишь?

— Да, я слышу, — ответил Дмитрий Дмитриевич.

3.

Вторую неделю ходил Дмитрий Дмитриевич по улицам Москвы в старом пальто и Пашиных валенках. Никто не обращал на него внимания. Первое время он часто оглядывался и неожиданно сворачивал в переулки. Один раз за ним упорно шел подозрительный тип в офицерской шинели без погон.

Боялся он встретить знакомых, боялся громких восклицаний и вопросов, но два человека, которых он узнал,

отвернулись, не здороваясь. Впрочем, он и сам был не уверен, что заплаканная женщина с салазками действительно Анина подруга, хохотушка и франтиха, а высокий старик, стоявший с протянутой рукой на углу Знаменки, крупный чиновник, бывавший у Чернышевых по четвергам.

Ни разу он не попал в облаву, ни разу ему не пришлось пустить вход удостоверение, выданное Союзом кооперативных артелей служащему Ивану Сироткину.

— Ах, какая прелесть! — крикнула Аня, падая от восторга на кровать и размахивая бумажкой: — Кто это выдумал? Вот именно кооператор, отъевшийся на вятском масле, или это вологодское?

— Отдай! — прошипел Дмитрий Дмитриевич, вырывая удостоверение: — Сию минуту, слышишь? И не смей!.. Все только шуточки...

— Чего ты? — удивилась Аня: — В чем дело? С ума сошел?

Теперь все его раздражало — и мать с ее эгоизмом и требованиями, и Анины разговоры о нарядах и поклонниках. Ее уверенность, что она имеет право на всякие преимущества, выводила его из себя.

— Конечно — кричал он грубо, — ты и твои знакомые соль земли, а все остальные мразь. А кто ты такая, подумаешь! Только что мордочка смазливая...

— Ну, и язык у тебя армейский! Я тебя не трогаю, чего ты злишься? Оставь меня в покое. Почему я должна ходить повесив нос, как твоя Елена? Не желаю я спасать человечество — живу и живу!

— А если тебе понадобится переступить через труп, чтоб достать боты...

— Леди Макбет? Боже, как трагично! Ах, Митька, я совершенно не хочу с тобой ссориться, только ты не приставай и не учи! Ты живешь в прошлом, все это кончено, устарело, больше не нужно, уж я не знаю почему — война или революция, или просто время пришло. Ну для чего мы живем? Если честно, не врать?

Каждый ищет одного — счастья, удовольствий. Я даже не верю, что кто-нибудь искренне ничего не хочет для себя, просто воображают, что живут для других, потому что не могут для себя, не умеют или Бог обидел.

— Удовольствия! Удовольствия! Вот только ты и знаешь. Какой-нибудь мерзавец достанет тебе новые туфли, а ты с ним любезничаешь. Значит ты оправдываешь все, что происходит...

— Я и не осуждаю никого, и не хочу быть лучше других.

Даже их относительное благополучие его не радовало. Он перешел в свою старую, много лет нетопленную комнату, спал не раздеваясь, укрывшись с головой.

Известия с фронта были печальны — Красная армия быстро продвигалась вперед. Он мрачно думал о брошенных городах, о товарищах, которых быть может уже нет в живых. Надо было спешно ехать назад, а дело не двигалось — из трех человек, которым он должен был передать письма, один был в отъезде, другой скрывался, свидания с ним назначались в разных местах и отменялись.

В звонкий, морозный день в занесенном сугробами домике Замоскворечья он встретился с полковником, прославленным отчаянной атакой Карпатских высот. Дверь открыл нестарый человек в гимнастерке, в кавалерийских сапогах. Где-то мирно тикали часы; в переднюю вышла белая кошка, посмотрела на Дмитрия Дмитриевича, подергала спинкой.

— Пожалуйста, пройдите! — отрывисто сказал хозяин.

Коридор был заставлен шкафами, задняя комната выходила в сад.

— Если угодно, вот мое удостоверение.

Хозяин усмехнулся, подстриженные усы встали дыбом как у моржа.

— Все у нас удостоверения да пароли, — сказал он раздраженно: — Конспираторы! А вчера вон аре-

ставали больше ста человек, женщины и дети — Общество спасения России. Тоже особую нашивку придумали, вроде заплатки, каждый день новый пароль... И переловили их как кур. Милейшая дама одна, княгиня, старинного рода, и сына ее забрали, четырнадцать лет мальчику. Бывало в „казаков и разбойников” играли, а теперь в спасение родины. Да вы мне не возражайте! — крикнул он возбужденно: — я сам знаю, чего такая игра стоит!

Дмитрий Дмитриевич молча положил письмо на край стола.

— Мне поручено на словах убедить вас взять на себя переправу офицеров на юг. Как вы знаете, Люблянский арестован и дело остановилось. Риск большой и требуется много мужества, найти человека очень трудно. Вы известны высшему командованию с самой лучшей стороны. Если были какие-нибудь расхождения в политических взглядах, сейчас это надо забыть. Вы знаете, что белое движение совершенно аполитично, вопрос о будущем правительстве будет решен всем населением после того, как страна будет освобождена.

Полковник покачал головой.

— Что-то я не вижу, как высшее командование может быть аполитичным. Уж одно то, что они борются против захвата власти политической организацией, указывает на политическую установку. Временно они пытаются примирить разные течения, но ведь это белыми нитками шито! При первом успехе начнутся распри — монархисты, кадеты, социалисты: А что касается до населения — не доросли мы еще до политической сознательности, дальше своего носа не видим, дикий мы народ, тыкаемся как слепые. Вы думаете ко мне раньше не обращались — Правый центр, Национальный центр, меньшевики. А я вам одно скажу — никому я не верю и ни на кого положиться не могу, нехватает нам чего то... выдержки, дисциплины. Да вы не сердитесь! Тяжело об этом говорить и вам, и мне. Подождите, я

сейчас чайник поставлю. Неужели вы думаете, я вас так отпущу? Если обиделись — напрасно. Я и сам не рад, нервы, последствие ранения... Снимайте пальто и садитесь! Революция или не революция, а мы гостей голыми никогда не отпускали. Вот сюда, помягче!

Дмитрий Дмитриевич сел на смятую вышитую подушку. Стол был накрыт чистой скатертью, кровать аккуратно застелена пикейным одеялом. Перед иконой мигал огонек в красном стаканчике; в углу на полке стояли словари и чьи-то сочинения в бумажных обложках.

— Вот так и живем, — успокоившись сказал хозяин, — жена в деревне, сын еще где-то, я здесь. Вот научился стряпать, попробуйте советский паштет — чечевица и свиное сало. Не у многих вы найдете такую роскошь, мне жена присылает, и я благодарю Бога и за хлеб насущный и за то, что мы еще живы. В улучшение я не верю. Момент и у них трудный, приходится действовать осторожно, даже заискивать, но постепенно они организуются. Читали воззвание к бывшим офицерам? Любопытно составлено — там и любовь к нашей общей родине, и потомки, которые будут нас проклинать за то, что мы скрыли наши военные знания и загубили матушку Россию. Подлейший тон, подписано Брусилковым — вот старая лиса! Да вы кушайте, не стесняйтесь, позвольте я вам положу!

— Благодарю вас. Куда вы столько! Правда, паштет замечательный. Ну а дальше что?

— Что ж дальше... Все офицеры должны регистрироваться, не пойти — обречь себя на вечное нелегальное существование, пойти — сами знаете!

Дмитрий Дмитриевич прочистил горло.

— Я думаю, выход один — мы все должны объединиться, забыть несогласия, уничтожить большевиков, а тогда уж разбираться и решать.

— Дай Бог, дай Бог! — поспешно перебил полковник:

— Только что ж, собственно, изменится? Власть была, упустили, не знали что с ней делать. А теперь будет трудней — Россия расшатана сверху и донизу, большевики свое сделали. Но дело не в них, дело в том, что мы забыли о своих обязанностях, о правах помним, а об обязанностях забыли, правительство, армия, купечество, интеллигенция — все! Мне еще до революции ясно стало, что мы к пропасти идем. Помню в Австрии первых пленных взяли... Меня, знаете, их обмундирование поразило — у него и зимнее и летнее, все ловко, пригнано; уж я и не говорю, что и вилка, и нож, и тарелка, чисто, упаковано, даже зубная щетка у каждого солдата! А у наших-то? Заткнул деревянную ложку за голенище и все тут. Нет, вы мне не говорите, что не важно! Ведь это во всем, посмотрите на их окопы — стены укреплены, на полу настил. А наши капнут раза два лопатой и ладно — Бог не выдаст, свинья не съест. А вот и выдал! И свиньи нас съели!

— Вы о прежнем говорите, вы забываете, что такого правительства как наше Временное нигде и никогда не бывало. Если б не большевики...

— А-ах, голубчик! Сколько ж оно просуществовало ваше Временное правительство? Так и оказалось временным. Слова, все больше слова... А на деле непрактичность, беспомощность и большие претензии. У жены сепаратор — снятое молоко бьет струей и получается как сбитые сливки, а постоит — синеватая водица.

Дмитрий Дмитриевич оттолкнул тарелку.

— Так, знаете, до чего угодно можно договориться! В том то и беда, что у нас нет ни веры, ни умения разбираться в людях. Защищают мошенников и предателей, которых было достаточно в старом правительстве, а людей глубоко порядочных, благородных осуждают!

— А вы не сердитесь, чего вы? Я в их порядочности не сомневаюсь, только правителю надо кое-что еще кроме порядочности. В семнадцатом году я в госпитале лежал, ну, жена навещала и брат ее, а он глас-

ным в Городской думе был, придет и рассказывает. Доктор, бывало, сердится. „Я, говорит, к вам никого пускать не буду, вы так никогда не поправитесь.“ Но ведь невозможно не волноваться — до чего договаривались! Большевики на них наседали, разгоняли, а они речи говорили о свободе, о правах, об Учредительном собрании. Вот раз городской голова или товарищ его, не помню, и говорит: „Такие эти мерзавцы большевики, они скоро с Корниловым и Калединым сравняются!“ Понимаете? Ну, не слепота это?

Дмитрий Дмитриевич встал и подошел к окну. Небольшой садик был окружен забором, ровный, глубокий снег подходил под самые ветки яблонь; сзади поднималась стена пятиэтажного кирпичного дома со слепыми, забитыми инеем окнами.

— Все это надо забыть, — сказал он угрюмо: — Есть только одно — мы должны спасти Россию от большевиков.

Полковник сидел неподвижно, только чайная ложечка в его руке выбивала дробь.

— Я солдат, — произнес он глухо, — политикой не занимаюсь. Нас учили жертвовать жизнью за царя и отечество. Царя нет, есть четыре армии, в каждой какие то партии, смены правительств — неизвестно кого слушать...

— Если так рассуждать — все к черту полетит! По крайней мере там люди не рассуждают, не умничают, а отдают жизнь за родину. И победят, вот увидите, правда всегда победит!

Полковник проводил Дмитрия Дмитриевича до двери.

— Жизнью тоже можно жертвовать по-разному, — сказал он, прощаясь: — Вот я сейчас графа Льва Николаевича Толстого перечитываю. Помните, как польские уланы бросаются в Вилию и тонут без всякого смысла, в полверсте от переправы, только чтоб перед Наполеоном выслужиться. А у нас и Наполеона то нет... Нужен бы, очень нужен! Корнилов, Лавр Егорович, может и смог бы, да не дал Господь, а другие — нет...

Мороз усилился, туго скрипели шаги, над занесенными крышами ветер мел снежную пыль. Прошла молодая женщина с ведром густой зеленой воды; человек в шинели тащил салазки, нагруженные обломками досок; ребенок с чайником кипятку попятился в сугроб, со страхом глядя в насупленное лицо Дмитрия Дмитриевича.

Со скрежетом обогнал пустой трамвай. Дмитрий Дмитриевич побежал к остановке и едва успел вскочить на подножку.

— Куда лезешь? — сердито крикнула кондукторша с белым пятном на щеке: — Не видишь вагон в парк направляется?

— Как же я могу видеть? Надписи нет.

— Надпись ему понадобилась, грамотный какой!

— Зачем же останавливаетесь, если в парк?

— А тебе что? Или места мало, обойти не можешь?

Постоял бы на морозе четырнадцать часов без смены, тогда б и говорил. Ну, ладно, давайте деньги, — прибавила она добродушно: — может сколько-нибудь подвезем.

На другой день он узнал, что вернулся крупный промышленник, которому было адресовано одно из писем. Свидание было обставлено таинственно — из одной квартиры в доме страхового общества „Россия” его провели в другую через дверь заставленную гардеробом. В большой комнате с мебелью, обитой желтым атласом, с пальмами и статуей Венеры в углу, сидело человек шесть или семь. Тучная старуха, в лиловом платье, со скрипом повернулась всем туловищем и подозрительно осмотрела его с ног до головы.

— Значит, вы от его высокопревосходительства, — сказал господин в визитке, с тщательно зачесанной лысиной: — Присядьте!

Он кивнул на стоявший у двери стул. Дмитрий Дмитриевич продолжал стоять, сжимая и разжимая красные от холода руки. Гости приглушенно разговаривали. Хозяин разорвал конверт и стал неспеша читать письмо, делая странные гримасы ртом и щеками.

— Чудаки ! — воскликнул он, поворачиваясь к гостям и не обращая внимания на Дмитрия Дмитриевича : — У них там странные представления, воображают, что у нас золотые россыпи. Главное теперь, после отступления — все равно, что выбрасывать деньги на улицу ! Оставьте на всякий случай адрес ! — сказал он, обращаясь к Дмитрию Дмитриевичу.

Дмитрий Дмитриевич переступил с ноги на ногу.

— Мне было сказано поставить вас в известность относительно настоящего положения, — сказал он, стараясь ни на кого не смотреть.

— Вы можете не беспокоиться ! У нас имеются самые точные сведения.

Со сжатыми кулаками и стиснутыми зубами Дмитрий Дмитриевич прошел через засекреченную дверь и выбрался на улицу.

Оставалось еще одно письмо. Известного эс-эра он знал в лицо, когда-то видел его на бурном митинге в Политехническом музее, в памяти остались широкие жесты и вдохновенный голос. Теперь перед ним был пожилой господин, с усталым лицом, с полуседеыми волосами. Мятый френч обтягивал круглый живот, глаза рассеянно блуждали по разбросанным на столе бумагам.

— Очень сожалею, что задержал, — говорил он скрипучим голосом : — но, знаете, я так занят, часто не успеваю пообедать. Вот и сейчас — через полчаса уже надо ехать... А главное, за мной гонятся как за дичью. Странная судьба, — он самодовольно усмехнулся, — царское правительство преследовало, а теперь так называемое социалистическое. Так вы были у Рукобойникова ? Не беспокойтесь — он мне сам рассказал. И, конечно, он плакался, что жить не на что и что сделать ничего не может ? Удивительно ! Чем больше живу, тем больше меня поражает человеческий эгоизм и расчетливость... Громадное большинство людей неспособны на порыв, на жертву. Вы заметили золоченую мебель, и статуи, и пальмы ? Говорят, у него диванные подушки

набиты „катеньками”. Не стоит о нем говорить! Принимая во внимание значение, которое мне приписывают большевики, писать было бы слишком рискованно. Поэтому давайте лучше на словах. Во-первых, я не понимаю, что ваши генералы там думают? Предлагают соединить силы. Но каким образом? Мне передвинуться на юг? в Польшу? на Дальний Восток? Простите, господа, но я не верю в крайние действия — бить надо в центре, бить надо в голову! Против кого вы сражаетесь? Против русского мужика, которому до большевиков столько же дела как до прошлогоднего снега. Теперь! Если я останусь здесь, каким образом они думают согласовать действия? Через кого мы будем сноситься? Простите, господа, но пора уже учиться! Это вам не германская война, там бы я не стал указывать, а этих голубчиков я знаю как свои пять пальцев!

Он оживился, рассеянное выражение исчезло, он стал похож на самого себя, каким Дмитрий Дмитриевич его помнил.

— Решать надо сразу, немедленно! Что вы мне прикажете? Запрашивать главнокомандующего и ждать ответа три месяца? Я вообще в коллегиальность не верю, в этом я согласен с Лениным. Человек должен быть свободен в своих действиях! А все эти ваши совещания, министерства, вся это тяжелая артиллерия... нет, господа, таким путем вы ничего не достигнете! Я подумаю, но едва ли из этого что-нибудь выйдет... Если бы я даже на это пошел, то что мне делать с моей организацией? Люди связаны с местом, оторвать их, они деморализуются и превратятся в такую же орду как ваша армия. У меня дисциплина, у меня система...

Дмитрий Дмитриевич прочистил горло.

— Но что ж вы можете в таких условиях сделать? — спросил он осторожно.

— Как что? Восстание! У нас все было подготовлено. Если б Деникин продержался несколько дней, советской власти уже не было бы. А теперь, подумайте —

снятие блокады, перемирие с Эстонией, возобновление торговых сношений с Италией — что это ? Безумие, слепота ? На что они там, в Европе надеются ? Нет, простите, я не дурак, я знаю, что такое политика . . . Помните мое слово — я может не доживу, а вы увидите — большевики сядут им на шею, Европа поплатится ! И не в каком-нибудь религиозном смысле, а в самом реальном !

4.

Трамвай дернулся и со скрежетом завернул в занесенную снегом улицу. В вагон ввалилась толпа баб, они шумно расселись вокруг Дмитрия Дмитриевича, оглушили его громкими голосами, облевали подсолнечной шелухой. Не обращая на него внимания, они перекликались через его голову, менялись местами, вскрикивали и с хохотом падали друг на друга. Должно быть их везли из Третьяковской галереи — длинноногая особа с портфелем скучно рассказывала о передвижниках.

— На Сухаревке продают, — солидно заметила пожилая женщина, — я видела, два фунта хлеба просили — лес и речка, и солнышко садится. Только что без рамки, вот что !

Она встретила сердитый взгляд Дмитрия Дмитриевича и толкнула соседку. Другие зафыркали, закрываясь руками.

Он повернул голову к окну, но и там был чужой, неузнаваемый город — пустые улицы, заросшие инеем окна, неподвижные очереди за хлебом. Дома, площади, переулки — все было похоже на брошенные после спектакля декорации, на глухие улицы его снов. Или может быть сном было то, что он помнил — огни, движение, оживление старой Москвы ? Вот здесь когда-то он ехал с Еленой в новогоднюю ночь, кутал ее в доху, целовал холодное лицо. Но и она изменилась так же как все остальное.

Что общего между теперешней Еленой и той девочкой с горящими глазами, которую он держал обеими руками как пойманную птицу. Визжали полозья, трещали хлопущи, что-то кричали со встречных извозчиков. „Ты завтра меня забудешь, даже не вспомнишь кто я? „Нет, не забуду, — сказала она, глядя не на него, а куда-то вверх на бледную полосу Млечного пути: — Это на всю жизнь”. Так быстро все кончилось, растаяло, будто никогда и не было. Уже на севере, куда он кинулся за ней, бросив университет, не слушая уговоров матери, Елена стала меняться. Лежа рядом с ним на покрытой оленьей шкурой койке, она все порывалась куда-то итти. „Разве тебе не хорошо со мной?” — „Хорошо, но мне надоело ничего не делать”. А в Париже стало еще хуже. Отравляло жизнь безденежье, было унижительно просить у нее на каждую мелочь. И ребенок... Как она раздражалась и плакала, говорила, что не любит детей. Когда приехала Марья Михайловна и забрала мальчика, Елена даже не поцеловала его на прощание...

Дмитрий Дмитриевич очнулся и едва успел соскочить. Трамвай со скрипом двинулся дальше. Перед ним была широкая, тихая улица, старые особняки занесло снегом, подъезд многоэтажного дома был заколочен. Он дошел до церковного двора и остановился. Двухэтажные белые домики раскинулись полукругом, от двери к двери бежала тропинка. Из трубы дворницкой валил густой дым, снег перед дверью был запорошен трухой и мелкими щепками.

— Сергей Владимирович Чернышев здесь живет? — спросил он бородача с топором.

Дворник угрюмо осмотрел его с ног до головы и кивнул на верхний этаж своего домика. В сенях были свалены лопаты и метлы, на стенах блестел иней. Дмитрий Дмитриевич остановился в нерешительности.

— Ну, что ж вы? — спросил сверху знакомый, насмешливый голос.

Перед ним был Сережа, все тот же Сережа, гладко

выбранный и самоуверенный и, как всегда, Дмитрия Дмитриевича сразу охватило желание спорить, нападать, разбить его невозмутимое спокойствие.

— Это вы здесь живете? — спросил он, оглядывая низкую комнату с огромной печью, с закоптелым потолком, с плотно засевшим запахом дыма и кислой капусты: — Черт знает, что такое!

— Вам не нравится? А по-моему отлично! Во-первых, тепло — мой начальник внизу жжет все, что попало, — чужую мебель, заборы, церковные архивы. Во-вторых, обстановка глубоко пролетарская — до сих пор не было ни одного обыска.

— Вы что, в дворники записались, что ли?

— Снимайте пальто и садитесь, здесь довольно тепло. Вы отстали от века — дворников больше нет, есть председатели домовых комитетов. А я только помощник, ведаю бухгалтерией за неграмотностью председателя. Грязную работу делают жильцы.

— А вы все шутите? Никак не могу привыкнуть, так легко здесь все относятся, будто никого не касается...

— А что прикажете делать? Кричать караул? Ну, вы лучше о себе! Ведь вы оттуда? Правда, говорят, полный развал?

— Развал! — вспыхнул Дмитрий Дмитриевич: — И кто говорит?! Сидят и ждут, чтоб другие их спасали, а сами занимаются спекуляцией, работают у большевиков... Нет, уж знаете, если развал, так это здесь!

— Может быть, — усмехнулся Сережа, — и здесь и там?

— Мы по крайней мере боремся, а не сидим сложа руки! Представляете вы в каких условиях нам придется отстаивать каждую пядь русской земли? Люди сражаются без теплой одежды, без амуниции, окруженные врагами! Не знаете? так лучше молчите! Вообще, я все больше убеждаюсь в человеческой подлости... Но Добровольческую армию вы не смеете обвинять ни в чем, абсолютно ни в чем! И у нас, конечно, налипло

всякой сволочи — политиканы и разные господинчики, которые любят хорошо пожить, носом чуют, где можно поживиться... Только нельзя всех в одну кучу валить! — он перевел дыхание и откинулся на спинку дивана.

Сереза молча дошел до угла печки и повернул назад.

— Вам хорошо рассуждать! — снова разгорелся Дмитрий Дмитриевич: — Сидите здесь в этой дыре и плюете на все с высоты величия. Нет, вы попробуйте что-нибудь сделать с этими людьми! А казаки? Грабят без всякой совести и домой волокут! Тут, понимаете, раненые валяются, а они тачанки позабрали и не отдают... А население? Потом будут кланяться и благодарить за избавление, а сейчас пальцем не шевельнут, помощи и не жди! Так им и надо, чтоб большевики их как следует прижали — тогда поймут! Ну, чего вы молчите? — крикнул он сердито: — Критиковать дело нетрудное, но, когда человек тонет, надо спасать, а не рассуждать!

Сереза подхватил на ходу стул, поставил его перед диваном и сел верхом, опустив подбородок на спинку.

— Так за кого же мы будем воевать? — спросил он тихо.

Дмитрий Дмитриевич вытаращил припухшие глаза и побагровел.

— Ну, уж знаете, если вы до того дошли... Если вы так запутались...

— Подождите, не сердитесь! Будьте логичны...

— К черту логику!

— Без логики тоже далеко не уедешь. Ну, если вам не нравится, скажем: будьте последовательны! Вы боретесь за русский народ и говорите, что окружены врагами. Какими врагами? Тем же самым народом, который, по-видимому, не признает вас своими защитниками...

— Что ж вы не понимаете, что это все пропаганда? Если б их оставили в покое...

— Положим. Кроме того — человеческий эгоизм, желание получить даром, ничем не жертвовать. И все-

таки факт остается фактом — вы боретесь, окруженные врагами, или, по крайней мере, равнодушными свидетелями. Что вы можете им предложить, что можете обещать? Единую, неделимую? Но для человека неграмотного, незнающего географии это понятие отвлеченное, неубедительное. Людям, и не только русскому народу, а людям вообще, нужно что-нибудь реальное. Пусть это будет полфунта хлеба вместо восьмушки, пусть иллюзия того, что власть принадлежит им, что все совершается по их воле. Давно пора все это понять, пересмотреть дешевые либеральные идеи...

— Большевики поняли.

— Возможно. Управлять будет тот, кто возьмет на себя смелость решать за других и делать вид, что исполняет их волю. Для их ли пользы или для своей собственной — неважно.

— Ах, бросьте вы рассуждать! — крикнул Дмитрий Дмитриевич, отшвырнув лежавшую на диване подушку: — Россия гибнет, неужели вы не понимаете! Или вам это безразлично? Ну, куда вы денетесь, если мы, не дай Бог, проиграем?

— Где-нибудь место найдется.

— Все слова, все слова! Ведь не может же вам эта дикая дворницкая нравиться. Для чего вы учились? Помните, как с вами носились, восхищались вашими талантами? Сейчас то вы шутите, думаете, вы выше людей, а поживете так лет десять и втянетесь, вся позолота сотрется, сделаетесь настоящим дворником. Бытие определяет сознание, как сказал великий Маркс.

— А чего вы собственно от меня хотите?

— Если вы все понимаете, вы не смеее стоять в стороне! Каждый человек должен бороться.

— Должно быть, — сказал Сережа, глядя невидящими глазами в окно, — я мало чувствую общего с людьми. Чего-то не хватает, какие-то частички в мозгу недоразвиты. Никакого интереса к общественной дея-

тельности, полное равнодушие к власти. Политика трясина и я не хочу в нее лезть.

— Предоставляете другим ?

— Желających достаточно.

— Так, ведь, вся жизнь от этого зависит, как вы не понимаете ! Или вы согласны подчиняться любому правительству ?

Сереза пожал плечами.

— Поскольку меня оставляют в покое, — сказал он холодно : — По мне то правительство лучше, которое меньше дает себя чувствовать, меньше давит, занимается нужными делами — чистит улицы, строит школы, выдает пенсии . . .

Дмитрий Дмитриевич сжал кулак и с силой стукнул по ручке дивана.

— Ложь, все ложь ! Вы таким раньше не были, вы уже изменились ! Неужели вы воображаете, что они вас оставят в покое ? Вы мало их знаете . . . Они вас просто проглотят так же как и всю Россию.

— Ну, это фантазии.

— А фантазия, что они сидят в Кремле ?

— Положим . . . Кто знает, может потеряв Россию, мы найдем другую духовную родину, не ограниченную географическими представлениями, найдем людей, говорящих одним всемирным языком . . .

— Не надоело вам туман под корытом разводить !? — грубо перебил Дмитрий Дмитриевич : — Мы на земле живем, надо земные дела устраивать, а не в облаках витать. Вместо того, чтоб мечтать о каком-то всемирном братстве, вы б лучше кругом посмотрели ! Все это слова, сейчас надо одно — бороться, бить надо, потому что другого они не понимают.

Сереза остановился среди комнаты, нахмурился и покачал головой.

— Бить ? Дело в том, что бить значит озвереть, стать такими же как они. И все равно вы будете побеждены, потому что они не остановятся ни перед чем,

а вы... даже если вы пойдете в рукопашную, у вас останутся задерживающие центры — жалость, стыд.

— Значит сдаться без борьбы, так по-вашему?

— Без драки — да, сдаться — нет. Надо продолжать делать то, что вы считаете правильным.

— Неужели вы не понимаете, что это значит идти на верную гибель!? Мало того! Все, что вы сделаете, они исказят, обернут в свою пользу...

— Да, я об этом думал. Должно быть в этом их сила — полная, абсолютная аморальность. Ставка на человеческие слабости, соблазн... Странные существа — люди. Ничего нового в этом нет, и святым являлись искушения. Новое только то, что теперь это организовано в мировом масштабе, как они любят говорить. Были искушения и страх нарушить закон — Божий или человеческий это все равно. И вдруг кто-то громко и твердо заявляет: Откройте глаза — все выдумки, вас одурачили. Что значит Божий закон, если Бога нет. Где Он? Вам говорили, Он на небе, но вы теперь знаете, что такое небо и планеты. Закон человеческий? Кто его создал? Те, которые хотели удержать власть. Все законы отменены, делайте, что хотите, грабьте награбленное, убивайте тех, кто вас мучил. А раз „не убий” отменено значит можно убивать кого угодно, того кто меня толкнул, обругал, или просто мне не нравится. Да здравствует свобода! Там где-то в чопорных, консервативных странах приветствуют нашу свободу как освобождение от царской тирании, они и не подозревают, что имя этой свободы — анархия! Вот чем они победили, вот их ставка. Сознательно или бессознательно они пошли ва-банк, поставили на дикую природу человека. И не думайте, пожалуйста, что это только неграмотные мужики, это во всех сидит. И в другие страны она пролезет, эта анархия, и разрушит их так же как нас. В других формах, в других выражениях, другими соблазнами... Я видел, как грабили немецкие магазины, а за компанию французские и итальянские, видел как

интеллигентные люди смущенно, оглядываясь, рылись в лежавших на мостовой книгах и картинах. Я и сам чувствовал соблазн — ведь все равно погибнет, не лучше ли спасти, спрятать . . .

— Взяли ? — спросил Дмитрий Дмитриевич с кривой улыбкой.

— Взял. Потом отнес обратно, положил на тротуар. Для собственного самочувствия. Долго не мог забыть, все казалось я что-то живое и прекрасное бросил на произвол судьбы.

— А выход ? В борьбу вы не верите . . .

— Верю. Только бороться надо с самим собой. Должно быть в этом и есть смысл нашей жизни — бороться со своими слабостями, с соблазнами.

— А вы всегда знаете, что правильно ?

— Все знают, только стараются забыть.

Дмитрий Дмитриевич вздохнул.

— Видно мы никогда с вами не договоримся. Ведь я, собственно, не за тем . . . мне главное Еленин адрес нужен, где она ? Димка с ней ?

— Да. Они все там же, в нашем старом доме.

— Вырос он ? Должно быть большой, уж я его лет пять не видел. Он в деревне был, когда я с фронта на юг ехал. Елена со мной разговаривать не хотела, все простить не могла, что я на войну добровольцем пошел.

— К сожалению я его редко вижу. Лена мне прямо сказала, чтобы я не приходил. Боится моего дурного влияния.

— Ну, а Люба ? Марья Михайловна ? Где они ?

— Они в деревне, пока их не трогают . . . То есть, конечно, все отняли, но дом пока оставили. Люба со страстью занимается хозяйством, отчасти ей нравится, но главное, я думаю, хочет всему миру доказать, что она ничего не боится и все может победить. Никому она ничего не докажет и плохо то, что в покое их не оставят.

— Никак не могу вообразить ее взрослой. Сколько

ей? двадцать, двадцать один? Мне она представляется такой застенчивой, немножко угловатой девочкой. Но я помню как она бегала на коньках — вдруг, неожиданно совсем другая, быстрая, стройная. Удивительные чудачки все вы, Чернышевы! И все похожи — кожа такая розовая, и глаза длинные какие-то, только у Любы серые, у вас синие, а у Елены — не поймешь, то ли зеленые, то ли коричневые. И вообще похожи — витаєте где-то за облаками — Лена со своим большевизмом, вы с философией, только, может, Люба...

Сереза усмехнулся.

— Люба тоже чудачка, даже больше всех, хотя любит реальные вещи — деревню, собак, лошадей. Но никаких компромиссов, никаких сделок с совестью.

Дмитрий Дмитриевич с трудом поднялся с дивана и натянул тесное пальто. На лестнице было темно и очень холодно.

— Слушайте! — окликнул сверху Сереза: — Может вам ночевать негде?

Дмитрий Дмитриевич остановился.

— Спасибо, теперь уж не стоит, скоро еду, — сказал он глухо, — может еще увидимся, а если нет, так вы того, не обращайтесь внимания. А в случае чего, все под Богом ходим, насчет Димки... Елена она больше о мировом пролетариате...

5.

Он дошел до угла и повернул назад. Сквозь оттененные снегом ветки деревьев видна была задняя стена Чернышевского дома, но света не было и здесь.

Он остановился в нерешительности перед подъездом. По обеим сторонам двери висели покоробленные, запорошенные инеем, объявления, звонок бессильно повис на оборванной проволоке, в окнах стояла настороженная тьма. Дом был необитаем.

Срывая злость, он стукнул валенком в дверь и неожиданно дверь приоткрылась с шелковым скрипом — в передней лежал снег.

Через узкие окна с улицы проходил слабый свет, тени отсеялись, он разглядел лестницу, дверь в гостиную, в кабинет Владимира Николаевича. Везде висели тяжелые, холодные замки. Он положил руку на гладкие перила лестницы и остановился, прислушиваясь. Кто-то торопливо прошел мимо дома, похрустывая снегом, рассыпался молодой веселый смех.

Медленно, крадучись он стал подниматься; знакомо скрипнула ступенька, на секунду он замер, но в доме ничто не шевелилось, только бездушно потрескивали половицы.

Наверху было заметно теплей. Он нащупал ведро, ящик, какие-то железные прутья. Вдруг очень близко, в двух шагах от него что-то двинулось.

— Кто это? — крикнул испуганный детский голос: — Иван Степаныч, это вы?

— Открой! — прошептал Дмитрий Дмитриевич: — Открой же, Дима!

Дверь распахнулась, густо пахнуло копотью, кислятиной, непроветренным жильем. На пороге стоял мальчик в длинном, не по росту, пальто; свет лампы оттенял лохматые, нестриженные волосы. Несколько секунд он стоял неподвижно, вдруг лицо его искривилось, он шумно втянул воздух и ринулся вперед.

— Папа! — крикнул он отчаянным голосом: — Папа! Я знал, я знал!

Он схватил Дмитрия Дмитриевича за воротник пальто и, путаясь под ногами, обливая слезами его руки и грудь, повис у него на шее.

— Ну, подожди, подожди! — бормотал Дмитрий Дмитриевич: — Надо дверь закрыть. И, пожалуйста, потише — могут услышать... Ты меня задушишь! А где мама?

— Мама? Не знаю, где-нибудь на заседании... Почему тише? Почему ты сказал тише?

Толкая друг друга, натываясь на мебель, они обошли вокруг стола и опустились на диван. Димины мокрая, горячая голова камнем упала на колени отца, руки вцепились в полы пальто.

Дмитрий Дмитриевич насупившись оглядывал неузнаваемую комнату. Вокруг беспорядочной грудой были навалены ящики, корзины, мешки ; у двери в углу стояли трехаршинные желтые, полированные бревна, стол был заставлен посудой, с потолка свисали черные трубы. Только диван стоял на том же месте, на этом диване он когда то спал. Дмитрий Дмитриевич попробовал поднять Димину голову.

— Ну, довольно ! Чего ты ? Лучше расскажи как ты живешь ?

— Теперь хорошо, — со счастливым вздохом сказал мальчик, — ты будешь спать на диване, я могу на сундуке . . .

Дмитрий Дмитриевич шевельнул плечом.

— Тебе холодно ? — крикнул Дима : — Я сейчас затоплю ! Ты видел какие бревна ? Сегодня привезли, они были для постройки, но дров не было и нам дали. Теперь надо большую пилу, мы будем с тобой пилить. Хочешь каши ? Только она подгорела, я лучше новую сварю. Сейчас вымою кастрюльку . . .

— Брось ! Потом. Поставь чайник и иди сюда !

Дима возился около печки, шуршал бумагой, чиркал спичками.

— Как будто снится, — сказал он, усаживаясь в углу дивана и разглядывая исподлобья большое лицо отца : — Мне часто снилось . . . иногда на улице, будто я иду и вдруг из-за угла ты ! или в школе — шум, мальчишки, вдруг открывается дверь . . . Почему ты не в форме ? Ведь ты командир ?

— А ? Да просто так, переделся. Надоело, знаешь, все шинель и шинель . . . Ну рассказывай как ты живешь ! Учишься ?

— Да-а. Ты совсем приехал ? Где ты был ? Правда, что Ростов взяли ?

— Ростов ? А ! Ростов. Да, конечно ! Зачем матрасы на окнах ? Вот почему не было света ! А я смотрел, смотрел...

— Правда, здорово ? Это я придумал ! Мне Иван Степаныч помог, они очень тяжелые. Теперь стало теплей, а то все выдувало. Ты помнишь Ивана Степаныча ? Дедушкин лакей . . . Мама говорит, лакей нехорошее слово. Он теперь в дворницкой живет, у них тепло, там русская печка, только дрова трудно доставать. К нему жена приехала и Гришка. Ему четырнадцать лет. Это они мне крупы дали.

— Подожди, не тарaxти, рассказывай по порядку ! Где ты обедаешь ?

— Сам готовлю. В школе иногда дают суп, только очень невкусный, почти никто не ест.

— А мама ?

— Ей некогда, она редко обедает. Почему она не позволяет мне с Гришкой на вокзал ездить ? Санки у меня есть и это совсем не тяжело. Гришка говорит, можно не наниматься, если далеко. Знаешь, сколько он на прошлой неделе заработал ? Мама ужасно рассердилась ! Она сказала, чтоб я не смел и думать, она говорит, если помогать спекулянтам, значит и ты такой же . . . Ты думаешь, это правда ?

— Ты прежде скажи, как ты вообще живешь ? Ну, кто-нибудь о тебе заботится, убирает, стирает ? Где ты еду достаешь ?

— Так, где придется. Только я не голодаю, ты не думай ! Я теперь готовить умею. Бабушка присылает хлеб и сало — очень хороший хлеб, как пряник, вот ты увидишь, сейчас будем чай пить. Только мама не позволяет . . . Один раз почтальон при ней принес, она обратно отослала.

— Но почему ?

— Не знаю. И в Ненашево она не позволяет ездить.

— Подожди, не ерзай ! В какой ты гимназии ?

— В гимназии ? Как ты смешно говоришь ! Он

раньше так называлась, а теперь это восемьдесят седьмая трудовая... И учителя все переменялись, только Наседка осталась, ребята ее вчера в уборной заперли, она целый день просидела, не хотела стучать. Теперь у нас девченки учатся. У нас новый учитель математики, он на войне был, ему ногу прострелили, может ты его знаешь? Он очень интересно рассказывает, а когда трудная задача, он говорит: Дима, объясни им! Он даже сложение и вычитание плохо знает. А одна девченка нарочно спросила, что такое уравнение. Он говорит: Уравнение, когда нет ни бедных ни богатых. А она засмеялась и говорит: Это в математике. А он даже не знал! Подожди! Чайник кипит!

По раскаленной до красна печке с шипом и треском катались шарики воды. Дима поставил перед диваном стул, накрыл его газетой, принес хлеб и кусочек сала в промасленной бумажке. От стакана пахло помоями.

— А товарищи у тебя есть, настоящие?

— Так, не очень... Они все большие, у Кольки Золотарева усы растут. А недавно одного прислали, он совсем взрослый, он говорит, при капитализме ему не позволяли учиться. Ты думаешь, мне надо ходить в школу? Я все равно ничего нового не учу. Мальчишки дразнятся, пишут разные гадости на доске. Правда вкусный хлеб?

— Да, очень, — рассеянно ответил Дмитрий Дмитриевич: — не все же такие, куда ж другие девались?

— Не знаю. Может раньше боялись? Один мальчик, у него никого нет — ни отца, ни матери, он говорит, что он человека убил. Я думаю, он врет. У них все какие-то секреты, я подойду, они говорят, чтоб я убирался...

— Ну? — хмуро спросил Дмитрий Дмитриевич: — Чего ж ты замолчал?

— Они говорят, что они это с девченками делали, понимаешь? Только не может быть, ведь правда?

Дмитрий Дмитриевич раскашлялся.

— Ты маме рассказывал?

— Маме? Нет. Она все равно не верит. Один раз я

что-то сказал, она так рассердилась! Стала кричать, что я должен на них влиять, помочь им стать честными, сознательными большевиками.

— Почему она не переведет тебя в другую школу?

— Везде так, — уверенно возразил мальчик: — Одна девченка рассказывала, где она раньше была, гораздо хуже. Там обследование делали и оказалось, что половина девченок... ну, ты понимаешь? Одним словом, у них дети будут.

— Что за ерунда! Как так дети? Ты что-то путаешь! Когда-нибудь будут, конечно...

— Нет, она сказала, скоро, через год. А один мальчик говорит, его заставили написать про отца, что он капиталист и деньги в диван прячет. Положим, наш зав тоже говорил, что правительство и партия ничего для нас не жалеют, и мы должны отплатить верностью и все что узнаем, сейчас же доносить. Один мальчик сказал, а если мы ничего не знаем? А зав говорит: должны найти, мы потом разберемся. Нет! Не сердись! — крикнул он умоляюще, заглядывая в насупленное лицо отца: — Ты не думай, что я против Ленина и против партии! Это просто некоторые, они не знают, они совсем необразованные. Пожалуйста, не сердись! Ну, чего ты нахмурился?

— Ничего, ничего... когда-нибудь, когда подрастешь...

Димино лицо сморщилось, он упал головой в колени отца.

— Я вижу ты сердисься! Теперь ты уедешь, я знаю, ты уедешь...

Дмитрий Дмитриевич обхватил его за плечи и придвинул к себе.

— Слушай и запомни навсегда: если кто-нибудь когда-нибудь скажет про меня... ты понимаешь, у людей могут быть разные мнения, даже если они оба честные и искренние... если тебе скажут, что я подлец, что я враг своей родины — не верь!

— Папа! Папа! я знаю... я верю только тебе... Лучше тебя нет никого на свете!

Долго сидели они молча, глядя на раскаленный бок печки. Тонкое железо из оранжевого сделалось желтым, потом побелело, покрылось серым налетом.

— Папа, — сказал Дима, отодвигаясь и поднимая голову; — возьми меня с собой! Нет, подожди, не говори! Я объясню. Ты не думай, что я маленький! Гришке четырнадцать, а он меньше меня. Я могу тебе обед готовить, я умею, и я всегда буду слушаться, вот ты увидишь!

Дмитрий Дмитриевич молчал. Дима жадно, с мольбой заглядывал ему в глаза.

— Нет, Димка, не сейчас. Все это сложнее, чем ты думаешь. Но я одно тебе обещаю: когда я приеду следующий раз, мы с тобой больше не расстанемся.

Рука отца лежала на его плече, от нее шло тепло, уверенность, покой. Они были вместе и они будут вместе всегда, надо только немного потерпеть. Дима перевернулся, сжался в комок, чтоб рука накрыла его всего.

— Чего ты ерзаешь? Спи, мне надо уже итти.

— Разве ты не будешь ночевать? Тебе неудобно? Ты ложись, я пойду на сундук...

— Нет, голубчик, не могу.

— Разве ты не хочешь видеть маму? Она скоро придет.

— Другой раз, я скоро опять приеду. И знаешь что? Ты лучше ей не говори, что я был, а то она обидится. Это будет наша с тобой тайна. Вообще никому не говори, а то до нее дойдет. Зачем ее огорчать? Ну, Христос с тобой. Дай я тебя перекрещу!

6.

Холод не давал сосредоточиться — мерзли руки, мерзла голова, ног она не чувствовала. То и дело звонил телефон.

— Товарищ Чернышева, курьер с бумагами, послать наверх ?

— Товарищ Чернышева, вас какой-то гражданин спрашивает.

— Скажите, я занята. Прием в два.

— Он говорит, невозможно ждать.

За высокой белой дверью шаркали шаги, шло приглушенное бормотание: У нас была облава . . . В Главле-скоме выдали дрова . . . Ах, я просто не могу больше . . . И когда только эти . . .

Как всегда, ровно в десять с тягучим скрипом приоткрылась дверь, заглянул маленький, с хитрой физиономией бухгалтер.

— Извините, вы очень заняты ? — и не дожидаясь ответа, весь улыбки и поклоны, подвинулся к столу.

Уж от одного подергивания двери, означавшего почтительность и страх, у нее поднялась тошнота и надо было несколько секунд, чтоб загнать ее внутрь.

— Так вы садитесь, чего вы стоите ? Вот посмотрите — отношение из ВСНХ, просят все учреждения писать не на обрывках, а на таком формате, чтоб не затруднять делопроизводство.

— Слушаюсь, — опять поклон, — разрешите спросить какой формат имеется ввиду ? Нет, нет, я не возражаю ! Кто я, чтоб критиковать ? Но как вам известно, бумаги нет, приходится пользоваться старыми отношениями. У нас в Министерстве . . . да, да, извиняюсь, я принимаю. Очень вам благодарен.

Вышел он быстрее чем вошел, вид у него был обиженный, на глазах настоящие слезы. Подумаешь, нельзя человеку слова сказать . . . Ничего, завтра придет как ни в чем не бывало, опять будет улыбаться и кланяться. Несчастный обломок потонувшего корабля.

Завхоз вошел без стука и сел без приглашения.

— Я насчет картошки — брать или не брать, решайте сами !

— Гнилая ?

— Сейчас подморожена, так ничего. А отгадывает — разлезется.

— Берите и выдавайте сразу, не ждите.

— Как угодно. Я так думал, если не возьмем, может хорошей дадут?

В голубых фаянсовых глазах завхоза блеснули огоньки, будто пронесли мимо зажженную лампу.

— Берите какая есть. Еще чтонибудь?

— Да вот этот, новый секретарь, собрание устраивает, знаете? Будет доклад делать насчет какой-то системы американской, хочет нашим объяснить, что канцелярская работа имеет важное политическое значение и нельзя спустя рукава относиться. Какую то перегруппировку хочет делать, а то, говорит, есть которые сторожами или уборщицами работают, а им по способностям надо в инженеры или инструктора. В Америке, говорит, все организовано, которые женщины на фабрике шарики разбирают, так их сперва в университет посылают для определения. Нам, говорит, специалисты нужны, на это денег жалеть нечего...

— Чего вы выдумываете?

— Честное слово.

— Пожалуйста, не притворяйтесь. Новый секретарь отличный парень, вы ему лучше помогите.

— А если он меня в сторожа переведет по способностям?

Закутанная сизолицая уборщица принесла чай в мутном стакане, без блюдечка. Опять звонил телефон.

— Можно попросить т. Чернышеву? Елена, ты? Заседание ровно в шесть, просят не опаздывать.

Не успела повесить трубку, опять треск в ухо. Голос новый, певучий, взволнованный.

— Леночка? Говорит Наташа, Наташа Алексеева. Неужели забыла? Нет, нет, подожди! Мне необходимо тебя видеть, совершенно необходимо. Вопрос жизни и смерти. Вчера арестовали Володю, это ошибка, он ни в чем не замешан.

— Что-нибудь было, если арестовали.

— Но я тебе клянусь, я знаю. Позволь прийти на минутку, на одну минутку!

— Прием от двух до четырех, но я предупреждаю...

— Спасибо! За это тебе многое...

Елена уронила трубку и закрыла глаза. Голос продолжал потрескивать.

В первом часу она спустилась в столовую. Здесь было парно, висели отставшие обои, тошнотворно пахло мороженой картошкой и капустой. Заведующая-латышка выглянула из окошка.

— Ах, мы вам сейчас котлетку поджарим!

— Бросьте, никакой котлетки мне не нужно. Лучше вытрите лужу на столе.

Со всех сторон смотрели насмешливые, враждебные глаза. Новая машинистка с греческой прической, в хитоне, сшитом из одеяла, демонстративно оттолкнула миску с супом и, наклонившись, стала рассматривать отставшую подошву. Стараясь не дышать, Елена глотала вонючую жидкость. Ах, жалкие ничтожные трусы, мелкие эгоисты со всеми их прическами, котлетками, поклонами и лужью!

После столовой кабинет был похож на склеп. Из приемной доносились голоса. Люди с мест, заведующие губернскими и уездными отделами, приехавшие за субсидиями и инструкциями, сидели расставив ноги в новых каляных валенках, дремали склонив красные обветренные лица. Москвичи в потрепанных пальто, в подвязанной бичевками обуви беспокойно шушукались — одного выселили, другого, больного, послали на работу.

Опять звонил телефон.

— Товарищ Чернышева? Вас из Кремля спрашивают, третий раз звонят. Сейчас соединю.

— Елена Владимировна? Слушайте, в ударном порядке! Решено провести кампанию по борьбе с топливным кризисом. Мы разделили фабрики — вам Никитскую, бумагопрядильную.

— Ничего не понимаю. Когда ? Что ? Почему фабрики ? А население ?

— Население для разгрузки на вокзалах, фабричных на расчистку путей. Сейчас пришлю тезисы и цифры. Рабочие уже собрались.

— Но у меня прием, люди ждут. А в шесть продовольственная комиссия.

— Ерунда, поспеете, это недалеко. Прием отмените. Не забудьте упомянуть, что по всей Европе угольный кризис и голод. Английские рабочие вынесли протест против блокады. Кроме того вот что: решено вырубить Останкинскую рощу и все леса в районе Окружной железной дороги.

В последнюю минуту еще один звонок.

— Елена ? Куда ты пропала ? Я тебя две недели не видела. Что ? Я знаю, мы все заняты. Фома говорит, ты ни на кого не похожа. Слушай : приходи сегодня к нам ! Заседание ? В Кремле ? Ну, приходи после заседания. Мне надо с тобой поговорить. Знаешь что ? Я возьму Диму, а ты за ним зайдешь. Я его покормлю, и Котя будет рад . . .

На улицу она вышла в том же пальто, в каком сидела на службе. Ослепительно переливаясь огнями блеснул снег, сияло небо. По сугробам пробирались угрюмые, нахохленные прохожие. Елена натянула на уши берет и зажмурила глаза.

Подпрыгивая по ухабам, она, несмотря на резкий ветер, несколько раз забывалась сном и, очнувшись, беспокойно напрягала память — английские рабочие, Донбас, последнее усилие . . .

Проехали заставу, маленькие укутанные соломой домишки, пустые снежные поля. Серые корпуса фабрики стояли брошенные — ни огня, ни шума, в выбитых окнах черная пустота. Одноэтажные рабочие казармы завалило снегом по самые окна, из труб поднимался прозрачный дым. Посреди двора, на горе обледелого мусора девченка в затасканом ситцевом платье лила из ведра

дымящиеся помои. На секунду она замерла с опрокинутым ведром и вдруг шарахнулась к двери. Минут через пять вышел парень в кожаной куртке, косолапо перелез через сугроб и приветливо улыбнулся бледными припухшими деснами.

— Вот сюда пожалуйста! Это у нас народный дом, не очень, конечно, от старого режима остался. Вы, товарищ, без валенок? Да ничего, пройдете, сегодня протоптали. Я их загодя собрал, а то разбегутся.

Над деревянным строением трепался линиялый, с подтеками флаг. Изнутри доносился гул голосов и топот.

— Зазябли, — сказал парень улыбаясь: — Вот сюда, через сенцы... Сейчас лампу зажгу — электричество у нас не того...

В темноте Елена нащупала дверь и ступила на помост. Под потолком мутно, как в тумане, горела керосиновая лампа. Люди в серых отрепьях медленно рассаживались по местам. Первые ряды заняли обмотанные пеньковыми шальями бабы.

— Товарищи, тише! — крикнула Елена, потеряв терпение: — Как вам не стыдно так относиться? Что все это значит? Почему фабрика стоит? Кто окна перебил?

Шум смолк, серые пятна лиц повернулись в ее сторону.

— Что вы во сне, что ли? Пора бы очнуться! Что вы думали, революция значит отнять, что нажили капиталисты, и сидеть сложа руки? Нет, товарищи, революция это стройка новой жизни, это работа! Вы хозяева, все в ваших руках! Если вы не сделаете усилия, никто вам не поможет. А похоже, что вы еще не отдаете себе отчета. Вы только подумайте, чего мы достигли! Нигде в мире власть еще не принадлежала рабочим, мы будем первыми, мы поведем за собой пролетариат всех стран. Самое трудное уже позади — мы побеждаем на фронте, Дон наш, банды Колчака очищают Сибирь, а Сибирь — это хлеб! Но не забывайте, что нам досталась огромная страна, разрушенная войной и саботажем. И теперь,

когда надо спешно восстанавливать хозяйство, вы сидите сложа руки и ждете, что все с неба упадет. Ничего с неба не упадет, все в ваших руках, вы сами должны строить новую жизнь! Рабочие всего мира следят за тем, что у нас происходит, мы их единственная надежда, им в десять раз трудней, у нас свобода, мы сами хозяева, а они еще в руках капиталистов. Рабочие Англии, добывающие уголь для буржуев, сами замерзают в нетопленных домах; в Германии дети бедняков рождаются из-за недоедания без ногтей и волос; на улицах Нью-Йорка тысячами расстреливают бастующих рабочих. А вы, у которых в руках вся полнота власти, сидите как собака на сене. Вы говорите нет топлива? Есть топливо! Уголь грузится, снежные заносы задержали составы с дровами. Наш транспорт разрушен врагами, но неужели мы будем сидеть сложа руки и ждать, что кто-то нам поможет? В первую очередь мы должны очистить железнодорожные пути! Центральный Комитет взял на себя организацию кампании по всей стране. Ваша фабрика всегда была одной из передовых, и я уверена, что вы первые откликнетесь на призыв. Все на борьбу с холодом! Все на расчистку путей!

Никто не шевелился, в комнате стояла полная тишина. Вдруг, будто очнувшись, люди задвигались, наклоняясь друг к другу, шепотом переговариваясь. Стоявший в проходе человек в тряпичной шапке двинулся вперед.

— Разрешите, товарищ, спросить, — начал он вежливо, — вот вы тут советы нам даете, как то есть терпеть и на пустое брюхо, без теплой одежды итти на чугунку пути расчищать. А можно поинтересоваться, как вы сами терпите? Тоже вот так — сегодня без обеда, завтра без хлеба, поясок подтяните, да и марш с лопаточкой на дорогу?

По комнате прошел шорох, будто ветер зашелестел сухими листьями.

— Все терпеть да терпеть! — крикнул из задних

рядов мужской голос : — Это мы давно слышим. Когда же конец будет ?

— При царе жили — все было, — солидно заметила женщина в первом ряду : — Уж не брались бы, когда не можете. Лезут тоже !

Теперь кричали все. Несколько человек, вскочив с мест, двигались к помосту, другие проталкивались к выходу.

— Заварили кашу, а сами не знают как расхлебать...

— Жидки на расправу, сволочи !

— Что ж сахарный песок не дают ? Только обещаетесь !

— Мануфактуры по шесть вершков ! На смех что ли ?

-- Купцов побили, за рабочего человека взялись...

— Мы тоже не железные !

— А правду говорят, детей отымать будете ?

Еленин голос потонул в шуме, она крикнула громче, но ее перебили. Молодой парень в заячьей шапке вскочил на платформу, за ним лезла нескладная баба. Секретарь ячейки дергал Елену за рукав, на лице его застыла глупая, широкая улыбка.

— Товарищ, товарищ, — повторял он, — идите вы лучше, идите ! Я справлюсь... темный народ, несознательный... лучше другой раз приедете...

7.

Наконец можно было перевести дыхание — кругом были свои, темные, искаженные злобой лица остались позади, за стенами Кремля. Она долго не могла сосредоточиться, в комнате было жарко, вокруг хрустальной люстры колыхались волны табачного дыма, восклицания докладчика взрывались как ракеты, ударялись о потолок, не доходя до ее сознания.

Вдруг заскрипели стулья, заговорили разом несколько голосов. Докладчик сел и опустил голову. Вид у него был усталый и злой, светлые волосы разделились на пряди, нависли на глаза, он нетерпеливо отталкивал их большой, с круглыми ногтями, рукой.

— Кто это? — прошептала Елена, наклоняясь к соседу.

— А? Сивков. Только что с фронта, говорят, Ильич посылал со специальным заданием.

Теперь говорил маленький, плотный нарком.

— Я, как вам известно, не хозяйственник, но я вполне понимаю, что в настоящую минуту хозяйство должно быть на первом плане. И все-таки, все-таки я должен сказать, что перегибая палку в сторону экономическую, мы делаем ошибку. Настанет время, и время это недалеко, когда народ предъявит нам более сложные требования. Пролетарское государство нуждается в культурных учреждениях не меньше, а может и больше, чем страны капиталистические. Политическое воспитание масс находится в прямой зависимости от работы культурных учреждений. Для того, чтобы открыть народу завоевания цивилизации, мы должны заранее „защитить и охранять“, как иронически выразился товарищ Сивков. Не говоря уж о том, что игнорировать мнение Европы можно только временно. Если мы хотим построить прочное здание социализма, мы должны считаться с тем, что думают наши соседи...

Елену попросили передать записку. Кругом шел шорох, пили остывший чай, кое-кто разговаривал, перегнувшись через спину соседа. Поднялся представитель Наркомзема, большой, сидящий, похожий на сову, человек.

— Я просто как специалист, — пробормотал он, поправляя старомодные круглые очки, — два слова по поводу выступления товарища Сивкова. Все это, конечно, так — и Красная армия, и продовольственная кампания — но помимо соображений сентиментальных по опре-

делению товарища, есть еще соображения чисто хозяйственные. Легко говорить, что продовольствия сколько угодно, что Колчак своей политикой обеспечил нам симпатии деревни, что ворота Сибири открыты, а Сибирь это хлеб. Не так все просто, товарищи! Мы не можем игнорировать крестьянское население и это особенно касается губерний производящих — Поволжья и Юга, подверженных страшным засухам. В этих районах крестьянин не может существовать, не имея запасов про черный день, вернее про черный год. И теперь, начиная дополнительную продрозверстку, выкачивая эти запасы, мы ставим себя перед новой бедой. Недалеко время, когда голод охватит целый ряд губерний! Несмотря на трудности настоящего времени мы не можем даже вообразить грядущей катастрофы. Надо серьезней подходить к делу, товарищи! А то получается как один товарищ, не буду называть имени, вообразил, что голод происходит оттого, что нет дрожжей, и разослал по всем губерниям приказ, чтобы разводили хмель. Очень был горд, что знает из чего дрожжи делают — должно быть в энциклопедии вычитал! К сведению таких товарищей могу заметить, что хлеб можно печь без дрожжей — была б мука!

Он сел, ухмыляясь в бороду, довольный своей шуткой. Кругом шумели, несколько человек просили слова. Еленин сосед требовал назвать товарища, сделавшего распоряжение о хмеле, или взять слова обратно, сутулый военный в шапке мелковьющихся волос кричал о партийной дисциплине.

— Товарищи! — громко сказал Сивков.

— Дайте кончить! — раздраженно крикнул Еленин сосед.

— Тише!

— На первый взгляд, — ни на кого не глядя, начал Сивков, — кажется, что товарищ прав. Но существуют две правды — одна для мирного строительства, другая для военного времени. В мирное время за убийство в

Сибирь отправляют, а на войне награду дают. Что нам думать о завтрашнем дне, товарищи, когда над нами топор висит? Не пора ли посмотреть правде в глаза? Между прочим я хочу объяснить насчет этих самых древностей. Товарищ на меня обиделся, но я от своих слов не отказываюсь. Ехал я с фронта, думал дела тут немного наладились, а вижу бюрократизм такой, не хуже царского времени. Все какие-то учреждения открываются на государственном снабжении, пайки выдаются направо и налево. Вчера зашел в Военное управление, а барышня мне объясняет, переехали, мол, теперь здесь древности собирают. Какие, говорю, древности? А она смотрит, прищурилась, вот, думает, дурак неученый! Оно и правда, я человек неученый, но науку уважаю. Только не тем нам надо теперь заниматься. А еще я заметил среди своих партийцев ослабление. Я не говорю, что ребята духам пали, а так вроде заленились, жиреть стали — этот квартиру завел, женился, другой обстановочку приобрел, друзей собирает, от работы отлынивает...

— Говорите ясней! — крикнул сердитый голос.

— Что это, намеки?

— Я намеков не делаю, я говорю про рядовых партийных работников, которые много лет делали черную работу на местах, исполняли директивы центра. Время сейчас тяжелое, но они, так сказать, сознают свое право на человеческую жизнь. Раньше терпели безропотно, а теперь, думают, пора и отдохнуть. Устали, конечно, что и говорить, а надо бы чтоб из центра повлияли, подбодрили, так сказать, менее образованных товарищей, хороший пример показали. А теперь перейдем к главному. Товарищ правильно сказал: в Сибири хлеб, да Сибирь то далеко! Запасов, которые у нас имеются, ненадолго хватит, да и доставить их почти невозможно. Но падать духам нам не приходится! На карту поставлена судьба Партии, а с ней и судьба всей страны. Эти при месяца будут решающими, все зависит от успеха продоволь-

ственной кампании. Мы еще окружены, но уже можем вздохнуть полегче, можем перекинуть часть сил на экономический фронт. Наша первая задача — продовольствие. Рабочие Москвы и Петрограда терпят жестокую нужду, голодают транспортные рабочие. Про население говорить не приходится, про население надо забыть, сейчас мы должны позаботиться о тех, чьи жизни нужней: в первую очередь — Партия, во вторую — Красная армия, в третью — рабочие. И Красная армия должна иметь все, что ей нужно, какой бы то ни было ценой!

— Правильно!

— Абсолютно!

— Чего бы это ни стоило, мы должны собрать разверстку на сто процентов. Никакой пощады в этом отношении проявлять нельзя! Таким образом, первая мера, которую я предлагаю, состоит в увеличении кадров, назначенных на продовольственную работу, вторая — в сокращении учреждений, состоящих на государственном бюджете. Товарищи! будьте тверды! Если в результате перехода на самоснабжение несколько тысяч непригодных к жизни людей будет выведено в расход, поверьте — страна не пострадает. Что же касается деревни, то без реального нажима мужик никогда не поделится куском хлеба. А хлеб у них есть! За последние годы население городов уменьшилось на сорок процентов. Куда же они девались? В деревню, конечно! Разве это не показывает, что запасы там есть? Но нужны решительные меры! Товарищи, поймите — недостаточно говорить, приказывать, писать резолюции — пора действовать!

8.

На кремлевской площади желтыми пятнами горели редкие фонари; неподвижные фигуры часовых слива-

лись с каменными стенами. Около кавалерского флигеля встретился старик в шинели с пелериной, поклонился и засеменил куда-то в сторону.

В широком коридоре было светло. Женщина с папироской в одной руке, с чайником в другой разговаривала с высоким человеком в толстовке. Дверь открыл Фома.

— А, рано кончили, — сказал он, похлопывая себя по обтянутому сатиновой рубашкой животу: — Чего ты так дышишь?

— Быстро шла. Нет, они еще разговаривают. Где Дима?

Мелкими шажками вышла Зося в нарядном передничке.

— Ну, раздевайся! Дима спит, ты его оставь у нас. Елена вдруг рассердилась.

— То есть почему? Завтра ему в школу. И вообще глупо было приводить!

— Зачем же будить? Утром я его покормлю, он и побежит.

— Ну, ну, не упрямясь, — добродушно уговаривал Фома, подталкивая ее в спину.

У нее закружилась голова, пришлось сесть. Отставив мизинец, Зося наливала чай, не ту отвратительную мутную жидкость, которую давали на службе, а настоящий крепкий, душистый чай в тонкой фарфоровой чашке.

— Кушай! Вот масло, ветчина... Фома, подвинь хлеб! Разбудить всегда успеешь, а мне надо поговорить с тобой серьезно. Прежде всего, ты понимаешь что ты делаешь? Нечего хмуриться, ты не дура, Еленушка! Ну, как ты живешь? Чем ты питаешься? Нет, не ерунда, и ты на меня не обижайся! Я тебе прямо скажу — я испугалась, когда к вам вошла. Ну, разве так можно? Ты посмотри на этого несчастного Диму, ведь он одичал совсем, мне чуть ли ни силой пришлось его вытаскивать. Я тебя в десятый, в сотый раз спрашиваю: ну, почему

ты не переедешь сюда? Сразу бы все упростилось, и обед можно получать, и по карточкам. Ведь ты даже не знаешь, что дают у нас в кооперативе. Другие бы рады были, а ты можешь и... нет, молчи, молчи! Я все знаю, что ты хочешь сказать. Брось ты этот аскетизм дурацкий! Ну какая кому от этого польза? Ты работаешь как вол и значит должна пользоваться некоторыми преимуществами. Да, наконец, ты просто не имеешь права! Мы все принадлежим Партии, а не себе. Людей не хватает, людей нет, а ты себя губишь! Вон спроси у Фомы — Владимир Ильич просто кричал: где, где найти порядочных, толковых людей?!

Хлеб был мягкий, разделялся слоями, ветчина таяла во рту. Начав есть, она не могла уже остановиться. Фома Любецкий посмеивался, крутил длинными белыми пальцами пенсне. Когда-то в Париже его прозвали Иисусиком, теперь он еще больше стал похож на дешевую икону.

— Что ж, Зося права, — снисходительно промямлил он, — хотя подход у нее, конечно, женский. Работы еще очень много и это надо помнить, мы все нужны, просто не имеем права останавливаться на полдороге. Это, знаешь, раньше так казалось — лишь бы победить... А на деле — теперь то самое трудное и есть. Легко было подхватить власть, падавшую из рук нечестных людей, а вот попробуй-ка создать новую психологическую установку! Уж про крестьян я не говорю, а даже рабочие — отнять фабрики это они понимают, а работать — пусть кто-то другой делает.

Елена очнулась.

— Да, да, я знаю... Со мной сегодня неприятный случай был...

Но Фома не любил, чтоб его перебивали.

— И беда в том, — продолжал он, повысив голос, — что удерживать их в этом тумане сколько угодно желающих. Я, право, не знаю кто хуже — те ли, что откровенно саботируют, или те, что притворяются сочув-

ствующими, а в душе нас ненавидят. С каждым днем их все больше, куда ни повернись, наряжаются в новые одежды, говорят речи, пишут статьи, лезут под руки и под ноги. Сразу и не поймешь... У них все преимущества, они пустили глубокие корни, так ловко подменяют наши идеи. А, не стоит! Расскажи лучше, что вы там решили в комиссии?

Елена пожала плечами.

— Как всегда — накурили, кричали... Скажи, кто этот Сивков, ты знаешь?

— Сивков? — переспросил Фома и, вытянув трубочкой губы, выпустил не спеша дым: — Да, я его видел, он вчера делал доклад о фронте. В общем ничего, неглупый человек, конечно, не хватает образования. Он рабочий, принимал участие в местных организациях. Я его не помню — таких тысячи. Почему ты спрашиваешь?

Елена зевнула.

— Не знаю, просто так. Мне показалось, в нем что-то есть, какая-то прямота или решительность... Ну, спасибо, надо двигаться.

— Прямота! — фыркнул Фома: — Боюсь как бы нам на этой прямоте ни обжечься. Между прочим Ильич носится с ним ужасно, называет homo novus, ставит всем в пример. Знаешь, как он всегда: „куда уж нам, интеллигентам"! Вообще, у него теперь пунктик — создание новых кадров из молодежи, из народа. Я против этого Сивкова ничего не имею, но зачем же преувеличивать? Между прочим он рассказывал, как с фронта ехал. Ильич хохотал ужасно. Понимаешь, поезд особого назначения, в одном вагоне командарм с адъютантами, двери на запоре, день и ночь стража, а в другом — спекулянты! Как это тебе нравится?

Голос Фомы все уходил, казалось, он говорит в другой комнате. Елена с трудом подняла свинцовые веки.

— Вот тебе и ограничения, и специальные разрешения, — не замечая продолжал Фома: — Теперь хотят остановить пригородное сообщение...

— Да она спит совсем! — крикнула над самым ухом Зося: — Знаешь что? Оставайся ночевать! Кухонка ужасная, но можно подложить тюфячек. Скоро получим новую, тогда милости просим хоть каждый день! Ах, я забыла совсем — ты ведь не видела ковер? Вот хорошо что вспомнила — иди сюда!

— Брось, — проморщился Фома, — не стоит.

— Почему? Мне хочется показать. Елена понимает. Говорят, больше тысячи стоил, только обидно, края пришлось обрезать — комната мала.

Над Кремлем острым бриллиантовым блеском переливались звезды; Дима ежился и спотыкался. На извозчике он заснул, пришлось держать его окоченевшей рукой. Нигде не было света, улицы были пусты, будто ехали они по мертвому городу. Наконец свернули в переулок, над тротуаром нависли, придавленные снегом, деревья сада.

— Налево, к фонарю! — сказала она, постукивая зубами: — Дима, вставай!

Не открывая глаз, мальчик выкарабкался из под тяжелой полости и остановился на тротуаре.

— Ну, идем!

Неизвестно откуда появившаяся женщина перегородила им дорогу.

— Не откажите на хлеб, гражданочка! — сказала она развязно.

Пахнуло чем-то отвратительным — спиртом, дезинфекцией, нищетой. Лицо было опухшее, белое, будто отмороженное.

— Позвольте пройти! — крикнула Елена, отшатываясь назад и стараясь не прикоснуться к грязным лохмотьям.

— Вчерашний день из больницы выписалась, — бормотала женщина: — ни единой крошки в доме... если милость ваша будет!

— Обратитесь в Собез, понимаете? В Собез — там выдадут.

Проваливаясь в снег, Елена двинулась к подъезду. Тяжелая дверь туго подалась и медленно за ними закрылась. Ощупью они нашли лестницу и стали подниматься — Дима впереди, она за ним, так близко, что полы его пальто задевали лицо.

Вдруг сзади с тягучим скрипом дверь открылась снова. Зашуршала обмороженная одежда.

— Куда ж ты бежишь? — крикнул из темноты уже не заискивающий, а грубый, нахальный голос: — Спрятаться хочешь? От горя уйти? Дите, думаешь, спасти? У меня тоже есть... Помирает, воспаление у него... Будьте вы прокляты, сволочи! Вспомнишь меня!

9.

Речь Ленина на Первом всероссийском совещании по работе в деревне была напечатана в Правде 19-го ноября. В разосланном по губерниям циркуляре рекомендовалось не принуждать крестьян силой, а разъяснить им государственную необходимость добавочной продразверстки. Вместе с тем говорилось, что продовольствие должно быть собрано на сто процентов.

В феврале в Ненашево приехал отряд милиционеров. Обыск начался с выселок — крайние избы, еще недостроенные, с кучами запорошенных снегом стружек, почти не смотрели, старый, осевший двор Солдатовых перерыли сверху донизу. Анисьины девки приставали к милиционерам с грубыми шутками, стараясь отвлечь их от сарая, где под соломой были спрятаны мешки с рожью. Сама Анисья, поправляя на ходу сбившийся платок, все забегала перед начальником милиции.

— Вдовая я, — причитала она скороговоркой, — откуда что взять... шесть девок, сама седьма, пойди накорми их ненасытных! Ба-атюшки родимые, да куда

ж вы это, а? Да что ж вы это делаете! Нет, там ничего, лопни мои глаза, нет!

Ее резкий, крикливый голос разносился по все деревне, наполняя ужасом сердца. От дома к дому перебегали ребятишки и девки, передавали новости.

— Чего ищут то? Ох, Господи Владыка, до чего дожили!

— Рожь говоришь? А муку не берут? Поскольку оставляют то, не слышать?

— Обратно отдать сулятся, вроде как в займы...

— Пора там! На кой же брать?

— Ровный, говорят, паек дадим. А то у кого много, а у кого нет ничего.

— Ах, провалиться им! Известно, кто работал, у того и есть...

— А как же у господ отымали, им тоже, поди, жалко было.

— Ну, у господ... куда им столько...

— Каждому своего жалко.

— У Колычевых картошки ссыпают, тетка Федосья во-оет...

— Ох, батюшки! А мы и не прятали, в погребе лежат. Что ж теперь делать?

Мужики стояли около реквизированного амбара.

— Эй, иди кто помогать! — кричал с порога незнакомый человек в синей поддевке: — Для вашей же пользы делается — весной ахнете хлеба нет, а мы и выдадим запас.

— Не нуждаемся, — мрачно отвечали из толпы, — нам вашего не нужно и своего давать не хотим.

— Это как же так? Коров барских получили, не отказывались, земли вам прирезали?

— Много мы получили, слава одна.

Оттуда, где выли бабы, приближались нагруженные сани. Герасим Левашкин, опустив голову и не глядя по сторонам, шагал рядом с лошадьёю. На раскатах он по привычке хватался за грядку и, скользя огромными, разбитыми валенками по откосам, поддерживал воз.

— Эй, дядя Герасим, — кричали из толпы, — много тебе жалования положили ?

— Не мало ! — огрызнулся Герасим : — Прикладом в спину. Небось, и ты не отказался б, пошел.

В первом часу отряд подошел к Левашкиным. Герасим, проезжая мимо своего двора, мрачно отворачивался. Саша в волнении несколько раз выскакивала на крыльцо — Авдотья не возвращалась. Свекровь сидела неподвижно все на том же месте, постукивала спицами. Ее спокойствие выводило Сашу из себя.

— Придут, — бормотала она, то хватая дрожащими руками веник, то принимаясь судорожно качать люльку, — чуёт мое сердце, придут. Просила я Ваню, Христом Богом просила, хушь бы два денька подождал... Ну, что я им скажу ?

— Ты б воды принесла, скотина непоена. Что ж теперь делать, бумагу надо было выправлять...

— Да нешто я не говорила! А он говорит: никаких бумаг не надо, не смеют тронуть.

— Как же так не надо? Арина Палочкина сказывала, у ней есть, охранный, говорит, бумага.

— Что ж я с ним сделаю? Да теперь еще брат Герасим! Жили бы мы одни, может и не тронули бы; говорила я Ваньке, давай делиться.

— Нехорошо так-то, — вздохнула Агафья, — им тоже жить надо.

— Что ж он, брат Герасим, как что — сейчас в спор. Намедни приехали какие-то из города, собрание собирали, а он им прямо: неправильно, мол, делаете! Они что-то насчет церкви, чтоб против итти, а он свое: мы, мол, не против. Ох, идут, никак!

— Это Авдотья, — наклонившись к окну, сказала старуха.

Авдотья вошла и, как была в шубе и шали, села на лавку.

— Ну, что ж ты?

— Да нет его дома, с ними ходит. Я было сунулась, председателя мне надо, а они ружьем пыряют.

Шум на улице стал громче, будто ветер повернул в их сторону, совсем близко заговорили голоса. Крыльцо закрипело под тяжелыми шагами ; к окнам, загораживая свет, привалились чьи-то лица. В распахнутую дверь вошло несколько человек, остальные, не поместившись, остались в сенях, и, как бывает на свадьбах и на похоронах, никто не замечал, что ледяной воздух наполняет избу, только ребенок в люльке громко заплакал.

Начальник милиции, высокий, розовый, гладко выбритый человек, казавшийся еще выше от длинной, до пят шинели, шагнул вперед.

— Хозяин где ? — спросил он строго.

Саша как в столбняке смотрела на него широко раскрытыми глазами, зачарованная блеском желтых сапог, чужим говором и холодным, проходившим насквозь, взглядом.

— Подвода на нас, — угрюмо ответила старуха, — вон он дли амбара стоит.

— Список где ? — не поворачивая головы, спросил начальник милиции : — Уберите ребенка ! Как фамилия ?

— Левашкины мы, Герасим да Иван, неделенные мы . . .

— И вовсе делиться хотели, — задыхаясь, перебила Саша, — мой в городе служит, никакого обыска не может быть у нас, права не имеете !

— Права не имеем ? — усмехнулся начальник милиции, вздернув как злая лошадь верхнюю губу.

Милиционеры двинулись вперед.

— Да что же это вы делаете ! — отчаянно закричала Саша : — Что ж ты молчишь, не заступишься ? — кинулась она к председателю сельсовета : — Ты же знаешь ?

— Что она болтает ? Председатель, где ее муж работает ?

Председатель, вялый, тупой мужик, вздохнул.

— Продотдел, что ли, — сказал он неуверенно.

— И вовсе пардотдел, — поправила старуха, — уж я старая и то помню.

На свежих щеках начальника милиции собрались ровные складки.

— Лучше говорите, где хлеб спрятали ?

— Шестнадцать ртов, не напрячься ! С голоду, видно, подыхать . . .

— Эй, что там ?

— Сахар, что ли, — ответил молодой черноусый милиционер, вытаскивая из-под Сашиной подушки холщевый мешечек.

— Ага ! Вот как вы — спекулянтничаете, наменяли !

— Ванька привез, отсохни руки и ноги ! На службе дали . . .

— Врешь ! Удостоверение есть ?

— Не выправил он, говорила я ему, просила . . . Да что же это никто не заступится ? !

Подобрав полы шинели, милиционер полез под печь, где были спрятаны четыре мешка мытой, подсеянной ржи. Саша опустилась на пол и завывала, накрыв голову подолом. Старуха бросила чулок и стала вторить ей низким, грубым голосом. Авдотья плакала тихо, вытирая глаза кончиком головного платка. Сахар был Сашин, утром она попросила кусочек для маленького, а Саша пожалела, не дала.

Когда стало смеркаться, погнали скотину поить к барскому пруду. Шершавые, в закорузлых шариках навоза, коровы тяжело и осторожно ступали на неровную поверхность льда, их кривые ноги разъезжались, толкаясь, они протискивались к корыту и беззвучно втягивали холодную, темную воду. Напившись, они долго стояли в раздумии, с их мягких, в редких волосках губ капала вода. Потом тяжело вздохнув, они пятились назад, вылезали из давки и, не обращая внимания на хозяев, медленно поднимались на пригорок. Другие, воспользовавшись задержкой, обнюхивали друг друга, лизали шершавыми языками бока соседок, а более молодые и сытые шутиливо брухались, постукивая рогами.

— Было у меня два пуда муки, — рассказывала худая, остроглазая женщина, — грешница, от Ивана спрятала, думала Бог приведет, выменяю полсапожки, какие ни на есть... Нашли дьяволы окаянные, нашли, отняли, чтоб им ни дна ни покрышки!

— Полсапожки! Пора там, было бы чего жрать...

— Приходят ко мне и прямо на чердак, не иначе им кто-нибудь доказал, уж я знаю чье это дела, зна-аю...

— Наши соседи ветчину в овраг снесли, посадили малого стеречь, а он зазяб, да домой и прибѣг. Пошла молодка ихняя за ветчиной, ан ветчины то и нет! Они туда-сюда — так вроде следочек видать. А ветчины то пуда два!

Мужики стояли отдельно и, боязливо поглядывая в сторону улицы, где мелькали шинели милиционеров, отрывисто ругались. Скрипели ворота, хлопали двери, народ расходился по темным избам. Только у Палочкиных окна светились как в праздник. Милиционеров развели по деревне, начальство расположилось у Арины. Она встретила гостей одна — невестка и внук ушли спать за перегородку.

В избе было чисто, на новом некрашенном полу лежали дерюжки, пахла хлебом, холстом и непроветренной, слежавшейся одеждой. Икона в углу была только одна, небольшая, зато было много картинок по стенам, вырезанных из журналов иллюстраций. Посреди серых, слепых листов выделялись два портрета в рамках — седая голова Маркса и хозяин дома Семен Палочкин. Снят он был в шинели, на левой стороне груди из складок сукна выглядывал орден, узкогубый рот был перекошен.

Не обращая внимания на хозяйку, начальник милиции молча глодал куриную ногу, его товарищ весело поглядывал по сторонам.

— А что я у вас спросить хочу, — смело начала Арина, присаживаясь на табуретку, — будто мне ваша личность знакамая? Вот их, — она осторожно покосилась на начальника милиции, — не упомяну, а вас как сейчас вижу.

— Правильно, правильно, — весело согласился рыжебородый, — как это вы не забыли? Я только раз тут у вас и был, еще до войны. Я Семена Васильевича давно знаю.

— Вот я и говорю — как вошли, вижу знакомый человек. Уж мой Сенюшка, он такой, бывало еще молодой был, все к нему народ ездил, и господа, и поп Гайторовский, и учителя...

— А теперь и вовсе в люди вышел, — с уважением произнес рыжебородый: — Да и то сказать — заслужил, голова!

— Умный, страсть умный, изо всей деревни! Вывало еще в школу бегал, учитель Иван Николаевич, хороший был человек, ну, скажет, Арина, помяни мое слово, будет твой Сенька человеком, непременно будет!

— Сволочь народ у вас! — перебил начальник милиции, вытирая рот полотенцем: — Все нароят обмануть... Надо — значит, давай! Мало пороли...

Его товарищ удивленно вскинул голову, а старуха поспешно встала.

— Я мужиков знаю, — продолжал он брезгливо, — русский мужик глуп и ленив. Если б у нас в Латвии такая земля, у нас бы сад был, а не свинушник... Богатые люди были бы!

— И будет! — уверенно заявил рыжебородый: — Через пять лет не узнаете, советская власть покажет — конечно, надо преодолеть сопротивление. Что ж мужик? Мужик мелкий собственник, тот же капиталист.

— Что уж и говорить, — согласилась Арина: — Вот теперь хоть нас взять, ведь не то обидно, а главное житья от них не стало, завидки их берут: как это такое Сенька в Москве на хорошей должности? А он, не поверишь, не то что! мы ему отсюда посылаем, вот как! Он у нас не такой чтоб пользоваться, ему ничего не надо. Я, говорит, мамаша, за правду, взялись мы равенство делать, значит должны своего добиваться. Если,

говорит, деревенские дураки своей пользы не понимают, силком их заставим, а господам все равно крышка! А я ему говорю: ох, Сенька, не прошибись, гляди — неизвестно, что будет . . .

— Что ж, картина ясная, — зевая и потягиваясь, сказал начальник милиции, — игра, можно сказать, верная.

— Вот и он так. Раз, говорит, в свои руки взяли, теперь не выпустим, шалишь! А меня сумление берет — жили, жили, все на своем месте было . . .

Прежде чем лечь на приготовленную ему постель, начальник милиции вышел на улицу и, поскрипывая кожаными сапогами, прошел по деревне. Мороз крепчал; мелькие облака проплывали по ясному ночному небу, закрывали на минуту луну; по снегу ползли тени. Где-то в конце деревни глухо голосили бабы. Он спустился к реквизированному амбару, обошел вокруг, потрогал ледяной замок.

На высоком бугре, над засыпанным снегом прудом шумел парк, сквозь голые ветки деревьев видны были крыши построек, мигал одинокий огонек. Он перешел по скользкому мостику на другую сторону улицы. В одной избе при неровном свете коптилки толпился народ, качались по потолку тени. Молодая женщина рассказывала что-то, размахивая руками; слезы катились по ее лицу, она их не вытирала и всхлипывая, дергала головой.

Он дошел до конца улицы. Дальше были новые, еще нежилые избы, шумел ветер в поле, замечая следы. В крайнем доме светился огонек, за столом сидел один из его подчиненных, черноватая девка примостилась у него на коленях, обнимая его шею одной рукой, поблескивала цыганскими глазами. Другая, помоложе, сидела на конике, мотала голыми ногами и смеялась. Худая старуха осторожно наливала в стаканчик мутную жидкость. Начальник милиции хотел для порядка стукнуть в окно, припугнуть, но раздумал и, брезгиво плюнув на снег, пошел обратно.

В конце марта в Ненашево приходил странный человек. Первая заметила его старая барыня. Под вечер она пошла пройтись. Днем было тепло, бежали ручьи, потом подул холодный ветер, подморозил размешанную со снегом грязь. Она шла медленно, опираясь на полированную, с надписью „Ялта”, палку, осторожно шупала дорогу обутой в резиновый ботик ногой. Седые волосы были повязаны оренбургским платком, на шнурке из черных шариков висела облезлая муфта.

За амбаром, где дорога была обсажена орешником, стояла чужая собака. Не двигаясь, подняв маленькие, твердые уши, она прислушивалась к хрусту снега в саду.

— Пошла вон ! — крикнула Марья Михайлова, поднимая палку.

Собака не двинулась. В саду слабо, будто из детского ружья, щелкнул выстрел и кто-то засмеялся. Два незнакомых деревенских парня в стеганых куртках вылезли на дорогу и, не здороваясь, повернули в усадьбу.

— Вы что, за зайцами ? — растерянно спросила Марья Михайловна.

— А вам жалко ? Помирать пора, а все жадничаете ! — Посвистывая они перелезли через канаву и пошли целиной по хрусткому снегу к деревенским ригам.

Она дошла до конца ореховой аллеи, стараясь пережить чувство тревоги и обиды. С северной стороны сада лежала полоса твердого, с коричневой накипью, снега; дорога торчала бугром, колеи обмякли и разрыхлились. В саду дымчато круглились кроны молодых яблонь, вокруг стволов стояли зеленые лужи под тонким, прозрачным ледком.

На углу, где сад кончался, она остановилась. Впереди было поле, пятнами чернела земля, плотными кучами лежал прошлогодний навоз, по межам кудрявилась полынь.. Кругом было пусто и безлюдно, дул холодный ветер.

Вдруг на полдороге между садом и лиловой полосой леса шевельнулась темная точка, из балки вынырнула человеческая фигура и, покачиваясь, стала приближаться. Дальнорезкими глазами Марья Михайловна разглядела, что прохожий тащил на спине что-то тяжелое, то и дело оступался и проваливался в снег. По его неуверенным движениям, потому как он неловко откидывался назад и поднимал локти, она решила, что он городской, непривыкший ходить пешком, человек. Теперь уж видно было, что и одет он как-то странно — на ногах мягкие, с рыжими голенищами, сапоги, на плечах подпоясанная ремнем крылатка.

Марья Михайловна сошла с дороги и стала ждать. Тревожные мысли лезли в голову — осенью так же в поле ограбили Рудневскую учительницу, в Вашане зарезали целую семью. Она с надеждой прислушалась ни хрустит ли снег в саду под ногами деревенских охотников, но кругом было тихо, только все ясней чавкали неровные шаги прохожего. Ей представилось, что сейчас он ударит ее по голове и потребует денег.

Поровнявшись с ней, человек замедлил шаги и остановился. Она ступила назад, попала в что-то скользкое и, едва удержавшись на ногах, подняла муфту. Несколько секунд прохожий смотрел на нее светлыми, водянистыми глазами, потом шевельнул губами, но ничего не сказал. Постояв минуту, он слабо усмехнулся и двинулся дальше.

Весь вечер на душе у нее было беспокойно, она посылала Грушу посмотреть ни ходит ли кто по усадьбе. Ночью собаки с громким лаем бегали вокруг дома, Марья Михайловна вставала и, прислонившись лбом к холодному стеклу, старалась разглядеть что-нибудь в темноте.

В деревне появление странного человека тоже вызвало волнение. На его костюм, на робкий взгляд, на усталую улыбку никто не обратил внимания, мало ли спекулянтов прошло за последние годы через Ненашево. Но когда он снял с плеч тяжелую ношу и развязал углы

скатерти, под крышкой таинственного ящика оказалось такое количество ниток, иголок, лент и кружев, какого деревня давно не видала. Цены были сходные и брал он чем придется — деньгами и яйцами. У кого-то взял даже холодные картошки.

Арина Палочкина, пошептавшись с невесткой, позвала его ночевать. Он поглядел в окно на расквашенную за день дорожку, на догоравший за садом холодный закат и поблагодарил. У Большаковых было тепло и чисто. Осмотревшись, прохожий вдуг стал собирать пожитки.

— Это кто? — спросил он, кивая на фотографию в черной рамке.

— Сынок, — с гордостью ответила Арина, — как же, Сенюшка, сынок.

— Красивый мужчина, — пробормотал прохожий.

— Это уж истинно могу сказать, даром что сын, другого такого поискать! Куда ж ты собираешься? Темно уж, ночуй здесь! Мы не гоним, черед то хоть не на нас, да ладно, так и быть.

— Спасибо, большое спасибо. Но я лучше пойду, рассчитывал в Боровково попасть, может и успею.

Он с трудом взвалил ящик на плечи и вышел на улицу. Пахучий весенний ветер дул в лицо, по светлomu небу катились тяжелые, плотные тучи. На бугре, высоко над деревней застыла темная усадьба, шумели деревья в парке, внизу, откуда так остро пахло талой водой, ухая, оседал снег.

Прохожий постоял, подумал и двинулся через дорожку к угловой избе. У Колычевых тускло светила прикрученная лампочка. Ребята уехали в город, Наташка куда то вышла, старики были одни. В избе пахло щелоком — Федосья стирала рубахи; Иван Михайлович сидел на лавке, чесал кудлатую голову.

Странника пустили охотно. Федосья достала из печки чугунок, налила ему щей и все пыталась завести с ним разговор, но должно быть он устал или просквозило его дорогой — он только улыбался и перхал как старая овца.

— Голову то повязал бы чем, — посоветовала Федосья, — ты не гляди что солнце греет, ветер сейчас самый ядовитый, прознобит, что и не встанешь... А уж голова это главное дело, она тепло любит, повязал платочек и ладно, авось не молоденький, стыдиться нечего, никто не осудит...

Торгаш благодарил и улыбался. Ночью Федосья слышала, как он вздыхал и кашлял. На утро, распросив про дорогу, он поплелся, низко опустив голову.

Через два дня вернулись из города ребята, съездили они благополучно, привезли товару, продали по хорошей цене овес. Максим по совету бывшего хозяина, картузника, решил заняться ремеслом на дому; Николай купил по случаю партию подметок. Вечером, как всегда у Кольчих, сидел народ, ребята, рассказывали про дорогу, как чуть было не утопили в Кривом Броду кобылу.

— У Прокопия Семеновича стояли? — спросил Иван Михайлович.

— У него, — сказал Николай: — Велел все, что есть, привозить, все, говорит сбудем, хотите на деньги, хотите на товар. У него медянки пуда три в амбаре стоит. Теперь, говорит, только через торговлю и можно жить — сунуть кому надо, они глаза закроют, а с мужиков все равно шкуру сдерут.

Максиму тоже хотелось говорить, хотелось похвастать как хорошо принимал его хозяин, но Николай все перебивал, не давал ему раскрыть рот. Наконец, дождавись минуты, когда Николай стал закуривать, он завладел разговором.

— Вчерашний день чай в трактире пили, такая там представления вышла, не хуже как в театрах. Нам то сперва ни к чему — сидим у окна, чай пьем, колбасы полфунта взяли. А он тут же у дверей, такой, сволочь, малохольный... Мы еще посмеялись с Колькой, вроде он с придурью, не хуже Федьки-пастуха.

— Не тот ли, что тут был? — живо откликнулась Федосья, — у нас и ночевал.

— Нет, зачем, — уверенно перебил Николай, махнув белой, с перстнем рукой, — он скорей всего из этих вот, интеллигентов. Ему милиционер говорит: Бумаги давай ! А он лопочет чего-то, вроде про власть, будто сочувствует...

— Из большевиков, что ли ?

— Нет, так, торгует чем-то. Милиционер говорит: Идем ! Он сперва, было, уперся: Почему, говорит, такое ? А как саданули раз, живо пошел ! Руки ему назад закрутили, бичевка тоненькая, в ящике у него и взяли. Пошел и товар позабыл — больно испугался.

— Ну, он самый и есть ! Он и тут все глядел, вроде опасался.

— Унес чегонибудь, — спокойно, без осуждения заметил Иван Михайлович.

— Такого кто хошь обидит, — заступилась за странника Федосья, — он простой, глядишь, иной раз и голодный ляжет. Может и унес, как же теперь быть. Донька Солдатова пуговичек на блюзку взяла. Нет, говорит, у меня, дедушка, денег. А он: Ну что ж, говорит. Так и отдал... Палочкина Арина сколько товару забрала, а он пошел и про деньги забыл.

— Уж с этих то грех не взять, у кого другого...

— Нет, не то, — небрежно объяснил Николай, — листочки у него какие-то. Милиционер один в руках держит, а другие под товаром лежат.

— Листочки ? Ну-ка, погоди !

Федосья протиснулась в угол и через голову Николая достала с полки сложенную бумажку.

— Он как ушел, я на лавке нашла. Мне и ни к чему.

— Этот самый, — кивнул Николай.

Иван Михайлович взял из рук жены листок, расправил его круглыми, неразгибающимися пальцами и положил на стол перед сыном.

— Почитай чего пишут то !

— Да ну, чего там, — неохотно ответил Николай

и, скосив глаза, стал медленно разбирать слова : Братья крестьяне, не верьте большевикам, когда они пугают вас воз . . . воз . . . вращением помещиков. Нам, так же как и вам, дорога только идея родины, мы ничего не хотим кроме вос . . . ста . . . восста . . . новления нацию . . . национального лица России. Экс . . . экс . . . Так ерунда какая то, — сказал он, отодвигая листок.

— Помещики, сволочи ! — развязно заметил Максим.

— Его и видать, что из господ, — согласилась Федосья, — что ни слово — пожалуйста да спасибо.

— Что ж выходит он против власти, что ли ? — недоуменно спросил сидевший у двери старик.

Иван Михайлович усмехнулся кротко и ехидно.

— А ты что думал ? Господа и все так : — был царь — нет, нехорошо, давай перемену ! Новая власть — опять недовольны . . .

— А мы терпи ! — удивленно сказал старик.

11.

Над усадьбой, куда странник даже не заходил, надолго повисла тревога. Марья Михайловна все прислушивалась, чего-то ждала, смотрела на, покрытую корками грязного снега, дорогу.

Постепенно ее беспокойство улеглось и она вернулась к прежним занятиям — готовила посылки, зашивала в холстину хлеб и сало, писала чернильным карандашом адреса. Надо было пройти по хозяйству, заглянуть в людскую, где из-за дощатой перегородки по-весеннему пахло сыростью, шерстью и кислым молоком; телята толкались в руку мокрыми, скользкими носами, ягнята тревожно блеяли, пошатываясь на слабых ножках. Надо было приготовить огородные семена, ящики для рассады.

Ночью тревога возвращалась, путалась со снами,

принимала безобразные формы: по пустым, заваленным снегом улицам Москвы бродили чудовища; освещенные пожаром лестницы уходили в небо; ее дети, маленькие, беспомощные, одетые в старое тряпье, уезжали одни в набитых людьми поездах, а она, не успев, сорвавшись со ступенек, оставалась одна на пустой платформе.

О муже она думала редко. Он остался в старом, благополучном мире с гвоздикой в петличке, со свежим запахом английской пасты, со своими, никому теперь ненужными, либеральными идеями и твердым убеждением в своем праве жить в особняке, держать лошадей и делить время между двумя семьями.

Только последний день она вспоминала, прибавляя каждый раз новые подробности — медленный поздний рассвет, желтый туман, наполнявший улицы, бесшумно падавший, обильный, легкий снег. Она сидела в столовой у чайного стола, прижав руки к груди. По безошибочному ощущению пустоты в доме она знала, что Владимир Николаевич не возвращался. Люба в пальто, в съехавшей с туго заплетеных волос котиковой шапочке стояла в передней, помахивая книгами в ремнях. Вот быстро вышел Сережа, стукнула вешалка.

— Все-таки я не понимаю, — сказала Люба: — Что ты сказал?

— Дура! — ответил Сережа: — Можно подумать тебе шесть лет.

— Но почему ты не хочешь объяснить? Я просто не понимаю — какой дом? Здесь, в Москве?

— Дом, — терпеливо и раздельно произнес Сережа, — дом и семья, другая, не мы.

Несколько секунд в передней было тихо.

— Как ты смеешь! Дурак! Я маме скажу.

Все нарастающее, приближавшееся шлепание копыт по мокрому снегу оборвалось перед подъездом. Распахнулась парадная дверь.

— А! — весело воскликнул Владимир Николаевич, — вы готовы? Сережа, крикни Василию, он вас подвезет.

Она вертела кран самовара, перекрученная струйка сбегала в полоскательницу. Не поднимая глаз, она видела его руку со вздутыми венами, выбивавшую на скатерти дробь.

— Неужели ты не можешь, — начала она, прочистив горло, — не можешь немного раньше... или позже, когда они уйдут? Почему обязательно...

— Ах, брось, пожалуйста! — перебил он грубо: — Мне надо к десяти на фабрику. Ты вечно выдумываешь глупости, забываешь, что они взрослые. Давно хочу поговорить с Сережей, я уверен, что он поймет — теперь на это смотрят просто. Главное, я хочу, чтоб они знали, что у них есть маленький брат. Случись что со мной...

Она стиснула руки, опустила их на колени. Надо было спешно что-то сделать, убедить, умолить... В пять, решила она, в пять, когда он вернется со службы, прежде чем увидит Сережу.

А в половине третьего позвонили с фабрики. Испуганный голос что-то путал о взбунтовавшихся рабочих.

— Владимира Николаевича дома нет, — ответила она, — разве он не в конторе?

Через час приехал на извозчике бухгалтер и по его бледному, перекошенному лицу она поняла, что разговаривать с Владимиром Николаевичем ей уже не придется. Не двигаясь, застыв, она слушала сбивчатую историю — как ворвалась в контору толпа рабочих и бухгалтер им вежливо объяснил, что директор занят, надо обождать, и как незнакомый человек в кепке толкнул его в грудь и распахнул дверь кабинета. Владимир Николаевич приподнялся, крикнул, покраснел и съехал на пол.

После этого все было похоже на болезнь, будто она была в жару и толстая, мягкая стена отделила ее от всего мира. В доме было тихо, мимо ее двери ходили на цыпочках, а она сидела в кресле и смотрела в окно на крышу конюшни. Среди дня изморозь таяла, на железе выступали темные пятна; нахохлившиеся, сбившиеся в кучу, голуби согревались и слетали на землю.

Дом постепенно оживал, опять звучали голоса, звонил телефон, все чаще звенел смех. Забегал маленький Дима, остановившись у двери, смотрел 'на нее испуганно и вопросительно. Надо было что-нибудь ему сказать.

— Ты гулял? — спрашивала она с усилием.

Дима молча поворачивался к ней спиной и ковырял отставшие у косяка обои.

— Я сделал дырку! — говорил он вызывающе и показывал завившийся трубкой лоскуток бумаги.

— Ну, иди к себе! — отвечала она равнодушно.

Он рывком распахивал дверь и, не удержавшись, громко всхлипывал.

Осторожно (будто это имело какое-нибудь значение) ей сказали, что дом национализирован. Она даже обрадовалась — теперь осуществится ее старая мечта о маленькой, светлой квартире, где она будет жить с детьми, скромно, с одной прислугой. Но оказалось, что Люба уже устроилась в студенческом общежитии, а Сережа снял комнату.

— Ты переедешь со мной, — сказал он твердо, как взрослый, — немного тесно, можно поставить ширму.

От волнения она ничего не могла сказать и потом целый день с гордостью и нежностью думала о сыне — Люба даже не вспомнила о ней, а Лену она не видела больше месяца. Лена где-то пропадала, часто не приходила ночевать, или приводила с собой шумных, грубых людей, будила прислугу, требовала наверх обед.

— Я еду в Ненашево, — сказала она утром, — с Димой, а вы устраивайтесь без меня, так будет лучше.

Передняя была заставлена сундуками и корзинами, все было в беспорядке, мебель сдвинута, на полу веревки и оберточная бумага.

Накануне отъезда в половине второго ночи ее разбудил свет. На пороге стояла Лена; на шапке, волосах, на рукаве пальто налипли плотные лепешки снега.

— Что это вначит? — спросила она странным, шагающим голосом: — Откуда ты вообразила, что я

отпущу с тобой Диму? Придумали втихомолку, за моей спиной, а я ничего не знаю. Иду, смотрю лыжи торчат, санки увязаны...

— Но ты же... Я тебя даже не вижу, как я могла сказать? И вообще ты никогда не интересовалась...

— Не твое дело, чем я интересуюсь!

— Но почему? Ты же знаешь, ему там будет лучше.

Лена дернула плечом, снег съехал с рукава и рассыпался по полу.

— Потому, — сказала она медленно, — потому, что я думаю о будущем. Где ты его будешь воспитывать? На кладбище? Разве ты не видишь, что происходит? не понимаешь, что прежняя жизнь кончена, совсем, навсегда! Все, чем вы жили, умерло. Ну, что ты ему можешь дать? Каким сором будешь засорять его голову?

Теперь Марье Михайловке было стыдно, что она не смогла удержать раздражения.

— Ах, ты эгоистка! злая, бесчувственная эгоистка! — крикнула она, приподнявшись — лежать в таком волнении она не могла: — Ты о нем то подумай! С кем он здесь останется? Да разве тебе Дима нужен? Просто назло, чтоб больно сделать. Я не о себе... за что он будет страдать? И так ты его жизнь испортила!

— То есть как это я его жизнь испортила?

— Что ж он, ни отца ни матери, ты думаешь он не понимает?

— Это совершенно не твое дело.

— То есть как не мое? Когда нужно было, спихнула его на мои руки...

Лена презрительно фыркнула.

— Почему ж ты не сказала, что тебе трудно? Такой пустяк, полон дом прислуги... Я б его кому-нибудь другому отдала.

— Да не трудно, как ты не понимаешь! Когда воспитываешь с пеленок... а да что с тобой говорить, разве ты знаешь, что такое привязанность, любовь, жалость...

— Вот именно поэтому я и не хочу его отпускать. Довольно уж вы забивали ему голову пустыми словами!

— Когда-нибудь поймешь, да поздно будет.

На другой день Сережа и Люба проводили ее на вокзал. Лена ушла, не прощаясь, Дима отпросился на каток.

— Почему ты плачешь? — спросил он, позвякивая коньками: — У тебя что-нибудь болит?

В вагоне было холодно, лицо у нее онемело, в груди дрожала и билась какая-то жилка.

— Напиши сколько у Белки щенят, — говорила Люба, оглядывая пассажиров сияющими глазами, — и, пожалуйста, не отдавай их на деревню — они их заморят.

Сережа укутал ее ноги пледом, положил на колени Новый Сатирикон.

— Сережа, насчет Димы, пожалуйста!

— Да, я знаю, не беспокойся! Все будет хорошо. И пришли телеграмму, когда приедешь.

После второго звонка они вышли. Через стенку вагона она слышала их голоса и смех, кто-то подпрыгнул и стукнул в окно. Поезд дернулся, прокатился металлический грохот. Она вскочила, уронила плед и журнал, кинулась к окну. По платформе, улыбаясь и помахивая рукой, шел незнакомый господин в кенгуровой шапке.

Поезд, набирая скорость, вырвался из-под темных крыш вокзала, мелькнул конец безлюдной платформы с пирамидой ящиков и прислоненными к ним лыжами, перестукнули стрелки и все кругом заблестело, заискрилось, переливаясь огнями по новому пушистому снегу, по обсыпанным инеем деревьям.

12.

В деревне тоже происходили перемены. Отняли землю, оставили сорок десятин за садом; работали плен-

ные — два брата из-под Триеста и молчаливый, угрюмый немец. Немца никто не любил, он не понимал шуток и мылся до пояса три раза в день. На австрийцев заглядывались бабы и девки.

Весной приехали брать коров и лошадей. Земля уже подсохла, ветлы вокруг скотного покрылись желтым пухом. Тревожно и резко отдавались чужие голоса, скрип телег, беспокойное ржание и мычание. Люба, приехавшая на каникулы, то выбегала, то возвращалась, красная, с дрожащими губами.

— Я их убью! — кричала она, сжимая кулаки: — Я что-нибудь сделаю. Как они смеют? Они Ладу прикрутили так, что она головы не может повернуть!

За несколько недель перед тем как взяли леса, деревенские днем и ночью тащили из ближней рощи хворост и молодые деревья.

— Чего они спешат? — удивлялась Марья Михайловна: — Ведь им же отдают.

— Вот и спешат, — рассудительно ответила кухарка, — а то, говорят, тогда и хворостинки не получишь.

Отняли большой сад, осенью собрались всей деревней снимать яблоки. Летние сорта перезрели и осыпались, антоновка не поспела, обрывали ее с веточками, с новыми почками. Марья Михайловна смотрела с балкона, как бабы носили яблоки в ведрах и ссыпали их в кучу под елью.

— Жалко, небось, — плаксиво спросила старуха-побирушка, присевшая на ступеньки отдохнуть, — свое то добро... И что только делают, родимец их расшиби!

— Да нет, что ж, — равнодушно ответила Марья Михайловна: — Только зачем они в кучу как картошку, ведь побьют...

Пленный немец уехал при первой возможности, австрийцы задержались. Провожали их слезами и уговорами не забывать, приезжать.

Несколько недель некому было привезти воды, за-

пречь лошадь. Потом появился уральский казак, пробиравшийся домой из германского плена. Он застрял в усадьбе на всю зиму: работы было мало, кормили хорошо, на деревне охотно слушали его рассказы. Рыжий, лысый и ленивый, он привлекал веселостью и добродушием и, когда весной двадцатого года он снова пустился на восток, в усадьбе стало пусто. Вместе с ним исчезла Малашка Солдатова, жеманная девка с лицом Джиоконды.

— А лих ее возьми, — кричала Анисья на всю улицу: — у меня их шесть, куда их девать!

Земли было уже не сорок, а только семь десятин. Буйно цвели сады, сияло высокое, по-весеннему легкое небо. В доме выставили зимние рамы, по комнатам ходил прохладный ветер, громче стали звуки — веселые голоса, свист иволги, далекий шум поезда. Марья Михайловна целыми днями возилась на огороде. От запаха земли и молодой травы все ее страхи казались преувеличенными. Белобрысая, пухлая Груша ступала квадратными ногами по прохладной земле и, дойдя до конца борозды, вдруг начинала петь пронзительным голосом.

Офицерик молодой, куда едешь? — Во поход. — Возьми меня с собою, зови меня слугою...

— Брось, Груша, — останавливала Марья Михайловна, — насильно мил не будешь, только напрасно себя расстраииваешь.

— Обещался письмо прислать, — всхлипывала Груша, — как приеду, говорит, домой, посмотрю как и что, и прямо тебя выпишу.

— Да он, может, и думать забыл. Ты не одна, много таких — поверили и поехали. А приехали, найти не могут, или найдут, а у него жена, дети. Целый пароход вернулся, немцы так и назвали „пароход с русскими Машами“. Да если б и женился — толку то что? ты подумай! Что ты там делать будешь — народ другой, все у них по-иному — и еда, и церковь, и говорят не по-нашему, ты и не поймешь.

— Он меня учил, я по-ихнему до пяти считать могла. Груша размазывала подолом слезы и опять они расходились в разные стороны. Из сада волнами плыло благоухание цветущих яблонь, нежаркое солнце грело плечи и голову. Через несколько минут Груша опять начинала петь.

Постель мягко постелю, в изголовье положу,
Одеялой одену, сама лягу с тобою.

В конце мая приехала Люба. Оглушенная соловьиным свистом, ослепленная блеском лепестков и молодой зелени, она несколько дней ходила как пьяная, за столом рассеянно глотала пищу, все к чему-то прислушивалась и на вопросы отвечала односложно.

— Ну, живут... ничего особенного... нет, купить ничего нельзя, так и живут.

Она часами лежала в гамаке с раскрытой книгой на животе или стояла с закрытыми глазами, обхватив ветки сирени. Вдруг она, будто, очнулась.

— Где людская? — крикнула она, распахнув дверь в сумрачную кухню: — Что случилось? Почему вы мне ничего не сказали?

— Ишь, хватились! — рассмеялась Груша.

— Мама, где людская?

— Ах, Боже мой, Люба, ты как во сне! Ну, увезли. Разобрали и увезли.

— И ты позволила!

— Фу, какая ты глупая, действительно! Что ж я могла сделать? А вот теперь отменяется наемный труд, землю будут давать только тем, кто работает.

— Так они воображают, что мы не умеем работать?

— Я то причем? Что ты на меня кричишь?

— При том, что ты с ними соглашаешься! — сердито ответила Люба.

На другой день, проснувшись в обычное время, Марья Михайловна отдернула, прогретую солнцем, парусиновую штору. По двору медленно двигалась нагру-

женная навозом колымажка, рядом шагала Люба, босая, с зеленой веткой в руке. Сзади бежали собаки.

К обеду она пришла красная, усталая, с грязными ногами. Марья Михайловна старалась не дышать — говорить не стоило, все равно завтра опять будет валяться с книгой, бродить по саду, мешать Груше работать.

Но она ошиблась. Рано утром, когда солнце еще не показывалось над ригами, а в саду было темно и свежо от росы, Люба зевая выходила из дому. Навстречу, повизгивая и извиваясь, вылезала из-под балкона Белка, выкатывались пушистые, пахнущие псиной, щенята. Она играла с ними, грея босые ноги в их теплой, свалявшейся шерсти, потом решительно распахивала двери сарая.

Поднималось солнце, розово блестела роса, в темных оврагах клубился пар, волнами переливались поля, то матово-зеленые, то золотисто-серые; кудрявые, почти черные, полосы картошки чередовались с красными всходами гречихи.

Возили клевер, Груша стояла на возу, уминая тяжелые, колючие охапки, Люба, напрягая все силы, поднимала огромные навильники.

— Да куда вы столько! — притворно ахала Груша: — Вы помаленьку!

— И будем тут стоять до самого вечера.

— Оно конечно, с вашими харчами да не работать!

Картошку Люба пропахивала сама, Груша смеялась и учила держать соху.

— А ты то сама умеешь?

— Уметь не умею, это дело мужичье, а видать приходилось.

В рабочую пору Люба не высыпалась, исколотые руки и ноги саднили и чесались. Ступая по мягкой пыли разбитой дороги, она качалась от усталости.

— Надо нанять, — повторяла Марья Михайловна, — не можешь же ты всю работу одна делать! В каждой крестьянской семье...

— То они, а то я, — гордо возражала Люба.

В минуты слабости она почти готова была уступить, поле казалось бесконечным, сваяла рвались. На соседней полосе Левашкины бабы двигались рысью; старая Агафья впереди всех, неожиданно легкая и ловкая, будто помолодевшая, играя обхватывала катушки, нажимала коленом и, оставив позади еще один крепкий, аккуратный сноп, перебегала дальше.

Но усталость проходила, Люба уже не беспокоилась, что она отстанет и кто-нибудь будет притворно ее жалеть.

— Ай, да барыня! — кричали с дороги чужие мужики: — Вот это так барыня! — и прибавляли что-то неразборчивое, отчего грохотали на соседних полях мужчины, а бабы неодобрительно поджимали губы.

После обеда она сваливалась под яблоней на мягкую, редкую траву и засыпала. Притворно пахло гниющей падалкой, по лицу ползали щекочущие тени, сухой сучек резал щеку. Проснувшись, она набивала карманы яблоками и с туманной головой снова шла в поле.

В конце августа стало легче, на огородах запахло коноплей, картофельная ботва пожухла, сизо блестели кочаны капусты, в круглых листьях перекатывались шарики воды.

Марья Михайловна сидела на краю дороги, собирала в мешки высушенную картошку. Проходившие мимо бабы останавливались, причитали над ней тонкими, притворными голосами.

— От вашей то жизни, подумать надо... Разорили, вконец разорили, туды-то их душу! И барышня, Любовь Владимировна... да господское ли это дело? Куда уж в нашем положении и то разве какая последняя солдатка так утруждается. За-а-муж надо, замуж... Трудно нынче, что и говорить, обедняли господа, дальше некуда, а все может найдется какой... Барышня то красавица, да обгорела то как, хуже деревенской девки, да разумши — ноги, поди, саднеют с непривычки!

— Чего ты с этими дурами разговариваешь! — сер-

дилась Люба : — И кто им позволил через усадьбу ходить ?

Осень была дождливая, быстро осыпался сад, в сухие дни на деревне грохотали молотилки, звонко заливались мальчишки-погонщики. Чаше стали заходить мужики — посидеть, попить чайку, чего-нибудь выпросить. Герасим Левашкин, огромный, длиннорукий, в рваной шубе, долго и нудно рассуждал о Боге, о справедливости. Понять его было трудно, он и сам толком не знал, что хочет сказать. Когда-то Владимир Николаевич, увлеченный его могучим голосом, возил его в Москву, думал сделать вторым Шаляпиным. С тех пор Герасим никак не мог сосредоточиться на хозяйстве.

Приходил Михал Михалыч Коротеньки-ножки, становился на колени, выпрашивал на косушку.

— Вот, говорят, господа ненужны, — пьяно бормотал он, — а кто мне даст, кто посочувствует ?

Солидный, аккуратный Щербаков поглаживал широкую бороду, спрашивал, что слышно из Москвы, о чем пишут в газетах.

— Ну, хорошо, так сказать, вот отняли у вас землю, а кому она досталась, видели мы ее ? Которая за садом кукуевским отошла, а нам под лесом прирезали, сами знаете, глина одна. Да и той по десятине на дом не придется ! А теперь слышно нашу купленную отымают. По какому такому праву ? Кто ее наживал, они что ли ? У меня за Яшкиным отвершком полторы десятины, да я ее на десять не сменяю ! Сколько я туда навозу перевозил. По мне бы лучше не давали надельной, а купленную оставили. Опять же скажите — комитет бедноты ! Как это такое Васька Деляга будет моей землей распоряжаться ? Сопли себе не может утереть ! Разве он хозяин ? Что он знает ? Ему вон корову дали, по три ведра в Сычешской экономии надаивали. Уж он хвастал: я, говорит, маслом буду стены мазать для утепления. А на деле не то что масла, а и молока нет. Всякое дело понимать надо ! Он вчерась на сходке кричит: это, говорит, об-

ман, я эту корову зарежу! Комитет бедноты? Хорошо, выбрали бы кого посolidней, настоящего хозяина, ну, хоть, кума Петру или меня...

Приходил Иван Михайлович Колычев. На изможденном лице святого сияли темные глаза, с тихой усмешкой он подшучивал над мужиками, над своими ребятами и над самим собой.

— Ну как, слышать, Ленин и Троцкий подрались, не поделились? — спрашивал он с ехидной улыбкой: — Троцкий то, вроде, за мужиков, сам, будто, из нашего сословия... А Ленин свою линию гнет, мне, говорит, капитал нужен...

— Ты, Иван Михайлович, лучше чай пей! Ну, как дома? Ребята вернулись, будет тебе полегче теперь.

— Что и говорить, — кротко улыбался Иван Михайлович: — Я теперь вроде как барин. Скотину кормить — эй, папаша, чего на печи лежишь? А овес продал, деньги им отдавай! Теперь, говорят, старики ненужны, скоро, говорят, закон выйдет, всех убивать будем...

Только о дочери говорил он без насмешки.

— Плохо теперь Наташке — ребята заели наотделку. А кто наживал? Не они. Мы с ней работали.

— Хороша у тебя дочь, Иван Михайлович — и собой хороша, и умница, и работница.

— Да уж, обижаться не приходится. Вот хочет в город ехать, а нам пускать неохота. Ну, и то сказать, дома ей теперь не житье. Замуж итти не хочет. Сватали ее, три раза сватали — не идет...

— Что-то она давно книг не брала. Или читать не хочет? Ты ей скажи, чтоб заходила!

— Читает кой-когда, у Ивана Левашкина книжечки берет. И нам рассказывает. Бабам, говорит, теперь свобода, в хозяйстве равная доля. Видно довольно мужики поцарствовали, велят — будем печку топить, а бабы на сходку пойдут.

Облетели листья, за голой березовой рощей стали видны серые крыши деревни. По ночам начались заморозки, днем все отмокало, блестела паутина, сладко пахло прелью и землей. Громко чавкала грязь под ногами Пегого, будто зачарованный тишиной усадьбы, он нехотя тащил бочку с водой по глубоким колеям.

Стоя у окна Марья Михайловна провожала глазами Любу, шагавшую в высоких сапогах по лужам, и качала головой.

— Когда ж ты едешь? — спрашивала она каждый день.

Люба пожимала плечами.

— Может ты решила не ехать совсем?

— Не знаю.

— То есть как так не знаешь? Ты и так опоздала!

— Ты же сама говоришь, что жить в Москве безумие.

— Конечно безумие! Но надо что-нибудь делать. Так и останешься недоучкой на всю жизнь. Думаешь, замуж выйдешь? Но я одно могу сказать, что зависеть от мужа материально... Каждый человек должен иметь свое дело. Конечно, советов никто не слушает...

— Ничего я не думаю, и никогда замуж не выйду! Вообще это ни при чем.

В начале октября выпал первый легкий снег и на другой день исчез — то ли растаял, то ли сдуло ветром. После этого земля долго стояла голая, неприкрытая; трава пожухла, застывшие следы резали ноги. Говорили, что на следующий год обязательно будет голод. Жизнь шла своим чередом — кое-где домолачивали овес и гречиху, крыли крыши, внизу у ручья замотанные бабы громко стучали вальками, полоскали в ледяной воде рубахи, по деревне пахло пареным щелоком. Красноносые ребятишки вертелись на берегу пруда, пробовали палками зеленый лед, бросали калмышки.

В ноябре небо набухло, опустилось, стало грязно желтым. Повалил обильный снег с ветром, крутившим туда и сюда, бросавшим целые охапки вверх. Скоро закрыло все впадины и ямы, сравняло с краями дороги, соединило изрезанные межами поля в одно огромное вспухшее пространство. Молодые березки в роще перегнулись на сторону, склонили под тяжестью снежных шапок верхушки до земли. Замело окна и двери, около стен выросли высокие сугробы, им навстречу с крыш нависли пуховые подушки.

Почти три недели крутила метель, снег падал и падал. До станции невозможно было добраться, на выезде за деревней след обрывался глубокой разбитой ямой — кто то пытался проехать и чуть не утопил лошаль.

Марья Михайловна тоскливо бродила по дому, смотрела в окна на низкое серое небо.

— Я не понимаю, чего ты радуешься? — говорила она дочери: — Бог знает, что могло случиться за это время, тебе и дела нет, живешь на необитаемом острове.

Наконец, погода установилась, снег осел, небо очистилось. На Николин день Люба принесла с чердака лыжи, натерла их воском, перетянула ремни. После обеда она вышла на переливавшийся огнями двор в короткой куртке, в ушастой оленьей шапке. Откуда-то из-за сугробов вылезла лохматая Белка, повиляла хвостом, виновато повизгивая.

Лыжи скользили, пружинили, будто, живые рвались вперед. За садом открылся ровный простор, дорог не было, дороги были ненужны. От морозного, пахучего воздуха слипались ресницы и ноздри. На севере небо было сиреневое, а снег голубой, на юге все блестело так, что было больно глазам.

Овраг можно было обойти в конце, где он почти сравнялся с полем, но она пошла напрямик и, разогнавшись, покатила под кручу. На бугре ее подкинуло, она шатнулась, выправилась и громко рассмеялась. Лес был совсем близко, по насту перекатывались сухие дубовые

листья и катышки помета. Вокруг занесенных снегом кустов бежали то рядом, то переплетаясь следы двух зайцев, будто они играя перегоняли друг друга. Деревья стояли холодные, скованные инеем, в тишине слышен был шорох падавших комочков снега. Где-то в таинственных норах и дуплах прятались звери и птицы, сидели нахохлившись, экономно поедали заготовленные запасы.

На обратном пути она спустилась в овраг в самом начале, там где летом была зеленая впадинка, все расширявшаяся и углублявшаяся, поросшая мелким кустарником. Теперь кусты были занесены снегом, под крутыми навесами были темные пещеры, дно поднялось неровными буграми.

Она шла медленно, тяжело опираясь на палки, то и дело проваливаясь в щели. Вдруг впереди под нависшим козырьком снега что-то метнулось и замерло. Она всадила палки и остановилась. Пристально и настороженно из сумрака смотрели блестящие глаза.

— Ах, ты! — пробормотала она в замешательстве, — ах, ты!

Глазки исчезли, будто растаяли. Не шевелясь, почти не дыша, она продолжала стоять. И вот опять в темной щели выделилось серое пятно и те же умные, внимательные глаза вопросительно уставились на нее.

— Чего ты боишься? — прошептала она: — Ведь я же...

Зверек метнулся и пропал. Уже за вечерело, когда она добралась до сада. На фоне желтой зари резко выступала крыша дома. Освещенные окна столовой затянуло паром. У заднего крыльца стояла чужая лошадь. Люба осмотрела накрытого драной попоной мерина, санки с застывшей рыжей подушкой.

— Кто приехал? — спросила она, распахивая дверь в кухню.

Груша засмеялась.

— Барин вашанский, сватать приехал.

— Дура! — ответила Люба.

В столовой на столе горела лампа под белым абажуром, лицо гостя было в тени, темная голова опущена. Вдруг он тот, который все поймет — и про зверя в норе, и про то как гудит во всех мускулах радость, и горит лицо.

— Хамье, — сказал гость, не глядя сунув ей сырую руку, — сволочь, что они понимают? Как животные... Я, природный дворянин, буду возить навоз! Простите, а что ж они будут делать?

— Я думаю, — заметила Марья Михайловна, — что весь этот проект не имеет никакого смысла.

— Помилуйте, как не имеет смысла? Им надо парализовать наше влияние, здесь мы выросли, здесь мы сила, если нас переселят, на новых местах мы будем чужими. Нет, мы решительно должны отказаться! Принудить они не могут.

— Какая уж там сила...

— Нельзя сдаваться! Я вам говорю, они меня не заставят омужичиться. Даже с государственной точки зрения не имеет смысла — бесполезная трата энергии... мы коренное русское дворянство... Что они знают, эти новые правители? Слыхали? Пришел приказ засеять поля кукурузой. Кто-то там у них открыл, что кукуруза дает самые большие урожаи. А подумали они о том, что в наших местах она и расти не будет?

После отъезда гостя Марья Михайловна со свечкой в руке зашла в комнату дочери. Люба лежала на кровати, накрывшись тулупом, гладила мурлыкавшую кошку и сонными глазами смотрела в книгу.

— Будешь ужинать? Ты слыхала, что Иван Сергеевич рассказывал?

— Ничего я не слыхала. Я одного не понимаю, как ты можешь говорить с такими типами!

— Что ж ты хочешь, чтоб я его выгнала? Между прочим он рассказывал, что приехали московские профессора, живут в Хвошне, читают лекции... А мы ничего и не знаем!

— Ну, и пусть читают, мне какое дело ?

— Фу, Люба, как тебе не стыдно ! Только подумай, что такой ученый как Келлер должен ехать в какую-то дыру, чтоб не умереть с голоду ! В страшное время мы живем . . .

Люба зевнула и перевернула страницу.

Во сне она видела поле, она катилась с горы, в ушах свистел ветер, рядом бежал маленький зверек с пушистым хвостом, прижимался к ее ноге как собака.

14.

Пятую неделю жили московские профессора в Хвошне у кооператора Капитоныча. Избушку позади потребиловки занесло сугробами, ненаезженную дорогу заметало. Сам Капитоныч ночевал у брата. Каждое утро, перед тем как отпереть лавку, он забегал домой посмотреть все ли благополучно, ни наделали ли профессора пожара.

— Уж и не знаю как избавиться, — говорил он покупателям почище, — то есть не поверите, что дров одних пожгли, керосин безо всякого внимания . . . А еще интеллигенты !

Александр Алексеевич Келлер спал на кровати, его друг и бывший ученик, Левочка Павлищев, составлял скамейки. Каждую ночь скамейки разъезжались, он проваливался в яму и хохотал жидким, придушенным смехом.

— Бросьте, Левочка ! — раздражался Келлер : — Ничего смешного !

Сам он спал плохо, половину ночи лежал с закрытыми глазами и нахмуренным лбом. Время уходило зря, работать было невозможно — маленькая лампочка давала свету достаточно, чтобы двигаться по комнате, о чтении нечего было и думать. Каждое утро он упрямо раскладывал на кухонном столе книги и тетради, исписанные мелким, четким почерком. Морщины на его лбу разглажи-

вались, невидящий взгляд останавливался в воздухе между столом и печкой. Но не успевал он сосредоточиться, как под окнами уже скрипел снег и кто-то отряхивал на крыльце валенки. Александр Алексеевич швырял карандаш и громко стонал.

Приходили мужики по какому-нибудь делу, а чаще просто от скуки, долго молча стояли у двери, собираясь с мыслями. Капитоныч приносил охапку дров и с грохотом бросал на пол. Шумно вваливался третий член экспедиции Сокол-Соколовский в присвоенном где-то тулупе, румяный, сытый, похожий на кота, объевшегося сметаной. Он все время пропадал, дома не ночевал и, вернувшись, хвастливо рассказывал о своих похождениях. Заметив страдальческое выражение на лице Келлера, Соколовский втягивал голову в плечи и в притворном ужасе открывал голубые глазки. С его появлением в избушке делалось тесно, он громко и фальшиво пел, самодовольно жаловался, что ему надоели попадьи и сельские учительницы, что его обкормили и он никуда больше не поедет. Очень скоро к общему удовольствию он исчезал опять.

— Ужас! — стонал Келлер: — Нет, таких типов в истории университета еще не бывало. Как вы можете смеяться, Левочка? Это же позор!

— Все-таки признайте, что я был прав — смотрите какой успех! А вы не хотели его брать...

— Успех! Только показывает чего здешняя публика стоит... Историк литературы! Боже мой! Вы заметили, как он говорит? Не могу поверить, что он преподавал в гимназии, просто был писарем или приказчиком в мануфактурном магазине.

— Может он умней нас с вами, — поддразнивал Павлищев, — знает кому что нужно.

Келлер быстро, быстро дергал губами, будто жевал что-то отвратительное.

— Ничего он не знает, просто чувствует себя как рыба в воде. Я одного не понимаю, зачем вы меня звали? Я тут совершенно не нужен!

Павлищев поспешно успокаивал, с удовольствием воображая как будет рассказывать все это в Москве.

— Ну, что вы, Александр Алексеевич! Куда мы с Соколом без вас — ваше имя по всей России известно. Да мне бы и разрешения не дали, первое, что Цурюпа спросил — кто едет.

Келлер смягчался.

— Подумайте! — наивно возмущался он: — Кооператор, человек, которому вверены общественные интересы — да он жулик! мелкий вор! Я ему дал кольцо и часы, выменять на масло, а он уверяет, что я не давал.

Не только Капитоныч, все здесь его раздражало — медлительные, тугие разговоры, недоверчивость, желание обмануть. С мужиками он чувствовал себя в чужой стране, язык которой знал теоретически, а психологию не понимал совсем. Его раздражало веселое оживление Павлищева, он не мог понять, как можно находить удовольствие в длинных чаепитиях с деревенскими лавочниками, как можно верить путанным и лживым рассказам мужиков. По вечерам, сидя у топившейся лежанки он брюзгливо слушал Левочкины поветствования.

— Очень интересно, очень! — захлебывался Павлищев: — Мне сейчас мой возница рассказывал — был в плену, недавно вернулся, все заметил, примечал как у немцев хозяйство поставлено, думал, приедет, заведет и то, и другое. Я не мог записать, теперь не восстановишь, он очень картинно рассказывал: как его поразила все та же изба, у порога лужа, тут же за загородкой телята, сахар обкусанный, обсиженный мухами. И никого это не тревожит, никому не мешает... Пытался объяснять, рассказывал как другие люди живут — ничего, полное равнодушие! Да еще нарочно, он что-нибудь сделает, а они испортят. Ну и махнул рукой. А вчера мельник, знаете? маленький, рыжий, похож на лису, все распрашивал, когда свободная торговля откроется? У него все готово, новая крупорушка, лавку изнутри отделявает...

Келлер угрюмо молчал.

— Чем больше смотрю, — ораторствовал Павлицев, — тем больше убеждаюсь, что все это временно — притаились, ждут, а чуть пройдет дождь, все зазеленеет опять.

— То есть что вы имеете в виду? — сердито фыркнул Келлер: — Экономическое благосостояние, факт физического бытия? Вы же умный человек, неужели вы не видите, что с Российским государством кончено, русская культура завершила круг. Что будет потом, я не знаю, может на этом месте образуется новое государство, но это не будет Россия. Разве правительство держало вместе все эти необъятные пространства? Держала самобытная и неповторимая культура, а носителем этой культуры был класс, который почти уничтожен, во всяком случае сознательно и последовательно уничтожается. Останется народ, запасные резервы, склад человеческой энергии, аморфная масса, служившая материалом для русской культуры, а теперь будет материалом для чего угодно — для немецкой колонии или для плацдарма третьего интернационала.

— Вы устали, Александр Алексеевич, вам все представляется в мрачном свете. Поедемте со мной в Ненашево? Проедетесь по морозу и настроение изменится. Мне надо по делу, а вы посидите в усадьбе, милые люди, и вам будет интересно посмотреть как живут последние помещики, не всякому историку удастся присутствовать при таких поворотах, завершается целая эпоха...

Келлер сердито кусал нижнюю губу, борода у него тряслась.

— Давно уж она завершается, вишневые сады и так далее...

— То литература, а вы посмотрите на настоящих, живых. В массе — Гоголь, Щедрин. Сидят по своим углам, прижались, вцепились, ждут, надеются. Да и куда им итти, куда им податься? К борьбе, к конкуренции они неспособны, пробиваться не умеют... Не все, я не говорю, что все. Я одно имя видел — сейчас все заколо-

чено — но вы б посмотрели какие постройки, место чудесное, на берегу реки, молодой сад, безобразный новый флигель и старый дом, потолки дрожат и гнутся, пахнет мышами, на полу шелуха. Говорят, хозяин кончил Петровскую академию и Естественный факультет. Этот бы выжил ! Но интересно, что все его ругают : мужики за прижимистость, помещики за недворянское поведение. Он у въезда в усадьбу лавочку открыл, торговал подсолнухами и селедками. Хотите поехать ? Товаров никаких не осталось, но в углу свалена целая библиотека — употреблял на обертку.

Александр Алексеевич качал головой.

— Нет, уж вы лучше без меня.

Павлищев уезжал на целый день, возвращался поздно и виновато заглядывал в глаза. Келлер пожимал плечами и жевал. Для веселости не было никаких причин, а Левочка, умываясь по утрам, распевал „ Ты все сомнения бросишь, ты никогда не спросишь, откуда прибыл я, и как зовут меня . . . ” С ним вообще творилось что-то непонятное — куда девалась его серьезность, деловитость, карие хохлацкие глаза так и лучились, так и сияли.

— Да вы нашли возчиков или нет ? — допытывался Келлер.

— Уже четыре, не хватает одного, — уверял Павлищев и опять уезжал в Ченашево.

Надо было договориться по сколько пудов класть, когда выезжать, надо было забежать в усадьбу посоветоваться, где найти еще одну лошадь.

Парадное крыльцо было занесено снегом, он рысью перебежал по обледенелой дорожке к кухонной двери.

— Озябли ? — спрашивала Марья Михайловна, потирая маленькие красные ручки : — Ну, садитесь к печке, сейчас будем чай пить, вас ждали.

Он проваливался в глубокое старое кресло и прислонялся к горячим изразцам. Шумел самовар, позвякивала посуда, Марья Михайловна говорила о детях, об одиночестве, о скуке деревенской жизни — без книг, без теа-

тра, без культурных людей. Он кивал головой и сочувственно улыбался.

За прямоугольниками незанавешенных окон блестел, переливаясь искрами, широкий двор. По нетронутой белизне бежал неровный синий след полозьев. Иногда заколдованное царство оживало, проезжали сани, нагруженные соломой, или обледенелая бочка. Сзади, помахивая кнутом, шла Люба в синем полушубке, в длинноухой финской шапке. Зеленая вода плескалась и стекала по круглым бокам бочки; нахотленные воробьи стайкой слетали на оставшийся на дороге дымящийся помет.

Или вдруг долетал звонкий смех, Люба выскакивала из-за угла сарая и, проваливаясь, падая, хохоча, бежала по целому снегу, а за ней с визгом и лаем, шуточно хватая ее за рукава, кидались две лохматые овчарки. Марья Михайловна глубоко вздыхала.

— Ну вот посмотрите! Что с ней будет? Я, прямо, боюсь думать. Курсы бросила, ничем не интересуется, нигде не бывает, ничего не читает, играет как ребенок с собаками... Мы в этом возрасте горели!

Когда темнело, он с усилием поднимался и начинал прощаться.

— Куда вы? И не думайте! Такое редкое удовольствие...

К ужину приходила Люба, не глядя, молча садилась в конце стола. Почувствовав его упорный взгляд, она на мгновение вскидывала глаза и, нахмурившись, отодвигалась за самовар. На минуту он терял нить разговора и невпопад отвечал Марье Михайловне. Кончив есть, Люба вставала. Дом погружался в сонную тишину. Марья Михайловна осторожно зевала и, когда он поднимался, его уж не удерживали.

Нет, думал он, возвращаясь домой по ледяным, облитым лунным светом, полям, надо пропустить день или два, надо дать людям отдохнуть.

В избушке Капитоныча было темно и холодно. Келлер лежанку не топил, не умел и не хотел. Когда выду-

вало утреннее тепло русской печки, он ложился на кровать и наваливал на себя одеяла и пальто.

Но когда однажды, вместо того, чтобы ехать в Ненашево, Павлицев принес охапку дров, достал с печки сухое, расщепленное полено и принялся неумело колоть лучину, Келлер запротестовал горячо и язвительно :

— Это вы для меня ? Бросьте, бросьте ! Я обойдусь, я привык. А вы, вероятно, холода и не чувствуете — согреты внутренним жаром. Да вам пора уже ехать !

— Я не поеду, — мрачно ответил Павлицев и с силой всадил косарь в сухое дерево.

Острая, твердая как игла, щепка вонзилась в мякоть его руки. Он скорчился и застонал от боли.

— Оказывается, деревня действует не только на Соколовского, — продолжал, ничего не замечая, Келлер несвойственным ему злым, мелочным тоном : — Ромео ! Дон Жуаны ! Что ж ? Теперь это модно ! Долой стыд . . . свобода любви . . . Остается только мне влюбиться, напишу своей Катерине Николаевне — довольно, мол, пожили . . . Как это у Бальмонта ? Хочу я блеска новых глаз, непознанных планет !

— Что с вами, Александр Алексеевич ? — пробормотал Павлицев, отгаливая полено с застрявшим косарем : — Я не понимаю, что вы хотите сказать ?

Келлер расхохотался деланным визгливым смехом.

— Будет, голубчик, притворяться. Ясно как в аптеке !

— Вы . . . какое право, — сдавленным голосом произнес Павлицев, — какое основание . . . — и, схватив пальто, как был без шапки, выскочил на крыльцо. Сумасшедший старик ! Что он хотел сказать ? Влюбился . . . в кого ? В эту девочку ? Может неглупую, но во всяком случае . . .

Сидевшая на соседнем дереве галка взмахнула крыльями и перелетела на крышу сарая. С ветки, сверкая, посыпалась снежная пыль.

Через два дня он приехал в Ненашево и не застал Марью Михайловну дома.

— На почту уехали, — весело сообщила Груша, — посылки отправлять. — А барышня в сарае.

В пыльном, холодном полумраке дробно стучала какая-то машина. То наклоняясь, то распрямляясь, Люба с увлечением вертела длинную ручку; по синей спине полушубка мотались светлые косы.

— Мамы нет, — крикнула она не оборачиваясь, — если хотите, подождите там.

— Я знаю! — ответил он громко, стараясь перекрыть шум: — Да бросьте вы эту ерунду!

Она повернула голову и открыла рот.

— Почему? — спросила она удивленно и выпустила ручку корнерезки.

— Потому что все это старо, поза, игра, все это опрощение, толстовство. Неужели вам не жалко губить свою жизнь? Физическая работа, которую всякий идиот может сделать, а вы выросли в культурной семье, перед вами открыты широкие возможности. Зачем вы стараетесь...

— Ах, совсем не то, — пробормотала она морщась.

— А что же? Объясните!

— Я просто счастлива, — прошептала она не под-

— То есть что нравится? Возиться в грязи, каждый день одно и то же, кому это нужно? Скажите вашей Груше — она сделает, даже лучше.

— Но почему? Я хочу сама.

— Вздор! Вы себе внушаете, вы отгородились от жизни и даже не знаете сколько вы теряете.

Она наклонилась и стала подбирать оранжевые ломти кормовой свеклы.

— Я не знаю... Просто мне нравится.
нимая головы.

— Какое же это счастье? И теленок счастлив, когда прыгает по лугу. Вам дана возможность...

— Мама приехала! — перебила она поспешно.

На дворе весело лаяли собаки.

Он стал приезжать раньше и, не заходя в дом, отыскивал Любу в сарае или в риге. Она продолжала рабо-

тать, а он садился на сложенные в углу телеги и начинал говорить о чем попало, только бы не молчать, не дать ей убежать. Под крышей уютно курлыкали голуби, пахло холодной пылью и сеной трухой, собаки, отталкивая друг друга, взволновано рылись в соломе. За низкими стенами риги ветер шумел верхушками ветел; Люба всаживала вилы в охапку сена и, делая вид, что не замечает его присутствия, поднимала ее над головой.

Он рассказывал о Художественном театре, о новых книгах, о поездках за границу, об итальянских художниках — выражение ее лица не менялось. Он говорил о своем отце, чиновнике, неодобрявшем ученую карьеру сына, о матери, которая все понимает, но упрямо и легкомысленно отказывается признать новое положение. Люба равнодушно скользила взглядом по его лицу и вдруг начинала шумную возню с собаками.

По вечерам, когда наконец распрощавшись, он садился в набитые мерзлой соломой сани и уезжал, до самой плотины оглядываясь на светившиеся через шторы окна, Люба распахивала дверь и темным коридором перебегала в комнату матери.

— Господи, как я устала, — зевая бормотала Марья Михайловна.

— Ты знаешь, — оживленно начинала Люба, — у них было имение около Москвы, Васильки — правда хорошо? Его мать, она музыкантша... Он написал книгу о государственных крестьянах, ездил в Вологодскую губернию, он говорит, они совсем не такие как наши... Он говорит, что я напрасно бросила курсы...

— Я тебе сама это говорила.

— Он не так... Этот Келлер, который с ним приехал, страшный ворчун, из-за него Лев Александрович...

— Ты напрасно говоришь, чего не понимаешь — Келлер большой ученый.

— Неправда, я понимаю. Он сказал, что я умная, только ум у меня... я забыла как он сказал... Когда я поеду в Москву, он меня со всеми познакомит, мы пой-

дем в Художественный театр. Когда он был маленький, он один раз . . .

— Боже мой ! Неужели ты не можешь о чем-нибудь другом ?

Люба откинула голову, будто ее ударили.

— Как тебе не стыдно ! — крикнула она с возмущением : — Нарочно, нарочно хочешь все испортить !

— Тебе слова нельзя сказать. Перестань быть таким ребенком, нельзя же целый день говорить об одном и том же, может тебе интересно . . .

— Почему, почему все такие злые ! ? Этот противный Келлер, а теперь ты. Но от тебя я никак не ожидала !

— Чего ты сердишься ? Я ничего не говорю — Лев Александрович очень милый человек, но нельзя же так по-детски . . .

— Ты ничего не понимаешь !

— Познакомилась неделю назад . . .

— Как ты смеешь о нем так говорить ! — кричала Люба, плача и облизывая слезы языком : — Если так, я знаю, что я сделаю ! Я только из-за тебя не хотела, чтоб ты не волновалась. А раз ты так относишься, я поеду с ним в Москву на лошадях !

— Никуда ты не поедешь, глупости говоришь.

— Вот увидишь. Сказала что поеду и поеду !

— Ты, кажется, совсем, совсем с ума сошла ! Как ты можешь с ним ехать ? Где ты будешь ночевать ?

— Мне совершенно все равно.

— Да ты представляешь себе, что значит ехать пять дней по такому холоду, останавливаться в грязных избах, питаться всухомятку . . . Зачем все это нужно ?

— Просто интересно, как ты не понимаешь ?

— Да что там может быть интересного ? Такие же деревни как Ненашево, что ты не видела мужиков ? Во всяком случае лошадь я не дам.

— И не нужно, мы купим, лесник продает прямо с саями. А в Москве можно продать.

У Келлера болел бок, он чувствовал себя несчастным, брошенным. По ночам его осаждали тревожные мысли — Бог знает, когда удастся выбраться, Катя и

Лиля голодают, неизвестно, получили ли его письма. И зачем он дал себя уговорить, зачем поехал. Левочка казался таким надежным, таким твердым... Раздражали мелочи — мешки, салазки, стояние в очередях, а главное Лилю лицо, делавшееся все тоньше, все прозрачней. Так хотелось отдохнуть от собраний, от идиотских студенческих комитетов, от полуграмотных кретинов, говоривших ему как читать лекции. И всё-таки они были вместе и он мог работать. А теперь ?

За окнами лился странный, мертвый свет, по снегу скользили тени, деревья и кусты вставали горбатыми чудовищами. Все было нереально, будто он был на Марсе или на Луне, сила притяжения уменьшалась, тело делалось легким, кругом звенела планетная тишина, нарушаемая приглушенным воем, ни на что не похожими тягучими стонами.

Жизнь кончена, жизнь пропала даром. Ну, что ж, надо собираться. Маленькое утешение — не прятать голову под крыло. Даже они, Катя и Лиля, только тени, данные ему судьбой в спутники земного существования. Что он сделал ? Три книги — все частности, все не то. Может, просто не мог ? Все ждал, все казалось что-то зреет, вот-вот он приступит к главному, к тому, что оправдает жизнь, оставит след. Как он был уверен, что он, такой русский и такой нерусский, сможет это сделать с внутренним постижением и объективностью. Открыть тайный смысл в сумбуре, поймать скрытую логику событий, сделать все это понятным для тех, которые требуют разумного объяснения. И когда-нибудь, когда от России не останется и следа, и на ее равнинах расцветут новые царства, когда в учебниках для ее истории отведут несколько страниц, а может только десяток строк, его книга сохранит память о несчастной судьбе этого фантастического государства, могучего и бессильного, прекрасного и безобразного.

Поздно. Не успел. Ну, что ж ? Ждать недолго. Скоро они с Катей уйдут, останется Лиля. Как она будет жить одна в этом грубом, четвероногом мире ? Ах, Левочка, Левочка !

Над головой сияла ледяная голубизна неба, по блестящему насту несло поземком комочки снега. Долго ехали мелким, редким лесом; грядки саней чертили неровные полосы то справа, то слева; шелестели на дубах скорченные коричневые листья. Проезжали деревушки до самых крыш занесенные снегом; откуда то из-под сугробов вырывались лохматые псы, с остервенелым лаем кидались за санями; обмотанная шалью девка, с ведрами на коромысле, провожала их изумленным взглядом. И опять открывались безлюдные просторы, перерезанные всплхими от снега оврагами.

Лев Александрович от волнения всю ночь не спал. Накануне, посадив Келлера и Соколовского на товарный поезд, он почувствовал такое освобождение, такое счастье, что решил было совсем не ложиться. Боялся он одного, что Люба передумает и не поедет. Но в пред-рассветном сумраке, в путанице людей, лошадей и саней он сразу угадал ее в одной из неуклюжих, одетых в огромные тулупы фигур. Распоряжался Щербаков, молодой ненашевский мужик в черном, с длинной талией полущубке.

— Вы лучше с Такуновым садитесь, — решил он — у него сани просторные.

Не желая задерживать, в страхе что каждую минуту что-нибудь может случиться и остановить, Павлищев покорно вскарабкался на высоко нагруженные сани, но решил при первой возможности пересесть к Любе.

Холода в первую минуту он не почувствовал; сидеть было неудобно, он съехал в набитую мерзлой соломой ямку, между передком и кладью, но занемела нога и пришлось снова лезть на мешки. Едкий, пронизывающий ветер стал проникать во все отверстия — под полы тулупа, в рукава, за воротник. Голову продувало насквозь, будто он был без шапки.

В деревнях сани раскатывались, он хватался окоче-

невшей рукой за грядку; на выездах, где снег был мягче, они проваливались в глубокие выбоины, приходилось спешно освобождать ноги, чтоб выпрыгнуть.

— Когда же остановка? — спрашивал он то и дело.

— В обед остановимся, — невозмутимо отвечал Такунов, сидевший неподвижно как изваяние.

От бесконечного скольжения и потряхивания Павлищева начало тошнить, он чувствовал себя все беспомощней, ему казалось, что он вот-вот заснет, потеряет сознание. Когда сани, наконец, остановились, он даже не обрадовался. Молча, едва передвигая ноги, он поднялся на крыльцо и попробовал открыть дверь.

— Давайте-ка я, — сказал Капитоныч, щелкая как собака зубами.

Голой, багровой с серыми суставами, рукой он поднял щеколду. В избе было парно, пахло пеленками. Павлищева стало трясти, опять поднялась тошнота и закружилась голова. Он сел на лавку и закрыл глаза.

Где-то хлопали двери, перекликались голоса. Ввалились возчики, огромные, с красными, распухшими лицами, они наполнили избу шумом, блеском зубов и глаз. Среди них была Люба, такая же возбужденная и веселая как другие. Напрасно он старался поймать ее взгляд, она его не замечала.

И опять он ехал с Такуновым, опять дул ветер и слипались ресницы, ломило от ледяного воздуха грудь. Он пробовал накрыться с головой, дышать через вонючий бараний мех, но струйкой поддувало снизу, ныло колено. Напрасно он поворачивался и подтыкал тулуп. — продувало насквозь, будто он, голый, лежал на снегу. Шелестели и постукивали полозья, каждый толчок отдавался в голову. То казалось, они срываются в пропасть, то вдруг несутся стремительно назад. Иногда он забывался, но когда открывал глаза, кругом было все то же — белые, перерезанные косыми сугробами, поля, ветер, трясущийся зад чалого мерина и неподвижная фигура Такунова.

Должно быть он заснул, вдруг стало темно, сани стояли под навесом, кругом ходили и разговаривали.

— Вы живы ? — спросил веселый голос.

Он разом очнулся и с трудом выкарабкался из саней, но Любы уже не было. Он пошел наугад туда, откуда доносились голоса. В избе было очень светло. Человек в стеганной кацавейке, стоя на коленях, разжигал чугунную печку; высокая, широкоплечая баба вытряхивала над лоханкой самовар.

Павлищев видел их сквозь туман, ему казалось, что он промерз насквозь и то последнее тепло, которое еще оставалось где-то внутри, все уменьшается. Он попробовал ходить, но валенки резали как железные, в мускулах поднялась рвущая боль.

Запахло угаром. Возчики расселись вокруг стола, достали из мешков хлеб, сало и пышки. Он смотрел на их грубые, жующие лица и ему казалось, что все это ненастоящее, что это картина, которую он где-то видел — хитрые, бегающие глазки Капитоныча, торчащие над его головой кончики красного платка, один из мальчишек с лицом юродивого, другой скуластый, с открытым ртом, с желтыми зубами, в центре Щербаков в белой сатиновой рубашке, со светлыми кудрями, то ли Иван Царевич, то ли приказчик из галантерейного магазина, и рядом с ним Люба. Почему ? Какое она имеет отношение к этим чужим, непонятым существам ?

Павлищев сел в стороне на лавку, нетерпеливо ожидая, когда она кончит и подойдет к нему, но возчики ушли поить лошадей и она ушла с ними. Хозяйка унесла самовар, Капитоныч примостился в углу на нарах.

Павлищеву казалось, что он ждет уже целый час, ему хотелось лечь и закрыть глаза. Они ввалились гурьбой, наполнили избу мощной жизнью, горячим дыханием и быстро, не сговариваясь, разошлись по своим местам. Такунов куда-то исчез, должно быть лег на нары, другие уселись вокруг чугунной печки — Щербаков на табуретке, Люба на полене, мальчишки на полу.

— Может в карты сыграем ? — лениво спросил один.

— Скорей всего завтра, — ответил Щербаков, как

всегда решительно и твердо, будто он один знал, что надо делать, — первый день выспаться надо. Вон и Любость Владимировна притомилась.

— Я совсем не устала! — поспешно возразила Люба: — Только я не очень люблю карты...

— Да нет, отчего же, — снисходительно заметил Щербаков, — если между делом, для развлечения... Я, бывало, любил. Меня отец по пятнадцатому году в город свез — работа нетяжелая, а скучал я шибко. Конечно, без привычки... Ну, обучили меня ребята в карты, дальше больше, а уж потом до того дошло — жить без них не мог! С утра до вечера только и думал как бы дорваться.

— Если, конечно, выигрывал... — солидно выговорил лежавший на полу, подперев голову руками, парень.

— Это не то, ты не понимаешь, я не для выигрыша... А пить — не пил, годов до семнадцати в рот не брал. А потом, что такое не помню, зачал я пить. И карты забыл, совсем они мне ни к чему. Ну, отец узнал, приезжает в Москву. „Собирайся, говорит, домой!“ А я уж и слушаться не стал, так он и уехал! Годов пять, не то шесть пил, какие деньги были — все пропил. И что ж вы думаете? Как рукой сняло!

— Почему?

Щербаков засмеялся. Из печки вылетела раскаленная огненная веточка и упала на пол. Он схватил ее голой рукой и подкинул обратно.

— Потому, — сказал он задумчиво, — из-за любви. Я до той поры не понимал ничего и даже не интересовался, а как узнал какая такая любовь бывает, так и по сию пору баб люблю. Повстречался я тогда с одной барышней — мастерская против нас была, шляпки делали. Теперь, как подумаю, может она и не так чтоб очень хороша была, вроде на цыганочку похожа, глаза черные, быстрые, косы длинные, так и звали Дуня-цыганка. А родом из серпуховских мещан. Любила она меня без памяти и я ее любил.. А замуж за меня не пошла.

Обещайся, говорит, что будем в городе жить, тогда пойду. А как пришло время расставаться, давай, говорит, отраву выпьем и жизнь вместе кончим.

Он замолчал, удивленно и тупо глядя в огонь. Потрескивал, стреляя искрами, хворост, всхрапывал Такунов.

— Вот вы скажите, — опять заговорил Щербаков, ни к кому не обращаясь, будто рассуждая с самим собой, — что такое с человеком бывает? Откуда эта самая любовь берется? Дайте мне горы золотые, дайте мне самую распрекрасную красавицу — и ничего мне не надо, безо всякого интересу. А полюбишь — жизнь отдашь, да еще с радостью!

— Ну? — сказал один из молодых возчиков.

Но его перебил другой, с лицом юродивого.

— Да-а, — развязно начал он, притворяясь взрослым, бывалым человеком, — бабы эти, черти, такие бывают завлекательные. Вот на станции в кооперативе Антонина Васильевна, старая уже, годов тридцати, а такая тоже...

Он не кончил, растворилась дверь, вошел хозяин. С трудом передвигая непослушные, дрожащие ноги, он подошел к печке и высыпал на пол охапку щепы.

— Что это вы, ай хвораете? — спросил Щербаков, поднимаясь с табуретки: — Может, присядите для компании?

Хозяин сел, достал кисет, аккуратно оторвал бумажку. В печке вспыхнули сухие щепки, в трубе загудело.

— Наказание это мне, — медленно и важно произнес он, — наказание за кривые пути. Живем, можно сказать, как слепые кроты, ничего вокруг себя не видим.

Он не спеша свернул папироску и стал раскуривать от дымившей лучины.

— Жили мы, слава Богу, неплохо, трех лошадей держали, двух коров... А тут война, объявили набор. Мне бы итти, никого не слушать, ну мать да жена уговорили — женщины, конечно — да куда ты пойдешь, да тебя убьют, да тебя ранят. А у меня брат двоюродный

на чугушке работал в кондукторах. Поставил он меня на работу, поездил я месяца два или три, а тут крушение и перебило мне обе ноги. Сколько я по больницам валялся, уж я и счет потерял, думал никогда не выпишусь. Перегоняли меня с места на место, война, конечно, раненых навалили, не до меня им, я сам понимаю. Ну, теперь, слава Богу, дома. Работник уж я никакой, так живу, кой-чем занимаюсь. Которые из нашей деревни на войну пошли, давно вернулись, живы-здоровы, а я вот он!

Он жадно, с присосом затянулся и медленно выдохнул дым. Все молчали. Скуластый парень, приподняв голову, с любопытством разглядывал его худые, в протертых бумажных штанах, ноги.

— А иной раз затмение находит, — задумчиво продолжал хозяин, — вроде я в мыслях путаюсь. Прошедшей осенью собрал я ребятишек, пошел с ними в лес. Кое-как доплелся, сел на лужку, ребятишки кругом ходят, занимаются, грибы собирают, орехи. Ну, утомились они, пойдем, говорят, домой. Встал я, взял свою палочку и, что ж вы думаете? не пойму, да и на, где мы находимся, и куда итти не знаю. Только одно помню — виду не показать, ребят не напугать. Лес то у нас свой, прямо за огородами, каждый кустик знакомый. А тут вдруг канава, никогда я ее не видывал, столбы телеграфные наставлены — чужая как есть местность! „Вы, говорю, ребята, бегите, а я помаленьку догонять буду“. Кинулись они все в одну сторону, и вдруг вроде все сдвинулось и на место стало. Гляжу, дорога знакомая, ригу нашу через кусты видать...

— Это не иначе нечистая сила! — громко перебил скуластый парень: — Ехали мы, так же вот, под зимнего Николу с мельницы, а ночь ясная, месячная. Версты уже две отъехали, видим кто-то бежит, коням под копыта лезет, собака — не собака, а так вроде ягненок черный. Хотел я остановиться, в сани его взять, а дядя Антон кричит: что ты, очумел?

Павлищев уже не улавливал слов, он слышал только

голоса — спокойный, снисходительный Щербакова, неуверенный, надтреснутый хозяина. Блаженное тепло разливалось по всему телу, растаял ледяной комок в груди, отошли ноги. Вместе с теплом наплывал сон, так хотелось потонуть, провалиться в мягкие волны. А они все говорили и говорили. Драгоценный вечер уходил зря. Почему он должен считаться с какими-то мужиками? При чем они здесь? Их наняли везти поклажу, а вовсе не заниматься разговорами. Он уже решил позвать Любу, но откуда-то выплыло холодное лицо Марьи Михайловны, с красными кругами вокруг глаз. „Неужели вы думаете, я ее с вами отпущу?“ сказала она с достоинством. „Но ведь я же“ — начал он, но Марья Михайловна хлопнула дверь.

В избе было тихо.

— Люба! — прошептал он.

— Я здесь.

Она сидела одна, наклонившись, подперев голову руками; ноги в белых чулках плотно охватывали полено. Печка уже не гудела, серая пленка затянула уголь.

— Боже, какой я идиот! Как я мог заснуть? Но ведь и вы тоже... зачем вам надо было слушать всю эту ерунду? Не могут же вас интересовать все эти трактирные похождения... Ну, чего вы нахмурились? Почему вы не позволили мне ехать с вами? Какое дело этому приказчику, с кем я поеду?

Он уселся на голом полу, обхватив руками колени.

— Вы же видели какая лошадь.

— Ну и что ж? Пусть бы мы отстали, остались одни — и прекрасно! Мне так много надо вам сказать, ведь мы еще никогда как следует не разговаривали... Ну, хотите, я расскажу какая вы? Вы даже не знаете, я уверен у вас и зеркала нет, правда?

Люба усмехнулась.

— Есть, только я не смотрю, некогда и вообще...

— Я так и знал. Ну слушайте и не перебивайте! Главное — детскость. Чего вы хмуритесь? Это прек-

расно, это прямо чудо — такая чистота, такая серьезность... вы знаете, на кого вы похожи? На святую Анну Леонардо. А походка у вас мальчишеская, должно быть так ходят индейские юноши или горцы на Кавказе — не тащатся по земле как мы, а отталкиваются, будто на пружинах. Ну, чего вы хмуритесь?

— Лучше про что-нибудь другое.

— Нет, потерпите немножко. Когда вам неприятно — вот сейчас я сказал про приказчика — вы морщите нос. А брови у вас как крылья, я знаю это избито, но именно так — большая важная птица взмахнет крыльями и застынет в воздухе. А глаза у вас удивительные! Вы просто смотрите, как будто немножко удивляетесь, но не сердитесь, не осуждаете, а мне хочется лечь на землю и в чем-то каяться...

Дуло по полу, зябли ноги, но он боялся двинуться и принести шубу.

— Мне тридцать два года, а я даже не знал для чего я живу. Но теперь... Люба, дайте мне руку!

Она протянула левую руку, а правой стала подбрасывать в печку щепки.

— Вы понимаете, что это чудо? Мы приехали к этому дурацкому Капитонычу совершенно случайно. И в Ненашево я бы не попал, если бы он нашел возчиков раньше, и мы бы никогда не встретились. Нет, глупости! Бывают такие минуты, когда чувствуешь ход судьбы, будто видишь весь механизм. Мы должны были встретиться!

Он перевернул ее руку и прижался лицом к ладони. Кожа была плотная, пахла шерстяными варежками и древесной корой.

— Бедные, бедные руки, вы совсем о них не заботитесь... Нет, нет, не уходите! Почему вы всегда молчите? О чем вы думаете? Слушайте, я вспомнил! В Русской Мысли был рассказ, может вы читали? перевод с немецкого. В Вене в ресторане сидят два приятеля и говорят о том, как найти ту, настоящую, которую

каждый ищет и редко кто находит. Один из них уверен, что искать не стоит, все случайность. Другой старается доказать, что во всем есть логика, последовательность — если знаешь точно, чего ты хочешь, будет ясно где искать. Вот он, например, мечтает о доброй, преданной девушке, заботливой хозяйке, которая создаст уют, не будет требовать слишком много внимания, не будет отрываться от работы. Современных женщин он не выносит и, во всяком случае в браке не может быть двух независимых индивидуальностей и так как мужчина творец, женщина должна к нему приспособливаться. „Где ж ты будешь искать?“ — спрашивает товарищ. „Ну, где-нибудь в провинции, там еще остались такие. Может быть, пасторская дочка, кроткое существо с голубыми глазами, любит цветы, музыку...“ Через несколько дней он садится на поезд и едет наугад, слезает на глухой станции. По деревенской дороге, обсаженной шиповником, он доходит до поселка и останавливается перед пасторским домом. И вот в саду он видит девушку с корзиной в руке... Куда вы? Это еще не конец!

— Я не хочу слушать про пасторских дочек.

— Ну и характер! Нет, дослушайте до конца. Девушка действительно прелесть, именно такая, о какой он мечтал. Очень скоро он делается женихом, назначена свадьба, шьют приданое, приезжают разные родственники. Все это немного скучно, но он терпит, в конце концов это ненадолго, а впереди целая жизнь. И вот один раз, за неделю до свадьбы он слезает по рассеянности не на той станции. В толпе ожидающих он видит девушку с кнутом в руке и с жемчугом на шее. Она совсем не похожа на его идеал, но он забывает все на свете и идет за ней.

— Ну?

— Чего ж вам еще? В рассказе говорится о том, как страдает пасторская дочка, но это уже неважно, его судьба решена — он делается рабом этой девушки с кнутом.

— Это вы нарочно ?

— Что ?

— Про кнут.

— Это правда, это правда, — пробормотал он, прижимаясь лицом к ее колену : — Я люблю вас, Люба, неужели вы не видите ? Я люблю Вас как сумасшедший, с самого первого раза, когда вы вошли, помните ? Я не знаю как и почему, но мне больше ничего не надо, только быть с вами, видеть ваше лицо . . . я пойду за вами на край света.

16.

В избе было пусто, коптила тонким, перебивающимся языком лампа, синели верхние стекла окон, нижние, заросшие инеем, переливались искрами. За стеной стукнула дужка ведра, зашипела, пролитая на снег, вода, кто-то засмеялся.

Павлищев вскочил, сунул ноги в валенки, натянул пальто. Сегодня все будет по-новому, они поедут вместе, никто их не разделит. Наскоро, стоя, он напился тепловатого чая и вышел на крыльцо. Перед домом стояли высокие такуновские сани.

— А где же . . . ? — оглядываясь спросил Павлищев.

— Ничего, догоним, они не больше как минут пять уехали. Вы тулуп то запахните, из избы оно вроде тепло, а мороз здоровый.

И опять шелестели полозья, слипались ресницы, резало при каждом дыхании в груди. На остановке он подошел к Любе и протянул обе руки, но она посмотрела испуганно и отвела глаза.

После обеда спустились к Оке. Во всю ширину заваленной снегом реки бежали синеватые следы полозьев; посредине, у прорубей стоял ряд саней, запряженных маленькими, лохматыми лошаденками. На передние низ-

кие, распластанные розвальни грузили зеленые, похожие на разбитое стекло, глыбы льда. Мужики в старых, истертых тулупах похаживали вокруг, ковыряли кнутами снег, хлопали руками, чтобы согреться.

— Вот так ночью и ухнешь в прорубь, — ворчал Такунов, — ни загородки, ни вешек. Глупый народ...

В гору лошади пошли шагом. Павлицев откинул ворот тулупа. Кругом на огромном пространстве все было бело, только слева на горизонте тянулась лиловая полоска леса. Такунов шагал рядом с санями, мальчишки с громким хохотом, проваливаясь по колено в снег, гонялись друг за другом.

— Я вас спросить хочу, — начал Павлицев, — что в деревне думали, когда белые подходили?

Такунов, не отвечая, прыгнул на ходу в сани и подобрал вожжи. Лошади тронулись рысью, мальчишки, весело вскрикивая, кинулись догонять.

— Ничего не думали, — минуты через три сказал Такунов: — Нам что?

— Ну, все таки? Радовались или, наоборот, боялись? Пришлось бы ответ давать, — пошутил Павлицев, — зачем революцию устраивали...

— А кто ее устраивал? Мы тут ни при чем. Господа все сделали, им и ответ держать.

— Значит вы думаете, господа сами на свою голову, чтобы у них все отняли?

— Этого мы знать не можем, — равнодушно ответил Такунов и запахнул тулуп.

С востока поднималась белая пелена, затягивала небо; рано начало темнеть, потускнели, навевая дремоту, снега. Широкая, накатанная дорога шла прямо, лошади бежали крупной рысью, отбрасывая комья снега. Павлицев все чаще оглядывался назад.

— А как же Любовь Владимировна? — беспокойно спрашивал он: — Надо бы подождать...

— Ничего, подъедет.

Тяжелей и ниже опускались облака, глуше и бес-

приятней делалось вокруг. Совсем стемнело, когда приехали в большую деревню и завернули к стоявшему на отлете дому.

В просторной комнате было тепло, шумел, разгораясь, самовар, хозяйка спрашивала из каких они мест и куда едут.

— Уж я вас пустила, пожалела, и вы меня не обидьте, уделите, что можете. Мы, бывало, постоянный двор держали, а теперь не велено пускать, инспектор грозился под суд отдать . . .

Дверь распахнулась.

— Проклятая кобыла! — громко сказала Люба, скидывая шубу на лавку: — Стала и ни с места, я ее кнутом и так, и сяк — не идет и все!

Мужики засмеялись.

— Он ее потому и продал, лесник то, что она с норовом. Да теперь уж дойдет. В Москве продадите и ладно.

Люба вымыла над лоханкой руки и подошла к столу. Павлищев отодвинул для нее табуретку.

— Вот нашей ветчинки деревенской попробуйте, — улыбаясь сказал Щербаков и коротким самодельным ножом отрезал кусок серого в блестках сала.

Люба села рядом с Щербаковым. Широкими белыми зубами она кусала промерзший хлеб и сырое сало, весело рассказывала про лошадь. Смеющийся, сияющий взгляд перебегал с одного лица на другое.

— Любовь Владимировна! — громко через повязанную красным платком голову Капитоныча сказал Павлищев: — Если все будет благополучно, в субботу пойдем в концерт — Нежданова будет петь. А на следующей неделе Дочь мадам Анго. Я так одичал за этот месяц, трудно поверить, что где-то есть настоящие люди, свет, музыка, книги . . .

Люба вскинула ресницы и, не отвечая, повернулась к Щербакову. Мальчишки громко расхохотались. Хозяйка убрала самовар и вытерла со стола. Щербаков достал колоду грязных карт.

— Во что ? — весело спросила Люба.

Павлищев постелил на широкую лавку тулуп и лег. От тепла его разморило, он разом заснул, хотя ему казалось, что он не спит и все слышит. Разбудили его странные звуки, казалось тонко, заливчато свистит какая-то птица. Он не успел понять что это, как свист оборвался, кто-то захрипел, задохнулся, забормотал. С соседней лавки поднялся Капитоныч и, шатаясь, натыкаясь на табуретки, побрел к двери. Павлищев повернулся к стене. В ту же минуту кто-то, будто большая кошка, мягко прыгнул на пол и перебежал через комнату. Чья-то рука сдернула с Павлищева шубу, круглое колено толкнуло его в спину.

— Люба ! — пробормотал он, задохнувшись : — Люба ! Вы с ума сошли . . . Уходите сию минуту, вы слышите ?

Но вместо того, чтобы заставить ее встать, он прижался к стене и обхватил одной рукой ее плечи. Мягкие волосы щекотали его лицо, от ее губ пахло молоком и хлебом.

— Что вы со мной делаете, сумасшедший вы ребенок ! — бормотал он испуганно : — Уходите скорей, сейчас Капитоныч придет. Как я посмотрю Марье Михайловне в глаза . . . Это невозможно ! Если вы не уйдете, я сам уйду ! Чего вы дрожите, вы плачете ? Нельзя же быть такой неосторожной !

Она вскочила и расхохоталась весело и простодушно как ребенок. Не говоря ни слова, она не спеша перешла обратно на свою скамейку.

Заснуть Павлищев уже не мог, стучало сердце, разболелась голова. В избе все время кто-то двигался, дверь несколько раз открывалась, хозяйка привела каких-то людей, повозившись, они улеглись на печке.

Лампа была низко прикручена, пахло копотью. Дуло от окна в спину, дуло низом от дверей. На лавках и на нарах лежали бесформенные, накрытые тулупами, тела.

— Вот и ездись, маешься, — сказал хриплый голос

с печки, — а из чего маешься — неизвестно . . . Только что селедочки в пути поешь, да коню овсеца перепадет, вот и вся тут . . . Наказывала баба ситчику привезть — ребята голые, да сахарку хоть фунтик. А где я возьму? Рад бы, душой рад, да не приходится . . . Бывало, плохо-плохо, а хоть баранок купишь или там платочек за пятиалтынный.

С печки спустились огромные босые ноги в перекрученных, измятых штанах и широкая, голая спина с задравшейся под самые плечи рубахой. Бородатый мужик прыгнул на пол и, как был — босиком, в распоясанной ситцевой рубашке, вышел из избы. Через минуту, тяжело вздыхая и кряхтя, он вернулся обратно, снял кружок со стоявшей у двери кадушки, зачерпнул воды и долго пил, булькая горлом как лошадь.

— Ах ты, жизнь, жизнь, — сказал он, выплескивая остатки в лоханку и вытираясь подолом рубахи, — что же ты все лучшаешь, когда ж ты похужаешь?

— Это ты про власть, что ли? — не сразу отозвался с печки другой бессонный голос.

— Известно, и про власть . . . Дожить бы, поглядеть, чем дело кончится . . .

— Да ты, небось, сам им в ноги кланялся, когда хлеб отбирали, — насмешливо сказал голос с печки.

Стоявший внизу мужик вздохнул и стал яростно чесать грудь и живот.

— Может и кланялся, — сказал он задумчиво, — что ж будешь делать? Судьба велит сопливого любить — оботрешь да поцелуешь!

Он тяжело вскарабкался на печку и завозился там, укладываясь. Минут десять они лежали тихо, но по их дыханию, потому как они ворочились, ясно было, что они не спят.

— Должно вставать скоро, — сказал один, зевая: — Который теперь час может быть?

— Куда вставать? Спи, чего там. Лошади еще не отдохнули . . . Не больше как три.

Утром хозяйка, в ситцевом платье и без платка, проводила их за ворота. Еще не рассвело, но небо уже побледнело, выступили серые очертания построек. То рядом, то в другом конце деревни, не просыпаясь, таинственно перекликались петухи. Сани со скрипом ныряли в ухабы, как пьяные заносились на раскатах, и Павлищеву казалось, что он спит, что со вчерашнего дня они едут и едут, не останавливаясь. Такунов сидел неподвижно, смотрел на дугу, все ясней выступавшую на серо-розовом небе, думал тягучую, мрачную думу.

— Поехали, — бормотал он, — поехали, а как, что сами не знаем... Понесла нелегкая... Нешто можно? Не такие теперь времена — другие вон сидят и сидят дома...

Огромное малиновое солнце поднялось над горизонтом, порозовели снега и скованный инеем лес.

На обед остановились рано. Село было большое, уже сказывалась близость Москвы — избы с резными наличниками, с палисадниками походили на дачи. По правой стороне дороги тянулся, окруженный каменной стеной, парк. Мелькнул в воротах широкий проезд, неровный след вился к большому белому дому, по обеим сторонам, опустив распластанные, придавленные снегом, ветки, выстроились ели.

Завернули в переулок, остановились перед новым, только что отстроенным, домом. Кругом было голо, качались на веревке обмороженные каляные рубахи, вытянувшиеся сосульками портки. Их пустили неохотно, со вздохами и отговорками.

— Ну-ну, — успокаивал Щербаков, — здесь в сторонке — никто не увидит.

— Соседи ненавистные докажут, — говорил хозяин, бритый, в пиджаке, непохожий на мужика: — Завидно им — дом хороший поставил, деньги, говорят, есть. А что деньги? Ничего теперь не стоят. Да и не с них наживал — сколько лет у князя жил, копейки не пропил.

— Ах, это княжеское имяние? — оживился Павлицев.

— А то чье же? Большой был князь, дай ему Бог здоровья. Доконали его, и нас всех доконают.

— А где ж он теперь?

Хозяин отвел глаза в сторону.

— А мы знаем? Молодые княжата, слышать, в Питере.

— Какие же у него были отношения с крестьянами? — допытывался Павлицев: — Любили его или нет?

Хозяин пожал плечами.

— Какие такие могут быть отношения... Ему что? Он без внимания. Мужики то, можно сказать, его и не видели. Проедет иной раз в саночках с подрезами или в шарабанчике, а то по проспекту пройдет для аппетита. Все расчищено, песочком посыпано... Наденет шапочку каракулевою, муфточку, чтоб руки не зябли... Ему что, ему жить можно...

Дав отдохнуть лошадям, стали собираться в путь. Хозяин советовал свернуть с шоссе, ехать проселком.

— Добра вам желаю, поверьте. Наставили этих отрядов загородительных — ни пройти, ни проехать, все под чистую отбирают. А проселком может, Бог даст, и проедете.

Павлицев объяснил, что они едут по особому разрешению.

— Ну, смотрите как лучше, вам видней.

Возчики совещались, сбившись в кучу.

— Когда так, так так, — решительно сказал Такунов, надевая шапку, — сворачивать так сворачивать.

— Вот и хорошо, — одобрил хозяин: — Дорога прямая, как выедете за околицу, свернете вокруг кузни, так и пойдет до самой Москвы — чугушка от вас справа, шоссе слева. По крайней мере спокойно.

Погода изменилась, потеплело, небо затянуло, похожими на разбитую простоквашу, облаками. Линия го-

ризонта стерлась, белые поля слились с бесцветным небом. Дорога разветлялась, пришлось останавливаться, спрашивать, и все таки заблудились, версты три возвращались назад.

Возчики приуныли. Перед вечером повалил снег, большие мягкие хлопья забили лошадям гривы и хвосты, налипли на ворота тулупов, на ресницы и бороды возчиков. Деревни попадались все реже. Уже трудно было разглядеть дорогу, потянулись глубокие низины, похожие на замерзшие болота. Пристяжные жались к оглоблям, срывались с торчавшей бугром дороги, путались в постромках. Начало темнеть, ехали шагом, наконец, стали совсем.

— Ты что, дядя Иван? — глухо крикнули сзади: — Или след потерял?

— Собаки брешут, — донесся издали голос Щербакова, — может деревня близко, боюсь ни проехать бы.

Тронулись опять. Такунов откинул ворот тулупа и наклонил голову.

— Вы что-нибудь слышите? — беспокожно спрашивал Павлищев.

Косо летящий снег закрыл весь мир, за ним была пустота, провал. Остановились опять, подошел Щербаков и один из мальчишек.

— След то есть? — спросил Такунов: — Может, зря на одном месте крутимся?

— Не должно быть, — неуверенно ответил Щербаков, — чугунка вправо, машину слышать было.

— Может назад поедем? — спросил молодой парень, отряхивая валенки о грядку саней.

— Теперь и следу не найдешь, занесло.

Двинулись опять. Лошади еле шли, понутив головы, отворачиваясь от лепившего снега. Вдруг совсем близко залаяли собаки, запахло жильем — дымом, навозом, соломой. По обеим сторонам дороги выросли облепленные снегом фигуры, громко, перебивая друг друга, заговорили человеческие голоса.

— Эй, купцы, лошадь ни продатите ли? Хлеба? Картошек? Голодом сидим...

Не отвечая, возчики подхлестывали лошадей.

— Все равно не провезете! — кричали им вслед: — Чтоб вам провалиться, сволочи окаянные!

В деревне было темно, только в двух или трех местах мигали огоньки. Проваливаясь в сугробы, Щербаков переходил от дома к дому — никто не хотел пускать.

— Вот ироды! — говорил он, возвращаясь к стоявшему на дороге обозу, — как сговорились! Зазябли, Любинька? Потерпите маленько, уж я найду!

Наконец, после длинного торга, угрюмая, худая баба отворила ворота. В избе было сыро, пахло прелью от постеленной на полу соломы, кислой шерстью от сушившихся на загнетке валенок.

— Вы в горницу пройдите, — сказала Павлишеву хозяйка, — там почище, тут для вас неподходяще.

За перегородкой не было никакой мебели кроме двух стульев, на окнах висели кисейные занавески.

— Самовара то у меня нет, — сказала женщина, — чем мне вас потчевать, не знаю.

— Может молочка?

Она махнула рукой.

— Я и забыла какое оно бывает, молочко то.

Возчики, не ужиная, залегли спать в горнице на полу, головами к наружной стене. Люба, стоя на коленях, стелила шубу около перегородки.

В кухне, покачиваясь, закрыв глаза, хозяйка рубила что-то сечкой в кадушке.

— Для скота? — спросил Павлищев.

Она вздрогнула и вскинула голову.

— Пора там! Сами едим — овес это — подсею и варю. Хлеба у нас и до Святков не хватает, бывало покупали, а теперь не купишь...

— Чего ж вы на мельницу не отвезете? То есть на крупорушку. Гораздо проще.

— Не по нашему достатку, десять фунтов с пуда берут, на них не напасешься . . .

Люба лежала на спине, закинув руки за голову.

— Можно здесь ? — спросил он, бросая шубу рядом.

— Больше негде, — спокойно ответила она.

Он лег на бок, стараясь разглядеть выражение ее лица.

— Люба ! Люба ! Какое вы странное, непонятное существо . . .

Она молча смотрела на прыгавшие по потолку тени.

— Зачем вы играли с мужиками в карты ? Из вежливости, доставить им удовольствие ? Наказать меня ? Почему вы смеялись ? Что это было, шутка ? Нарочно, чтоб меня подразнить ?

Она усмехнулась.

— Можно спросить что-то ? Только очень грубое . . . я боюсь вас обидеть.

— Спрашивайте ! — равнодушно ответила она : — Я тоже потом спрошу.

— Вы кого-нибудь уже любили . . . я хочу сказать, это не первый раз как вчера ?

И так же как вчера, неожиданно и непонятно она расхохоталась.

— Нет, никогда. А теперь я спрошу. Кто пасторская дочка ?

— Что-о ?

— Вы понимаете — в рассказе . . . А если не хотите — не надо.

— Нет, отчего же ? Вы думаете, что, если вы девушка с кнутом, то есть какая-нибудь пасторская дочка ? Может быть . . . Только это совсем не то, просто старая дружба, еще с гимназии. Ее отец давал мне уроки, этот самый Келлер, который приезжал. Скорей как сестра . . . ну, и общие интересы, она отличная пианистка, вообще культурный человек . . .

— И она так думает ?

— То есть что ?

— Что сестра ... и общие интересы ...

— С вами невозможно разговаривать ! — рассердился вдруг Павлицев : — Вы просто ребенок !

— А я знала.

— То есть что вы знали ?

— Что дочь. Помните, я приезжала в Хвошню ? Сначала я не могла понять, чего он сердится ... Никогда меня не видел ...

— Бросьте, Люба ! Лучше расскажите, что с вами делается ?

Стук в кухне прекратился, хозяйка прикрутила лампу. Теперь в горнице было почти темно, он уже не видел ее лица, только светлое пятно с неясными очертаниями.

— Зачем мы теряем время ? — прошептал он, наклоняясь вперед и стараясь поймать ее взгляд : — Ведь вам хорошо со мной, я знаю. Зачем же вы все время избегаете меня, зачем стараетесь доказать, что вам нравится компания этих мужиков ? Ну что между вами общего ? О чем вы можете с ними говорить ? Или вы хотите меня наказать ?

— Совсем не наказать, просто так.

— То есть как это „так“ ? Что вы считаете их носителями какой то особой правды, вы последовательница Толстого ?

— Ничья я не последовательница. Я никогда не думала почему ...

— Так надо думать ! Нельзя жить как птицы, как трава ... Мы человеческие существа, мы должны давать себе отчет ...

— Может потому что я выросла в деревне ...

— Вздор ! Вы жили в Москве, учились, встречали культурных людей.

Она помотала головой и откинула косу.

— Я не люблю культурных людей.

— Вот опять вы говорите как ребенок !

— Это правда, я не умею хорошо объяснить, но это

правда. Мне всегда было неловко, когда я маленькая была и приезжали гости, потом в гимназии, на курсах...

— Так это застенчивость, со многими бывает, надо побороть.

— Нет, совсем не то, вы не понимаете. Может и застенчивость, но я про другое говорю — мне за них стыдно. Они всегда притворяются, стараются показать какие они умные, говорят о музыке, о книгах, будто для них это действительно важно...

— Ну не знаю с какими людьми вы встречались! Могу вас уверить...

— Зачем вы сердитесь? Я просто стараюсь объяснить, вы же сами спросили. У меня такое чувство, будто кто-то, где-то решил чем надо интересоваться, что должно нравиться и что надо презирать, а все другие повторяют, стараются уверить, что они именно так чувствуют, а сами...

— Боже мой, как все это по-детски, как наивно!

Она запнулась и замолчала.

— За что вы все-таки на меня рассердились — я вам не врал и не притворялся.

— Я не рассердилась, просто маленькие вещи...

— Например?

— Вы не поймете. Ну, хорошо, я скажу! Вы позволяете Капитонычу снимать с вас валенки...

— Но он...

— Нет, подождите! Вы всегда говорите: эти идиоты, эти животные. Это не за них, мне за вас обидно, как вы не понимаете!? Потом вы нарочно заговорили о театре, потому что они не понимают, хотели показать...

— Ах, какой вздор! Что показать? Кому показать?

— Я не могу доказать, но я знаю, что это так.

— Все оттого, что вы сидите в деревне, отгородились ото всего мира...

— Я живу так, как мне нравится, — сказала она упрямо: — я счастлива.

— То есть чем это вы счастливы? Тем что уродилась картошка, или корова дала больше молока...

Люба завозилась, отталкивая ногами шубу.

— Вы не хотите понять, как я все это люблю. Вот сегодня метель, и снег, и ветер; а вчера, когда я осталась одна, такой покой, такая тишина. Я люблю животных, они все знают и все понимают. Один раз, в Зоологическом саду, мне показалось, что они вдруг выйдут из клеток и будут мстить. Это такая жестокость... И людям даже не стыдно! И мужиков я люблю, потому что они не притворяются. Я люблю, когда всходят семена и все растет. Я люблю идти по дороге рано утром, пыль холодная и на ней дырочки от росы. Я люблю ехать вечером на возу, скрипят колеса, в овраге пахнет теплой водой и тиной... И еще, знаете, осенью — трава такая густая, в лесу пахнет грибами, под рукой гнезда орехов шуршат, вот так взять рукой и провести до конца... А еще я люблю, когда оседает туман и капает с крыш. А лучше всего, когда пахнет дымом, леса горят, такой прозрачный, легкий день и откуда-то издалека...

— И прекрасно! — перебил Павлищев: — Хотя вы думаете, я ничего не понимаю, но я очень хорошо понял. Это вы не понимаете, когда так наивно отрицаете культуру, отмахиваетесь ото всего, что создано человечеством. Ведь то самое чувство, которое заставляет вас восхищаться пылью и орехами, двигает искусством. Зачем упрощать жизнь, зачем сводить ее к примитиву, отказываться от гораздо более глубоких и сложных наслаждений? Но об этом мы еще поговорим, я уверен, что вы поймете. Сейчас я только хочу сказать, что это просто неосторожно, вы так доверчивы, вас так легко обмануть. Неужели вы не видите, что происходит? Ведь все расшаталось, не осталось никаких сдерживающих начал, так ни за что могут убить, обидеть. Жить в деревне, как вы живете, просто опасно...

— Вы совсем как мама! — усмехнулась Люба. — Я ничего не боюсь. Недавно я поехала на мельницу, она всю ночь не спала, надо было долго ждать. Я ничего не боюсь, — повторила она вызывающе и села сгорбившись,

обхватив колени руками : — Знаете, что я раз сделала ? Я еще маленькая была, мне было пятнадцать лет. Я убежала из дому — просто невозможно было больше так жить, все сразу. Лена приехала . . . Она большевичка — вы знаете ? Когда ее сослали и потом я всегда думала, что она святая, героиня. А приехала и оказалось совсем не так. Я перестала учиться, просто ничего не делала, подружилась с большой девочкой, она всегда после гимназии сидела с мальчишками в саду. Мне было с ними скучно, они говорили глупости, но я тоже сидела. А в гимназии сказали, что позовут маму . . . И я решила, что поеду куда-нибудь в деревню, надену длинное платье и наймусь в экономки. Денег у меня не было, я взяла залог из библиотеки — рубля три или пять, не помню. Купила билет до какой-то станции, наугад, просто потому, что женщина впереди покупала туда. Она села рядом и все заговаривала, предлагала вместе взять извозчика, потому что от станции до города далеко. Но я боялась, что она догадается, и отказалась. Когда приехали, она еще раз спросила, но я сказала, что меня будут встречать. Сначала все бегали, суетились, потом стало тихо, пришел сторож и сказал, что будет запирать, чтоб я уходила. Я вышла, было очень темно и пусто, и ветер — это осенью было, в конце сентября, нет ! в октябре. Я пошла обратно, но сторож на меня закричал. Я ему сказала, что меня должны были встречать и не встретили, а теперь мне некуда деваться. Но он меня выгнал и что то сказал про постоялый двор. Я пошла через площадь туда, где были огни. Около одного дома стояли привязанные лошади и в окнах было много людей. Я поняла, что это постоялый двор, но войти побоялась. Я все ходила и ходила вдоль улицы — домов десять там было, но все такие страшные, я хотела постучать и не могла решиться. Там был стог, я хотела зарыться в сено, а потом собралась с духом и постучала в последний дом. Я видела в окно как человек вскочил с кровати и пошел к двери, а я кинулась бежать. В конце концов мне пришлось

итти на постоянный двор. От страха, или правда там был такой пар, мне показалось все в тумане, много людей, косматые головы, шум. На прилавке стояли тарелки с кусками мяса, женщина наливала в чайник кипяток. Я спросила, можно ли переночевать. Она посмотрела подозрительно и я опять рассказала про тетку, которая меня не встретила. Женщина спросила есть ли у меня паспорт. Паспорта не было, но она повела меня куда-то. Сзади была кухня и досчатая перегородка, она открыла дверцу и впустила меня в маленький чуланчик, сказала, чтоб я заперлась. Там была кровать с соломой и рваное одеяло. Я села на краешек и должно быть задремала. Потом услышала голоса — два мужика о чем-то спорили. Они подошли к моей двери и стали дергать. Крючок прыгал, но не открывался; они скребли чем-то по дереву, отталкивали друг друга и все что-то говорили и спорили. Я не совсем понимала, но знала, что это что-то ужасное, я хотела вскочить, спрятаться, поискать окно, залезть под кровать, держать крючок, но от страха не могла двинуться. Не только от страха, мне казалось, если я двинусь, я буду к ним ближе. Потом один сказал: Убирайся, ты стар. А другой сказал: Надо ножик под-сунуть — так не откроешь, пусти, у меня нож есть. И они стали драться. И вдруг голос, очень грубый, но мне показалось как ангел с неба, крикнул на них, и они убежали. А женщина стукнула дверью в соседний чулан и легла. Я так боялась, что она заснет, а мужики вернутся, я хотела попросить, чтоб она позволила сесть около нее на полу, но не решилась. А утром я долго боялась выйти, было очень тихо, мне казалось, они притаились и ждут. Но когда я открыла дверь, там никого не было, только бутылка пустая на подоконнике. В трактире женщина мыла пол. Мне хотелось плакать, сказать ей как я благодарна, но она так равнодушно двигалась ко мне спиной, в подоткнутой юбке, с голыми ногами, что я только спросила: Сколько? И она, не оборачиваясь сказала: Тридцать копеек. А когда я вышла, все было новое, ночью

выпал снег, все было бело и чисто. Прямо через площадь рысью ехал какой-то мужик в розвальнях и пел. Я вернулась домой.

— Люба! Бедная Люба, какой ужас! — прошептал Павлищев, сжимая руки: — И зачем все это нужно? Надеюсь, это вас научило...

Она будто не слышала.

— Все стало другим, — продолжала она тем же тоном: — Будто раньше я сидела где-то на крыше, видела людей, но ничего не понимала и боялась, а после этого перестала бояться.

— Все это бред, страшный бред! Но как ваши родители отнеслись?

— Никак. Мама сказала, чтоб следующий раз я позвонила по телефону, если останусь ночевать у подруги.

— Значит, вы не сказали.

— Сказала, но она не поверила. Знаете как бывает, когда люди нарочно не верят. И Сережа не поверил, сказал, я все выдумываю.

— Это так странно, так на вас непохоже... здоровый, нормальный человек...

— Я просто хочу понять! Люди закрыли глаза и не хотят видеть.

— Только одна есть умница, — пробормотал он ласково и насмешливо, протягивая руку, — которая все понимает. Ну, дайте же вашу ручку!

— Никакая я не умница, — ответила она недовольно, делая вид что не замечает его руки: — Я очень плохо понимаю, но иногда мне кажется, что вот-вот, еще немножко и я все пойму, и тогда все будет ясно и нестрашно, даже смерть и голод... Я в прошлом году ехала домой из Москвы. В Серпухове нас всех арестовали и заперли на вокзале. Мы просидели пол дня и всю ночь прямо на полу. Пол был был каменный, холодный. Под утро принесли ведро кипятку, но хлеба почти ни у кого не было. У меня был кусочек, Сережа положил, пайковый. Я стала есть и вдруг чувствую, кто-то на меня

смотрит. Вижу рядом женщина, лицо черное, кожа прилипла к костям, смотрит на мой хлеб, не отводит глаз. Я хотела отломить, но, знаете, когда он высохнет, он как камень. И я отдала весь, я не очень голодна была. Она взяла хлеб, ничего не сказала, не посмотрела, но когда стала есть — она даже не ела, а сосала, должно быть у нее зубов не было, — вот тогда случилось что-то странное. Каждый раз, когда она глотала, мне казалось, что глотаю я. Я просто чувствовала, как у меня в горле...

— Ах, как вы сентиментальны! Откуда это у вас?

— Ничего вы не понимаете! — крикнула она сердито: — Вы думаете, я хвастаюсь? Вы думаете, я по доброте? Она мне противна была эта женщина, у нее слюни текли!

— Теперь я знаю! — воскликнул Павлищев: — Я все старался вспомнить, я понял кто вы... Вы читали Волошина „Быть царевой ты не захотела“? В Литературной газете, в Рождественском номере... Неужели не знаете? Подождите! Сначала про царевну, которую растили в высоком терему, копили ей приданое... дальше помню!

Из невест красой да силой бранной
Ни была ль ты самую желанной
Для заморских княжьих сыновей?
Но тебе сыздетства были любви
По лесам глубоким скитов срубы,
По степям кочевья без дорог,
Вольные раздолья да вериги,
Самозванцы, воры, да растриги,
Соловьиный посвист да острог.
Быть царевой ты не захотела —
Уж такое ль подвернулось дело,
Враг шептал: развеи да расточи,
Ты отдай казну свою богатым,
Власть — холопам, силу супостатам,
Смердам — честь, изменникам — ключи.

Правда прекрасно ? Почему вы молчите ?

— Это то самое, про что я говорила, — медленно произнесла Люба : — Все выдуманное, ненастоящее. Я не знаю как сказать . . . Красивые слова, а за ними ничего. Звучит прекрасно в стихах; растриги, вериги, воры, острог — но никакого отношения, просто красиво. А если на самом деле — отскакивают в ужасе, делают стеклянные, невидящие глаза, говорят: идиоты, мерзавцы . . . Ах, почему я не умею говорить ! ?

— А что настоящее, что ? — раздраженно крикнул Павлицев : — Ваше сентиментальное умиление ? Ваша наивная философия ? Ваше братание с мужиками ?

— Так я и знала ! — прошептала Люба с отчаянием : — Так я и знала ! И зачем только я рассказывала ?

Она упала на твердую подстилку и натянула на голову тулуп.

— Любочка, милая, детка, простите ! Вы меня рассердили . . . Пожалуйста, не надо ссориться !

Но она не ответила.

18.

Его разбудил громкий разговор. В кухне горела лампа, тьма за окнами стала синей, прозрачной, по полу тянуло холодом. Возчики лежали в ряд, накрывшись с головами, придавленные, оглушенные предутренным сном. Люба свернулась в комок как котенок, по бурому меху тулупа рассыпались светлые волосы.

В кухне кто-то сидел, слышно было громкое, застуженное дыхание и шелест одежды. Волнами плыл махорочный, пахнувший гнилым сеном, дым. Разговор не возобновлялся. Павлицев вздохнул, потянулся и нащупал на полу часы ; стрелки путались — то ли пять, то ли шесть, то ли половина второго . . .

Откуда-то долетели новые звуки — глухо хлопнули ворота, кто-то возился в сенях, шуршал по стене рукой; распахнулась дверь и в кухню с громким шелестом въехало что-то огромное.

— Думала, не допру, — сказал хозяйкин голос : — Ну, и тяжела, провалиться ей !

Никто не ответил. Хозяйка неуклюже топталась по кухне, шуршала соломой, гремела заслонкой.

— Куда едут ? — спросил хриплый голос.

— А я знаю ? Сказывали, будто, в Москву.

— Ты то с большого ума пустила . . . Или не знаешь, что тебе теперь будет ?

— Что будет ? Ничего не будет. У них бумага, разрешение.

— А ты читала ?

— Чего мне читать ? Не при мне писано. Кабы я грамотная была.

— Вот то то и дело. Неграмотная, а лезешь ! Сказано — не пускать . . .

— Сказать то легко . . . А ты погляди, сколько у меня ребят ! Что ж мне их резкой кормить, как скотину ?

Павлищев надел пальто и валенки, пригладил волосы. К кухне за столом сидел пожилой человек в шинели, с подстриженной бородкой, похожий на старорежимного стражника.

— Вы тут что-то говорили, — сказал он надменно (лицо солдата, обросшее рыжей собачьей шерстью, с синеватыми, прозрачными мешками под глазами, показалось ему грубым и отталкивающим) : — Если это обо мне, то вы очень ошибаетесь. У меня есть разрешение . . . И вообще, на каком основании . . . У вас у самого есть удостоверение ? А то, я слыхал, много самозванцев разъезжает по дорогам . . .

Солдат хмуρο и равнодушно оглядел его с ног до головы и отвернулся.

— А если хотите видеть мои бумаги, вот, пожа-

луйста ! Видите подпись ? Цурюпа. Я никого не обманываю и не прячусь.

От волнения, от раздражения голос Павлищева сорвался, стал визгливым.

— Кабы не прятались, большаком бы ехали, — равнодушно заметил солдат : — А то гляди, куда занесло !

— Вы лучше возчиков спросите — это их идея. Я им говорил не надо сворачивать !

— Там разберут . . .

— То есть где это там ?

— Вот сейчас начальник приедет — скажет. Мое дело маленькое.

Разбуженные голосами возчики спешно убрали постели.

— Пропали мы, пропали, — бормотал Такунов : — Понесла нелегкая . . . ведь знал, чуяло мое сердце . . .

Мимо окон, придавливая со скрипом молодой, пушистый снег, проехали маленькие санки. На крыльце кто-то топтался, отряхивая валенки. В кухне заговорило несколько голосов.

— Вы не имеете права ! — визгливо кричал Павлищев : — У меня разрешение ! Это никого не касается, где мы едем !

— Я обязан доносить каждый подозрительный случай, — монотонно повторял молодой, деревянный от холода, голос.

Солдат пробормотал что-то неразборчиво и сейчас же, перебивая, опять закричал Павлищев :

— Вы декрет читали ? Знаете, что полагается за бюрократизм, за формальное отношение ? Я везу продукты для голодающих ученых ! Видите подпись ? Видите ? Что ж вам надо ?

— Все теперь голодающие, — угрюмо произнес молодой голос, — что ученые, что неученые . . . Собирайтесь !

— Вы за это поплатитесь ! Пожалуйста, не воображайте, что я не найду управы !

— В районе разберутся, отпустят — их дело. Мое дело — доставить.

Возчики шептались с хозяйкой, уговаривали ее спрятать поклажу.

— Барин как желает, а ты наше, наше то схорони! Мы свое тоже везем.

Женщина молча трясла головой, потом, не устояв, согласилась рискнуть исполу. Голоса разделились.

— Хоть что-нибудь убережем...

— Я прятать не буду, — решил Щербаков: — Будь что будет. Может и отпустят. А как ты с нее стребуешь? Не захочет — не отдаст, а и отдаст, так обманет.

Люба стояла у окна, переплетала косу. Слева, еще невидимое, всходило солнце, порозовели сугробы, из труб столбами поднимался дым, жидкая голубизна неба была ясна и прозрачна. От вчерашней метели не осталось и следа, только высокие, вспухшие сугробы и пышные шапки снега на ветках напоминали о густой, крутящейся мгле.

— Любовь Владимировна, слушайте!

Она обернулась и сейчас же отвела глаза. Павлицев суетливо совал руки в карманы, вытаскивал какие-то бумажки и записные книжки. Лицо его было бледно, рот кривился.

— Они хотят меня арестовать, куда-то повезут, но я этого так не оставляю, я им не прошу! Держите вот это и это, книжку уничтожьте! Меня сейчас заберет инспектор, вы поедете с милиционером. Садитесь на передние сани, а лошадь отдайте ему — он отстанет. А вы, как приедете в Подольск, попробуйте убежать. Идите прямо к Келлеру и все расскажите!

— А лошадь?

— Я сделаю все, что возможно. Ну, что вы сердитесь? Разве я виноват? Эти ваши идиоты... Я же больше всех страдаю из-за их глупости, а вы... Ну, дайте руку! Люба, посмотрите на меня!

Она протянула руку, но в глаза не посмотрела.

— Боже мой, как вы несправедливы! Ну, мы поговорим в Москве. Ваш адрес я помню.

Она осталась стоять у окна, изогнув брови, прислушиваясь к тому, что происходило в кухне. Вот стукнула дверь, одна, другая, на крыльце закрипел снег, прошел высокий, прямой как палка, инспектор, мелкими шажками пробежал Павлищев. Садясь в санки, он вороватым движением повернул голову к окнам. Люба откинулась за косяк.

В кухне пили чай, пили медленно — спешить было некуда. На столе стоял чугунок с кипятком, по воде плавали черные, обгорелые соломинки. Хозяйка, повернувшись спиной, мешала у печки пареную мякину, с палатей смотрели блестящие детские глаза. Мужики медленно, сосредоточенно жевали, милиционер курил.

— Что ж вы чайку то? — спросил Щербаков.

— А что его пустой пить, вода и вода...

Щербаков подвинул к нему сало и хлеб.

— Вы бы как-нибудь того, — заискивающе сказал Такунов и положил перед милиционером половину сдобной пышки: — отпустили бы нас, что ли? Мы бы домой поехали... Разве мы что знаем? Это нас барин сбил, ничего да ничего, свободно, говорит, вези что хошь, у меня, мол, разрешение от самого от Ленина. А мы что? Мы народ малограмотный, что нам ни скажи, всему верим.

Милиционер медленно жевал, опустив тяжелые веки.

— Мы, если что, заплатить можем, — поддержал Щербаков, — круп отсыпим, муки, ветчинки отрубим, А так что? Только время терять... И вам хлопотно, и нам обидно...

Все с надеждой смотрели на милиционера. Он вынул из кармана обрывок ситцевого платка и завернул в него остаток хлеба.

— Поздно, — сказал он вздохнув, — чего ж вы раньше молчали? Можно бы, конечно, отчего же? А

то ваш барин как зачал налетать : кто я, да что я, да как смеете ! Добром то все можно, а теперь начальник уехал, не догонишь ! Ему тоже не сладко, начальнику то, его обида взяла, вот он и насел. Жена у него помирает, молодая, хорошая такая, прошлый год обвенчались. Едем мы вчерась из больницы, не поверишь ! слезами плачет, убивается . . . Доктор говорит курятины ей надо, да вина хорошего — может и полегчает. А так нет, помрет. А где их взять ? Ну, едем мы по деревне, снегу, конечно, навалило, а все видать целина растревожена. Заглянули во двор — воза стоят, горой накладены. Как же такое, думаем, один голодом помирает, а другой наровит денежки нажить ? Разве это порядок ? Уж коли помирать, так всем вместе . . .

Мужики молчали.

— А отпустить — чего ж не отпустить ? — сказал милиционер, пожимая плечами : — Можно бы, конечно, если б во-время. И вам бы лучше, и нам.

Собирались медленно. Люба выкинула из чемодана юбку и толстую фуфайку и набила его провизией. Чемодан не закрывался, она сердито давила его коленом, перекладывала, уминала, наконец, удалось защелкнуть замки. Хозяйка ушла с возчиками во двор, в кухне сидел милиционер, ковырял ножом грязь в щелях стола. Сердито насупившись, Люба снова открыла чемодан и вытащила курицу в промасленной бумаге.

— Вот, — сказала она, подходя к столу и не глядя на милиционера : — для той, в больнице . . . ну, вы говорили . . . жена . . .

Через час они выехали на широкое, укатанное шоссе. Дорога блестела как стекло, звонко ударяли в передок саней комья снега из-под копыт. Люба сидела на переднем возу с Щербаковым. Сзади наезжал, фыркал, крутил головой с заиндевевшими ресницами тяжелый Такуновский мерин. Пристяжная бежала свободно, не тянула, валец ударял ее по ногам, она поджималась и на минуту натягивала постромки. Дальше покачивались дуги,

шелестели полозья других саней и только Любина кобыла с Капитонымчем и милиционером отставала все дальше.

Справа, совсем близко, свистнул паровоз; по белой насыпи с лязгом и скрежетом прополз обледенелый, забитый снегом поезд. На открытых площадках, сбившись в кучу, прижавшись друг к другу, застыли человеческие фигуры.

Гулко забил колокол. Впереди курчавились забитые снегом деревья и крыши поселка. Люба свесила ноги и взяла в правую руку чемодан.

— Как доедете до угла, придержите — я спрыгну.

Щербаков повернул к ней красное с белыми усами и бровями лицо.

— Ну-ну! — сказал он, широко улыбаясь, — это конечно, чего вам мучиться!

— Я не для себя! — сердито ответила Люба: — Я вам хочу помочь.

Выехали на широкую улицу, Щербаков взял кнут, сани дернулись, закатились вправо и почти остановились.

— Ну, прощайте! — крикнула Люба, отпуская левой рукой грядку саней.

19.

Уже смеркалось, когда измученная и растрепанная Люба дотащилась до Серезиной квартиры. Утром, сидя в холодном вагоне в ожидании, пока тронется поезд, она думала только о том, что каждую минуту ее могут арестовать. Но как только ненавистная станция осталась позади, она забыла все страхи и, наклонившись всем телом вперед, будто стараясь ускорить движение, перенеслась в Москву, воображая Серезино удивление и радость.

В Москве-Товарной поезд остановился надолго. Пассажиры, по большей части бабы-молочницы со жбанами заткнутыми тряпками, спокойно разговаривали или дремали, приученные к терпеливому ожиданию. Время шло,

на пустой платформе не было ни души, казалось все о них позабыли. Наконец обмороженная дверь в контору открылась, вышел человек в полушубке и кондуктор с фонарем и ящиком. Кондуктор со скрипом поднялся на ступеньки и толкнул дверь вагона. „Поезд дальше не пойдет, — сказал он равнодушно : — Вылезайте !” Пассажиры стали собирать пожитки. Молочницы, привыкшие ко всяким случайностям, первые потянулись гуськом по насыпи, позвякивая бидонами.

Если бы не чемодан Люба легко прошла бы несколько верст до города, но чемодан с каждым шагом делался тяжелей. Она все чаще перекладывала его из одной руки в другую, поднимала на плечо, перекидывала на спину. Дотащившись кое-как до Мясницкой, она опустила на ступеньки почтамта. Лицо ее было красно, волосы растрепались, сердце билось где-то в голове за ушами. Она забыла обо всем на свете кроме бесконечных улиц, поднимавшихся впереди крутой горой. Оглядываясь по сторонам, она вдруг поняла, что прошла мимо квартиры Келлера. Возвращаться назад было вдвое тяжелей чем идти вперед, но смешанное чувство любопытства и гордости своей победой придало ей силы.

Увы! в квартире Келлера ее гордость не имела никакой цены. Никто не интересовался ее бегством, путешествием пешком с Москвы-Товарной, тяжестью ее чемодана. Задав несколько торопливых вопросов о Павлицеве, они забыли о ее присутствии и стали говорить между собой. Келлер дергая бородкой бегал по комнате.

— Я говорил ! Я говорил ! — кричал он визгливо : — Совершенная бессмыслица ! И опять я должен куда-то идти, хлопотать, терять время . . .

— Главное не волнуйся, — уговаривала его бледная, увядшая дама с поднятыми бровями, с уголками рта опущенными вниз, — вспомни как это вредно ! Не надо было слушать Левочку, ты же знал, как он всегда увлекается . . .

— Нет, папа, — решительно сказала дочь, такая же бледная и бесцветная как мать, но неожиданно твер-

дая, — сейчас уж нечего жалеть — что сделано, то сделано. Надо немедленно ехать и спасти Левочку. Я еду с тобой!

На Любу она даже не посмотрела, будто Люба была посыльным принесшим телеграмму и ожидавшим ответа.

Злая и негодующая, она дошла до Серези, не чувствуя тяжести чемодана. Они воображают, что Павлицев принадлежит им! Хорошо, они увидят!

Через полчаса она уже сидела на диване, сбросив валенки и поджав под себя ноги. Лицо ее горело, блестящими глазами она провожала шагавшего из угла в угол Серезю.

— Я думаю, все можно было устроить, — говорила она возбужденно, — только он не умеет! Этот стражник сказал...

— Подожди, не путай! Надо что-то сделать...

— Я ж тебе говорю, я была у Келлера, он препротивный! Ты бы посмотрел на их физиономии... особенно эта кукла, смотрит будто я какая-то преступница, во всем виновата...

— Прежде всего скажи про маму, она здорова?

— Мама? — рассеянно переспросила Люба: — Да. Да, конечно. Тебе совершенно неинтересно, что я говорю! Ты понимаешь, нас арестовали и повезли, а я убежала! Это Павлицев сказал, а то бы я поехала вместе со всеми...

— Расскажи все по порядку — где, кого, почему арестовали?

— Ах, как ты не понимаешь! Около Подольска, и все отобрали — вещи и лошадей... И мою взяли, она паршивая, но все-таки жалко. Знаешь как она бежит? Не вперед, а будто в стороны, все раскачивается и раскачивается, я ее погоняю, а она ни с места. Все уедут, а она плетется как черепаха. Мы ее пополам со Львом Александровичем купили!

— Ты уверена, что это Павлицев, экономист, приват-доцент, который...

— Я совсем не знаю приват-доцент или нет, — перебила она горячо, — и мне он сначала даже не понравился. Капитоныч привез керосин и он с ним приехал искать возчиков. Он ужасно о себе воображает, смотрит так, будто я маленькая, хотя не всегда, — добавила она с хитрой улыбкой.

— Все-таки странно, почему Келлер и Павлищев поедут в какое-то Ненашево . . .

— Не Ненашево а в Хвошню и в другие места. Только они жили в Хвошне, у Капитоныча. Ты его помнишь? Такой плюгавый и щека красным платком подвязана. Теперь он кооператор . . . Они читали лекции за хлеб и за картошку, вообще за продукты. А Лев Александрович приезжал к нам каждый день . . . Я может за него замуж выйду, — прибавила она неожиданно.

Сережа давно привык к тому, что Люба болтает все, что ей взбредет в голову, привык не придавать этому серьезного значения и, не споря, продолжал шутливо подерживать разговор.

— Значит можно поздравить? Когда же свадьба?

— Я же тебе говорю — не наверное. Я еще не решила и он не говорил так прямо.

— Что ж он сказал?

— Он спросил, читала ли я один рассказ в Русской Мысли, про девушку с кнутом.

Сережа поднял светлые брови.

— Я не совсем понимаю . . . Странная форма делать предложение.

— Никакого предложения он не делал. И это вообще глупо! А про рассказ я думала, что правда. Настоящая любовь — это когда не рассуждаешь, понимаешь? А если рассуждаешь, как с пасторской дочкой — это в книге пасторская дочка, а на самом деле это Келлерша — все равно ничего не выйдет . . .

— Что-то очень сложно! Лучше расскажи все по порядку, с самого начала.

— Я же тебе говорю — они читали лекции, набрали продуктов . . . Нет, подожди! Я вспомнила — он сказал,

что страшно меня любит, рассудку вопреки, наперекор природе. Он всегда стихами. И вообще совершенно неважно повторять чужие слова. . . Ну, хорошо, потом этот Келлер и еще один поехали не поезде, а мы на лошадях, потому что на поезд не брали поклажу и вообще гораздо веселей. Ну, все было хорошо, потом возчики решили свернуть с шоссе, Лев Александрович не хотел, у него было разрешение на тысячу пудов для каких-то ученых. А возчики не послушались, это Петр Такунов их сбил, Иван Щербаков не хотел, а другие мальчишки, не наши, из Вашаны. Ну, ехали, ехали, началась метель, потеряли дорогу, потом никто не хотел пускать. Утром инспектор, и всех забрали, а я убежала.

— А что тебе Келлер сказал ?

— Ничего не сказал. Он противный, все жует, жует, как овца. Он на меня сердится, потому что он думал Лев Александрович на его дочери женится. Я сразу поняла ! Только я на такой бы не женилась, она как мумия, такая кислотина ! Попробуй чемодан ! Больше пуда, ты открой, посмотри, что я привезла. Я пешком шла. одну минуту думала, что конец, больше не могу.

Сереза открыл чемодан и стал вынимать свертки.

— Нет, подожди, не вынимай, попробуй какой он тяжелый !

— Слушай, Люба, я отнесу немного Диме . . .

— С какой стати ? Я не для них тащила. Думаешь Лена сделает что-нибудь для нас ? Пускай умирает с голоду !

Сереза покачал головой.

— Можно подумать, ты действительно такая жестокая. Кроме того я говорю — для Димы. Уж он то ни в чем не виноват !

— Как я ненавижу эту расплывчатую философию ! — крикнула она сердито : — Все правы, никто не виноват. Напрасно ты воображаешь, что Лена такая идеалистка. Мама рассказывала, как она носилась по всяким сходкам и баррикадам, а студенты за ней бегали и восхищались, она и вообразила себя богиней революции . . .

Она вдруг широко зевнула и положила голову на валеk дивана. Сережа накрыл ее шубой и покачал головой.

Через три дня приехал Павлищев.

— Ну, здравствуйте же, Люба! — крикнул он, протягивая руки.

— А где все? — спросила она растерянно, глядя мимо его лица, на косяк двери, будто ожидая, что сейчас всей гурьбой ввалятся возчики.

Павлищев расхохотался.

— Вот как вы рады меня видеть! Разрешите все-таки войти?

Он сел на диван и похлопал рукой рядом, но она сделала вид, что не замечает и взяла табуретку.

— А где моя лошадь?

— Вздор! Зачем она вам нужна? Лошадей забрали, мужички ваши работают, возят дрова... Так им и надо! Все из-за их глупости. Вы и не спрашиваете, как я провел эти дни! Меня посадили из уважения в отдельную камеру рядом со столовой и целый день угощали речами Ленина, а сами ели моего гуся. Я только нюхал. Вот подлецы!

— Они очень сердятся?

— Милиционеры? Наоборот, были очень рады.

— Нет, наши! А где Капитоныч?

— Ну, и тип этот ваш Капитоныч, ну, и лгун! Вы б послушали, что он плел, говорил, что поехал показать нам дорогу, потом стал уверять, что ехал записываться в партию... А ваши мужички, я всегда знал, что на них нельзя положиться...

Она сидела сгорбившись, нахохлившись, стараясь на него не смотреть, не видеть его смеющихся, помнящих глаз. Неужели это с ним она лежала на полу, в темной избе, храпели возчики, за стеной шелестела метель...

— Ну в чем дело, чего вы напыжились? Вы какая-то смешная! Где вы взяли это платье? Идите сюда!

Платье было старое, узкое, да еще мятое — лежало в сундуке за печкой. Лучше бы он совсем не приходил.

— Вот Сережа! — воскликнула она с облегчением.

Она даже не догадалась их познакомить, но они разговорились без ее помощи.

На другой день Люба променяла ненавистное платье молочнице на пять бутылок молока. Павлищев стал приходиться каждый день.

— Идемте гулять! Чего вы сидите дома? Мороз и солнце, день чудесный...

— Я знаю откуда это, — проворчала она: — Почему вы всегда стихами, разве у вас нет своих слов?

В холодный, ветреный день, после длинной прогулки он затащил ее к себе погреться. Она напряженно прилегла на краешек стула в чужой заставленной книгами, пахнувшей табаком комнате. Кто-то постучал в дверь и позвал пить чай.

— Я не хочу! — сказала она испуганно.

— Ну ничего, ничего, — уговаривал Павлищев: — На несколько минут, а то они обидятся. Потом можно уйти. Они очень милые люди, хотят познакомиться...

В большой, холодной комнате стены были увешены картинами. Человек в пальто растапливал печурку.

— А я вас совсем другой представляла! — сказала высокая, худая женщина в цветистой шали, протягивая во всю длину руку в серебряных браслетах: — Левочка сказал вы в тулупе и валенках.

— Ну, Наташа, почему? — недовольно протянул человек у печки: — При чем тут тулуп? Очень приятно познакомиться, — сказал он, вытирая руку носовым платком.

— Чай ненастоящий, увы! — сказала хозяйка, подвигая Любе чашку с бурой жидкостью: — зато вчера выдали какое-то вещество, может вы знаете, что это такое? выдали в Главнауке, должно быть способствует умственному труду, довольно сладко, но пахнет отвратительно.

— Это патока, — заметила Люба, но никто не услышал.

— А по-моему отлично, — весело говорил хозяин, — мне даже запах нравится — пахнет мокрой кожей. Мне вообще все нравится, что можно глотать. И чем больше, тем лучше! Должно быть клапан сломался, никогда не чувствую насыщения, мог бы съесть пять или шесть обедов...

Люба хотела рассказать о мешечнике, который заходил в Ненашево и ел, не останавливаясь, несколько часов подряд. Но пока она собиралась, они заговорили о другом.

— Русского искусства нет, оно еще в пеленках, — возражал кому-то хозяин, жадно глотая пахнувший свежлой чай и вонючую патоку: — У нас все еще пережевывают старые проблемы идейности, содержания, морали, будто это имеет какое-нибудь отношение к искусству. И, главное, кто? Люди, которые даже не понимают, о чем они говорят! И нет художника достаточно сильного, чтоб стряхнуть все эти навязанные идеи. Попробуйте заявить громко и на вас налетят со всех сторон: „Как! Вы за аморальность? Вы за безидейность? Вы за разврат! Вы формалист!“ Нет, господа! я за искусство. Оно может быть высоким или слабым — это его единственное мерило. В горниле творчества сгорают все ваши идеи, произведение искусства не может быть моральным, так же как идейное искусство никогда не будет настоящим. На Западе об этом даже не спорят, но в нашей мягкотелой природе есть благодатная почва для таких изгибов. Интересно, что даже большевики подхватили старый клич, только изменили слова. Вчера на заседании какой-то тип делал доклад о новом пролетарском искусстве. Уж одно это выражение чего стоит! Но возмутительней всего то, что многие присутствующие, вполне культурные люди, возражали не по существу, а, так сказать, по политической линии — что искусство, мол, не служит отдельным классам, а идеям гуманности и человечности вообще... Простите, господа, искусство не слуга!

— Ну, уж ты сел на своего конька! Только ты совершенно не прав, ты сам знаешь, что иконопись достигала высот равных, может быть, итальянскому Возрождению...

Павлищев поглядывал на Любу. Она вертела в руках чайную ложку, смотрела вниз и очевидно ничего не слышала.

— Я вам лучше расскажу кого я сегодня видел, — сказал он: — Помните Гуню? Помните, как он не пил чаю, потому что „не нуждался в возбуждающих средствах“? Сегодня утром прихожу в отдел транспорта и кого же я вижу? Сидит наш Гуня очень важно, за письменным столом, бумажки разложены стопками, в стакане очиненные карандаши. Я ему рассказал наши приключения, он аккуратно все записал и советовал не беспокоиться — все получим обратно. Да! но гуся то моего скушали! Он будто и не слышит. Говорит, что в Москве осталась одна двадцатая лошадей, остальные околели или их съели, а может и то и другое. Они посылали много раз в Орловскую губернию, но все время что-нибудь случается и лошади до Москвы не доходят. Я ему говорил про вас, Люба, он очень заинтересовался, может вы согласитесь поехать?

— Я!?

— Ах, как чудно! — воскликнула хозяйка, расширяя глаза: — Ехать за лошадьми! Я б обязательно согласилась! В вас есть что-то вольное, степное... Вы знаете Блока „Прискакала дикой степью...“?

— Но я совсем не хочу! — дрожащим голосом возразила Люба: — И я не понимаю достаточно...

— Завтра мы к нему пойдем и поговорим.

— Никуда я не пойду. Оставьте меня, пожалуйста! На обратной дороге они поссорились.

— Зачем вы меня туда потащили? Я вам говорила, что я не хочу.

— Вам надо отвыкать от вашей застенчивости.

— Никакой застенчивости нет! — крикнула она сердито: — Кого я буду бояться? Ваших деланных кукол!?

— Фу, Люба, зачем вы на себя напускаете ?

— Затем, что все это притворство !

— То есть что ?

— Все ! Как она глазами вращает, и как руку протягивает . . .

— Но это же мелочи, стоит ли обращать внимание ! Вы лучше смотрите на другое — оба они действительно любят и понимают искусство, Деринг признанный авторитет, недаром его пригласили редактировать Историю живописи. А Наташина книга о русских иконах . . .

— Она ломака, ломака, ломака ! И никакого искусства она не любит, все притворяется. И никогда больше я туда не пойду !

— Как хотите ! пожимая плечами сказал Павлицев : — Но вы напрасно себе внушаете, что вас удовлетворяет общество извозчиков.

— В тысячу раз больше чем ваши друзья. Во-первых, они искренни . . .

— Ну, знаете, и разбойник на большой дороге искренен . . .

— Я и разбойников больше люблю ! — крикнула Люба без всякого смысла, уже не в силах удержаться.

— Ну, хорошо, дело ваше, не хотите видеть моих друзей — не надо. Но одно я вас прошу — познакомиться с моей матерью. Она совсем другая, вы с ней сойдетесь, она тоже недолюбливает Дерингов. Она просила вас привезти, я не могу ей отказать, это ее очень огорчит.

„А мне какое дело ! ? ” хотела сказать Люба, но остановилась, вдруг стало себя жалко и захотелось плакать.

— Пожалуйста, не надо, — прошептала она умоляюще, — вы увидите !

— Что я увижу ? Глупости. Давайте решим когда ?

— Хорошо, я пойду, но только для того, чтоб вам доказать . . .

— Если вы заранее будете себе внушать, трудно и ожидать . . .

— Ничего я не внушаю ! Я знаю.

По дороге он был весел, шутил, подсмеивался над Любиными страхами. Не доезжая до дачи, она сделала попытку выпрыгнуть из саней.

— Вы не понимаете — я не гожусь для этого !

— Для чего вы не годитесь ?

— Ну, вот . . . я не знаю как сказать . . . знакомиться, родители, друзья — все это — понимаете ?

Он расхохотался и втащил ее за руку на расчищенные ступеньки крыльца. Она шла как во сне, в тяжелом, давящем сне. В доме пахло сосной и еще чем-то, в одно и то же время чужим и знакомым. В большой комнате перед раскрытым роялем сидела старая женщина в лиловом платье, с камеей у ворота. Она сидела задумавшись, опустив голову, сжав на коленях руки.

— Ну, вот, мама, я привез Любу.

Женщина вскочила и пошла им навстречу легкой, молодой походкой.

— Здравствуйте, я рада, что вы приехали, — сказала она просто и повернулась к сыну : — Знаешь, что я сейчас играла ? Чайковского. Да, не люблю, но должно быть мне это было нужно, у каждого бывают минуты слабости . . .

Стол был накрыт белой скатертью, посуда блестела, в самоваре отражалось перекошенное Любино лицо. Рядом сидел старичек с расчесанной на обе стороны бородкой, что-то ей говорил, расспрашивал о деревне. Люба отвечала невпопад, она умоляюще поглядывала на Павлищева, забывшего о ее существовании. Он сидел напротив, повернув голову в сторону матери.

— Нет, это совсем не так ! — говорила она, глядя на него блестящими, живыми, очень молодыми глазами : — Усилие необходимо, без усилия ничего нельзя добиться. Тысячи талантливых людей погибали именно потому, что не хотели себя принуждать. А с другой стороны, даже без большого таланта люди умеющие работать достигают многого. Я не понимаю, почему ты стал вдруг возражать ?

Он улыбался нежно и почтительно — так он никогда не смотрел на Любу.

— Я прочитала книгу, которую ты привез, и, конечно, я была права. Талантливо, да, но этого мало. Ты говоришь — яркие образы? Может быть, но этого не достаточно... Даже если б там были мысли (их нет), все-таки многого не хватает. В литературном произведении должен быть ритм как в музыке. Понимаешь? В порядке слов, в соотношении фраз, в построении целого. Если б он, этот твой автор, поработал, возможно, он сам бы заметил. А так производит впечатление интересного сырого материала, набросанного кое-как, наспех.

— Я тоже мечтал когда-то, — расправляя бородку, сказал старичек, — небольшое, образцовое хозяйство, о большом мне думать не приходится...

Мать и сын говорили вполголоса. Он уговаривал, она смотрела недоверчиво.

— Простите, — сказала она поворачиваясь к Любе: — я себя неприлично веду, но мы так редко видимся, я прямо накидываюсь на него. Мне очень интересно с вами познакомиться поближе. Я тоже выросла в деревне, но все это в прошлом... Слава Богу есть вещи, которые никто отнять не может. Вы любите музыку? Интересно что именно? В моей жизни это главное, если не считать Левочку.

— Я...

— О, я уверена, ваши вкусы здесь, в России, гденибудь в девятнадцатом веке. Мне это чуждо, славянская чувствительность, расплывчатость. Даже на Западе девятнадцатый век уже упадок. Ну, расскажите о себе! Что вы делаете в деревне, особенно зимой? Неужели не скучаете? Есть у вас культурные соседи? Вы должно быть много читаете?

— Я работаю, зимой тоже много дела.

— Простите, я не поняла? Ну, кого вы любите из русских? Толстого? Достоевского? Я и здесь еретичка, я их всех отдаю за Гёте, за Шекспира... Я считаю фактом огромной важности то, что сделал Левочка и его

друзья, но надо больше, больше! Библиотеки, лекции, концерты... Если бы начали раньше, возможно не было бы революции! Что вы сказали?

— У Лескова есть, — с усилием произнесла Люба: — англичане, инженеры, устраивают концерты для рабочих, играют Гайдна, а рабочие говорят „ну, опять свою гадину затянул“...

— Фу, как глупо! Простите, я про Лескова, конечно. И так несправедливо — хорошую музыку понимают все, даже неграмотные. А теперь, если вы ничего не имеете против, мы немного помузицируем. Это такое редкое удовольствие играть с ним в четыре руки.

Старичек кашлянул и расправил двумя пальцами усы.

— Имел удовольствие встречаться с вашим батюшкой. Прекрасный был человек! Последний раз на съезде уполномоченных...

Мать поправила стул, села удобней и закрыла глаза.

— Мое? — спросила она, взглянув с улыбкой на сына и повернувшись к Любе прибавила: — Это мое любимое. Потом мы сыграем, что вы хотите.

Сильные, непропорционально большие руки осторожно опустились на клавиши, замерли и вдруг понеслись в неудержимом потоке звуков, угрожающих, ликующих, торжествующих. Осторожно вступил аккомпанемент, звуки наполнили комнату, раздвинули стены, залили весь мир.

Облокотившись на стол, открыв рот Люба смотрела на освещенные мигающим светом свечей лица матери и сына. Вот сейчас они кончат и все увидят какая она дура, она даже не знает, что они играют. Павлицев уходил все дальше, он принадлежал этой злой, колючей старухе, они даже сделались похожи, но сила была в ней, сын был только отражением.

— Спасибо! — сказала мать, опуская руки на колени: — Я буду жить этим всю неделю.

Наконец все было кончено. Люба шла, почти бежала, по снежной дороге, между двумя рядами елей. Павлицев догнал ее, застегивая на-ходу пальто.

— Куда вы бежите ? До поезда полчаса.

— Пожалуйста не провожайте ! Я могу одна. Идите к своим умным, пусть я дура, мне все равно !

— Что с вами, Люба ? Какой вы невозможный человек !

— Я вам говорю — я хочу одна !

— Хорошо, я пойду. Когда поймете, как это глупо — позвоните !

— Вы сами лучше подумайте и позвоните !

Она повернулась и побежала к станции. Павлицев постоял, посмотрел ей вслед, потом пожал плечами и пошел обратно.

В доме стояла мягкая тишина, мать одна сидела у чайного стола.

— Левочка ! — воскликнула она : — Как я рада ! Ты прямо не можешь себе представить . . . Знаешь, о чем я сейчас думала ? Какой это ужасный момент духовное отделение детей. Для меня наша близость была самым драгоценным в жизни, для меня ты не только сын, ты единственный человек, который меня понимает. Я знаю, у детей должна быть своя собственная жизнь, тут ничего не поделаешь. Сын может уехать в чужие края, на войну или еще куда-нибудь . . . Но это не то, это физическое отделение ! А вот когда он приводит за руку свою избранницу . . . Я не хочу, чтобы ты думал, что это ревность, глупое слово, им так же злоупотребляют как любовью. Но понимаешь, душевная близость развивается годами, это такая сложная, такая тонкая постройка из взаимных влияний, из обмена душевным опытом. И когда появляется другой человек, близость неизбежно кончается, может не сразу, постепенно. Начинаются другие влияния, другие реакции, это естественно, без этого нельзя . . .

— Нет, мама, я не согласен. Один человек не заменяет другого, это совсем не то. Ты знаешь, что никто никогда не будет мне ближе тебя . . .

— Но, Лева, ты решил ?

— Я не хочу, чтобы ты судила по первому впечатлению. Она застенчива, очень молода, часто держит себя вызывающе, как дети, которые неуверенны в себе, но, когда ты ее узнаешь лучше, ты увидишь какое это прелестное существо...

Мать откинулась на спинку стула и обхватила колено сплетенными пальцами рук.

— Я понимаю, — сказала она, закрывая глаза: — я понимаю, что в данный момент ты не можешь судить беспристрастно. И я не возражаю относительно манер, хотя я всегда думала, что манерами человек выражает свою сущность; я даже понимаю твое увлечение, у нее милое личико. Но, Левочка, она так примитивна, сейчас ты не замечаешь, голубчик, ты представить себе не можешь, что значит жить всю жизнь с человеком, стоящим на другой ступени. Ведь увлечение, влюбленность пройдет...

— Нет, мама, ты не волнуйся! Ничего еще не решено и я очень ценю твое мнение, я только прошу, чтобы ты познакомилась с ней ближе, я уверен, что под твоим влиянием...

— Лева, ты знаешь, для тебя я сделаю все, абсолютно все! Только боюсь, это ни к чему не поведет. Надо смотреть судьбе в глаза!

Она не кончила, неожиданно распахнулась дверь и в комнату не вошел, а выскочил, будто его сильно толкнули сзади, ее муж, в халате, с красным, возбужденным лицом, со стоящими дыбом белыми волосами. Несколько секунд он стоял неподвижно, удивленно моргая, будто не понимая, как он сюда попал.

— Тридцать два года! — крикнул он дрожащим голосом: — Оставь ты его в покое! Надо же ему, наконец, жениться! Который раз ты ему все отравляешь — одна глупа, другая умна, да безобразна, третья характером не подошла... Оставь его в покое! Довольно уж ты нас мучила!

Снег осел, стал ноздреватым; с крыш повисли сосульки. Павлищев не приходил. „Если он воображает, что я позвоню, — думала Люба, — он очень ошибается.” Сережа ничего не спрашивал, но иногда она ловила на себе его внимательный, серьезный взгляд, краснела и сердилась. Какое ему дело? Это никого не касается... И вообще ей совершенно безразлично.

Каждый день приходил Капитоныч, часами молча сидел на стуле.

— Та-ак с, — говорил он время от времени, — когда же профессор придет?

— Идите к нему, если он вам нужен!

— Зачем же, я и здесь подожду. Я больше насчет гвоздей — он вроде как обещал...

Прищурив один глаз, он смотрел в одну точку; на маленьком обветренном личике шелушилась кожа.

Наконец Любе это надоело.

— Я еду в Ненашево, — сказала она вдруг: — весна — надо парники готовить.

— Вот и прекрасно! — засуетился Капитоныч: — Пока дорога... Только вот насчет гвоздей бы узнать?

— Можете сами узнавать, я еду одна.

— Нет, уж, как вместе приехали, так и поедем. Сейчас я еще в одно место сбегаю, может там раздобудусь.

Она представила себе набитые людьми поезда, трудность сообщения между Серпуховым и Ненашевым, и пожалала плечами. На другой день Капитоныч прибежал чуть свет, веселый, первый раз без красного платка.

— Где ж ваш флаг в честь революции? — пошутил Сережа.

Капитоныч захихикал, но сейчас же оправился и распрямил плечи.

— Там видно будет в чью честь, — ответил он загадочно.

— Передать что-нибудь? — спросил Сережа, когда

Капитоныч убежал за извозчиком : — Ты уверена, что не делаешь ошибку ?

— Какую ошибку ? — крикнула Люба дрожащим голосом : — Ты воображаешь это такое счастье ! Все равно из этого ничего не выйдет, мы разные люди и я его совсем не люблю. Пожалуйста, молчи ! Я совсем не упрямая, упрямые те, которые без всякого смысла . . . Я ненавижу его знакомых, все они притворщики ! А его мать . . . если он хочет как она . . . если ему это важно . . . ну, и пускай !

Всю дорогу до Серпухова Люба молчала. Дальше поезд не шел, пришлось слезать. Люди прыгали с подножек и спешили уйти не заходя в вокзал, где стоял заградительный отряд. Капитоныч убежал искать подводу, а Люба сидела на чемодане в конце площади и представляла себе как придет Павлищев и Сережа ему скажет, что она уехала, и как он будет мучиться и жалеть, что опоздал. Так ему и нужно !

Мимо шли озабоченные, нахмуренные люди, до нее долетали обрывки разговоров — о хлебе, о картошке, о грабежах. Заплаканная женщина рассказывала, как вчера ее сняли с поезда, заставили мыть уборные на станции ; москвич в потрепанном пальто уговаривал товарища итти по линии и проситься на товарный поезд.

Наконец вернулся Капитоныч с подводой, и опять они ехали по шоссе, и опять блестела дорога, слепили глаза белые поля. Но снег уже не звенел и лед на Оке был другой, обтаивший, будто обсосанный.

В сумерках стал падать мокрый, липкий снег. Извозчик и Капитоныч брели сзади, оступаясь и проваливаясь. Лошадь останавливалась и, передохнув минуту, сама, без понуканья, снова двигалась в спящую муть ночи.

Было уже поздно, когда они добрались до темной деревни. Только в одном доме светились желтыми пятнами окна; у крыльца стояли привязанные лошади.

— Прохор Иванович имянинник, — сказал извозчик, заворачивая к дому.

Они вошли в жарко натопленную кухню и сели на лавку у дверей. У печки суетились женщины, рядом в горнице звенела посуда, кричали пьяные голоса. Никто не обращал на них внимания, будто они были нищие, ожидавшие милостыни.

Через несколько времени вышел хозяин, плотный, румяный, в сатиновой рубашке, и пригласил их к столу. Гостей было человек шесть, все похожие на городских мещан, быстроглазые, себе на уме; только молодой, худощавый попик не подходил к компании, сидел скромно опустив глаза и молчал.

— Я все могу, — уверенно говорил хозяин, выставив вперед широкую грудь и откинув голову назад, — мне это даже без внимания какая такая власть... Была бы голова на плечах, прожить всегда можно. Ты, батя, не робей, ты меня слушай! Говорю тебе — обростешь, только нос не вешай, держись бодрей!

От тепла Любу разморило, ей казалось, что все это сон — странные, хищные лица вокруг стола, Капитоных, шептавший что-то хозяину и кивавший на нее головой.

Должно быть она задремала, ее разбудила одна из женщин. В комнате было пусто, на столе валялись корки хлеба, стояли пустые бутылки.

— До света далеко, — сказала она, — вы вон на кровать прилягте.

Кровать была огромная, будто на ней как в сказке спали двенадцать братьев-разбойников. Люба отодвинула в сторону тяжелые ситцевые подушки и положила под голову шапку.

Утром все показалось иным. Трещали дрова в печке, на лавке стоял подойник с молоком, откуда-то вылезли заспанные дети. И улица была обыкновенная — кое-где шевелился народ, отворяли ворота, из труб поднимался призрачный дым.

Лошадь пошла рысью, извозчик повеселел и разговаривался.

— Что правда, что нет, сказать не могу. Конечно,

разговору про него много, а живет хорошо, слава Богу . . . Накормили вчера — в рот не лезет, сам стаканчик вынес. Пей, говорит, я нынче имянинник. А мне что? Почему не выпить? Выпить завсегда можно. Да и зазяб я вчерашний день наотделку. А что говорят, это дело не мое — у меня он не брал, не грабил . . .

— Как же это он не боится? — осторожно спросил Капитоныч: — Ведь поймать могут.

— Ну, это ему нипочем, у него все приятели — отпустят, да еще спасибо скажут. Видели кровать? Вот увел он раз коня, а конь не простой, заводской. Ну и прошибся маленько — этот, у кого он увел, тоже большой человек был. За ним, конечно, погоня, окружили со всех сторон, куда деваться? Что ж вы думаете? Он этого конька связал, спеленал и под кровать уложил. Ведь не поверишь! Конь под кроватью лежит, а хозяин за столом погоню угощает.

— И не нашли?

— Где уж тут найти! Все пьяные, распьяные. Много про него говорят, а правда ли нет ли кто его знает . . . Вот осенью тоже случай был на чугунке. Шел состав из-под Орла с конями в Москву. Ну, приехали, стали разгружать, а один вагон, где самые хорошие кони были, пустой. Всех под суд, на допрос. Они объясняют, так и так, мол, был случай, сделали остановку в лесу, паровоз взять не мог, пару не хватило. Машинист послал кочегара за помощью, а ночь темная, ничего не видать. Которые провожающие к паровозу собрались, разговоры пошли, часа два ни то три простояли, вот тут недалечко.

— И не поймали? — с почтением спросил Капитоныч.

— Пора там! Да и ловить неохота, он может, кому надо, дал . . .

В Хвошню приехали в обед. Капитоныч отпустил мужика, выпросил у брата лошадь и повез Любу в Ненашево. Ехали шагом — проселочные дороги были в просолах. В оврагах стояла вода, снег на полях осел, оголилась по межам полынь. Садилось солнце, легкие

облака быстро меняли окраску, на востоке небо потускнело, налилось мутью. Ненашево было уже близко, направо темнел знакомый лес, весь набухший, темнобурый.

— На Святой дома будете? — спросил Капитоныч: — Я заехать хотел.

— Так вы заезжайте, мама всегда дома.

— Я собственно к вам, поговорить надо. Пора бы уж что-нибудь решить.

Люба с удивлением покосилась на посиневшее лицо Капитоныча.

— О чем вы, я не понимаю?

— Гордиться теперь не приходится, — заторопился вдруг Капитоныч: — Какое уж ваше положение, и опять же без мужчины в доме...

— Вы, кажется, с ума сошли!

— Может кто и сошел, а я в полном уме с. Вы как понимаете, вроде я только для перевозки продовольствия гожусь?

— Остановитесь! Я пешком...

Капитоныч вынул кнут и стегнул кобылу, но Люба уже выпрыгнула и, качнувшись на онемевших ногах, пошла напрямик по полю к саду. Во дворе, почуяв ее приближение, весело лаяли собаки.

21.

Весна была медленная, холодная, долго не распутились деревья, казалось, что лета никогда не будет. Только в середине мая зазеленели бульвары и разом, догоняя упущенное, зацвели в садах яблони и сирень. Москва приукрасилась, закрыла свои пустыри и развалины.

В июне началась жара, целый месяц не было дождя. К обычному летнему запаху ржавчины и пыли прибавился тошнотворный запах гниения. На улицах лежал неубранный мусор, оттаяли канализационные трубы, в

каждой квартире были больные, но и здоровые ходили как тени. В пустых лавках не осталось даже прилавков — растащили на топливо. Раз в день привозили на грузовиках грубый, непропеченный хлеб, раздавали по кусочку часами ждавшим в очередях людям.

Все больше было нищих на улицах. На углу Поварской стояла старушка в шляпке с цветочками. Никто ей не подавал, но она упорно, как на службу, приходила каждое утро. Простояв несколько часов, она опускалась на горячие камни тротуара и дремала, подперев голову ручкой в штопанной перчатке.

На Арбатской площади, у Бориса и Глеба, стоял человек в парусиновом балахоне с желтым, опухшим лицом. Время от времени он откашливался и, устремив мутные глаза вверх на купол церкви, начинал петь. Старая, бесформенная женщина аккомпанировала ему на скрипке. Около них собиралась толпа, в изломанную тирольскую шляпу бросали бумажные деньги. „Артист Императорских театров!“ — говорил кто-нибудь с уважением. „Оно и видно, — отзывалась публика попроще, — ишь как разделявает.“ „Ах, как он пел! — вздыхали дамы в мятых платьях и рваной обуви: — За милых женщин, прелестных женщин... Помните?“

Все чаще попадались покойники на улицах, их везли без всяких церемоний на самодельных тележках, задевая ноги прохожих. Завидев издали кое-как прикрытое длинное тело, Дима в ужасе шаркался в сторону.

Он не задумывался о том, хорошо или плохо было все, что происходило вокруг и могло ли быть по-другому. Он покорно принимал то, что давала ему жизнь — после беспорядочного шума школы тишина загроможденного вещами мезонина казалась ему раем. Он вытягивался на диване с книгой в руках и уносился в другой мир, не сравнивая и не размышляя.

Он не сомневался в правоте матери, он только чувствовал, что сам он не достаточно тверд, чтоб удовлетворить ее высокие требования. Он не мог ни слышать протестующие голоса, вздохи и жалобы людей, стоявших

в очередях, крики возмущения; не раз он видел арестованных с чемоданчиками в руках, бредущих посреди улицы под охраной красноармейцев. Он слышал, как пожилая женщина громко ругала советскую власть.

— Сволочи! — кричала она, шагая по мостовой и тяжело, будто с трудом отдирая ноги от земли, раскачиваясь: — Ах, сволочи! И никто им в морду не плюнет, никто не скажет! Из-за чего мы терпим? Из-за чего пропадаем? Пустили б меня к их главному, я б ему голову своими руками оторвала, горло б зубами перегрызла!

Прохожие задерживали шаги, смотрели на нее блестящими глазами и вдруг, опомнившись, пожимали плечами и спешили дальше.

Дима их всех жалел и не осуждал — они были такие же как он слабые, обыкновенные люди, неспособные на геройские подвиги.

По вечерам он уходил в дворницкую к Гришке. В узкой, заставленной сундуками комнате было чисто и уютно.

— Садитесь, Димочка! — приглашала Гришкина мать и, переваливаясь, шла в кухню подогревать самовар: — Кушайте, кушайте! — уговаривала она открывая банку с патокой, полученной по Елениной карточке: — Чего на нее смотреть, мажьте на хлеб, авось еще дадут! Вы не горюйте, Бог даст к бабушке поедете, будете там молочко пить, яблочки кушать...

Иван Степаныч с тупой важностью смотрел в стену и стакан за стаканом пил морковный чай. Он делался все солидней, все уверенней. В доме то и дело менялись учреждения, привозили на грузовиках мебель; новые, но похожие на прежних, барышни стучали на машинках, приезжало на автомобилях начальство. Иван Степаныч один оставался бессменным хранителем дома — показывал комнаты, снисходительно объяснял, делал замечания посетителям и низшим служащим. Ему уже смутно чудилось, что дом принадлежит ему и только временно сдается все новым и новым жильцам. Жильцы были не-

надежные, но кое-что от них перепало, и он был бы доволен, если б не жена. Семнадцать лет была она баба как баба, жила в деревне, работала, благодарила за подарки, в письмах и в глаза звала его Иваном Степанычем и вдруг, в какой-нибудь год, сошла с ума и вышла из повиновения. В Москве она уже чувствовала себя как дома, доставала откуда-то муку, пекла пирожки, продавала по вечерам около театров.

— Без меня б вы все пропали, одна всю семью кормлю! — твердила она каждый день: — Если б у меня настоящий муж, теперь можно бы на всю жизнь себя обеспечить.

Дима любил уезжать с Гришкой за город. Они ловили рыбу, копали на огородах маленькие, розовые завязи картошки, раскладывали костер. Хорошо было лежать на спине и смотреть сквозь ресницы на плывущие, меняющие форму, облака, хорошо было скользить вниз по течению на обмелевшей Москва-реке, слушать как бьются струйки о плоское дно лодки. Он мог часами ничего не делать, рассеянно наблюдать суетливое движение муравьев, прислушиваться к многоголосому щебету птиц. Гришке это скоро надоедало, он всегда был в поисках практической, приносящей пользу, деятельности. Цепкими, круглыми пальцами он ловко подрывал картофельные кусты, с торжеством выдергивал из воды трепыхавшуюся рыбешку, взобравшись на забор, безжалостно обламывал чужую сирень и жасмин. Воды он боялся, в лодке сидел ухватившись за борта и кричал, если Дима выезжал на середину реки. Ходить без цели он не любил.

— Только обужу зря трепать, — говорил он недовольно.

Без всякого стыда он стучал в двери пригородных домов, кланчил, выпрашивал, божился, что сирота, ни отца ни матери, или уверял, что беженец бездомный, отца убили, мать больная лежит на станции. Иногда он запутывался и его уличали во лжи, он весело смеялся, а если стыдили и грозили милиционером, ругался отборной

руганью. Чем дальше, тем все трудней было вытащить его из города.

— Велика прибыль! — говорил он скороговоркой, — мы теперь и здесь делов наделаем.

Он любил ходить по толкучкам, рыться во всяком хламе, рассматривать самовары с продавленными боками, облупленную эмалированную посуду, старое платье. Он любил покупать и продавать, знал где что можно достать, на чем заработать. Он знал как пролезть вперед без очереди, бесплатно проехать на трамвае. С особым искусством он запутывал покупателя так, что тот и сам не знал, сколько ему следует сдачи.

— А что ж? — учил он Диму: — Тут ничего стыдного не может быть. Если мы сами о себе не подумаем, нам никто не поможет.

Чтоб не быть одному, Дима покорно стоял в очередях, ходил в подозрительные квартиры, переносил какие то пакеты. К торговле он проявил полную неспособность, стеснялся предлагать, никогда не спорил и его постоянно обманывали. Гришка все откровенней командовал, все чаще называл его растрепой.

— Что ты все книжки читаешь? — укорял он Диму: — Может раньше за это деньги платили, а теперь надо головой работать.

Грубая, безобразная жизнь зажала Диму кольцом. Теплый мир его детства уходил все дальше, уже трудно было поверить, что он когда-нибудь существовал. Сережа, Люба и бабушка, как герои в книгах, жили где то в воздухе, оставались нетронутыми и чистыми. Разве могли они понять, что можно быть дурным даже если не хочешь, не убирать комнату, не мыть руки, питаться пригорелой кашей, врать матери, врать учителям. Они никогда бы не поверили, что он, Дима, продал пальто, лежавшее в сундуке, и мужские золотые часы, которые он нашел в письменном столе. Часы было самое страшное. — Краденые? — спросил человек на базаре, — А ну-ка пойдем в милицию! — Он увернулся и кинулся бежать,

ныряя в толпе то вправо, то влево, как заяц спасаясь от погони. Часы остались у того человека и каждый день Дима ждал, что его арестуют, увидев милиционера, переходил на другую сторону, с остановившимся сердцем прислушивался к голосам внизу.

Гришке он не сказал ни слова, хотя и знал, что тот посмеется над его страхами. Он был уверен, что Гришка похвалит за то, что он украл часы и именно поэтому не хотел говорить. Был только один человек, которому можно было все рассказать, который все бы понял, не стал бы упрекать и стыдить. Он поверит, что Дима не преступник и не хочет быть дурным, просто иногда очень трудно удержаться и кажется, что теперь уж все равно. Дима представлял себе широкой лицо отца, его добрые карие глаза, крепкие объятия сильных рук, и скулил как щенок от тоски. Где он ? Почему он не едет? Война кончилась, товарищи в школе рассказывают об отцах и братьях вернувшихся с фронта. Может он ранен ? Может ему отрезали ногу и он не может прийти, а послать некого... Вдруг он лежит у своей матери на Остоженке ? Она злая, она нарочно не скажет...

22.

В провинциальный покой Малого Скарятинского переулка врывался шум новой жизни. Приходили какие-то люди с потрепанными портфелями, осматривали дома, что-то меряли. Прячась за занавеску, Елена Александровна следила за ними испуганными глазами.

В квартиру старого генерала вселили семейство из Белостока. Дети в засаленных платьях бродили по двору, ломали кусты, ползали по лестнице. Растрепанная женщина пронзительно звала их из окна.

Надо было спешно что-то делать. Аня достала броню на добавочную жилплощадь, Пашу переселили с ее сун-

дуками и юбками в гостиную. Но и этого было недостаточно — говорили, что комнаты будут мерять аршинами, вселять рабочих с окраин.

— Может это так, пугают, — рассеянно говорила Аня.

— Так вселили же вниз! — сразу с высокой ноты начинала Елена Александровна: — Тебе просто ни до чего нет дела! Ты представляешь себе, что здесь будут ползать эти ужасные дети и какая-нибудь грязная баба будет толочься в нашей кухне?! Для меня это конец, я этого не переживу, вот ты увидишь!

Но и Аня уже изменилась, она равнодушно выслушивала угрозы, не целовала, не успокаивала.

— Тебе совершенно все равно, если я заболēju, умру от разрыва сердца, сойду с ума! Только веселиться, только чтоб тебе самой было хорошо...

— Ах, мама, оставьте меня в покое! Вы жили? У вас были радости? Почему вы хотите, чтоб я ото всего отказалась и сидела здесь с вами?

— Мне целый день не с кем слова сказать! Если б у меня были деньги, я б наняла кого-нибудь приходить и разговаривать со мной. Я б еще поняла, если бы у тебя были порядочные знакомые, а то какие-то нувориши... Я видела этого типа, который тебя провожает, сплошной ужас! Ну, что у тебя с ним общего?

— Оставьте меня в покое! Мне двадцать шесть лет и я сама знаю что делать.

— Тебе все равно кто — были бы штаны!

— Как вам не стыдно, мама! Как вам не стыдно!

Елизавета Александровна высоко поднимала брови — Аня уходила все дальше, Аня отделилась от нее стеной. Дни делались все длинней, все скучней, читать она не могла — сломались очки, новые заказать было негде. Последняя колода карт растрепалась, обломались углы, она раскладывала их по двадцать раз в день, загадывала одно и то же — долго ли ей осталось жить, выйдет ли Аня замуж, вернется ли Дмитрий. Пасьянс упорно не

выходил. Но стоило изменить вопрос, спросить придется ли ей доживать в одиночестве, брошенной всеми, где-нибудь в богадельне, и карты, будто чудом, ложились на место.

Из дому она почти не выходила, сидела у окна, смотрела на улицу. Время ползло, часы не двигались. Даже Пашу нельзя было дозваться. Паша развела перед домом огород и пропадала там с утра до ночи.

— Паша! — кричала Елизавета Александровна: — Паша! Ты оглохла? Зову, зову, даже охрипла! Что у нас сегодня на обед?

— Что на обед? Известно что — суп картофельный.

— С мясом?

— Ишь, чего захотели! Откуда я его возьму, мясо?

— Неужели не можешь придумать чего-нибудь лучше? Суп и суп каждый день... Нет, подожди, не уходи! Посмотри, опять там этот мальчишка торчит, пойди, спроси что ему нужно!

Паша сердито всаживала лопату в землю и шла к воротам. На другой стороне улицы, прислонившись к забору, стоял подросток в мятой рубашке, в башмаках на босу ногу. Завидев Пашу, он выпрямлялся и медленно уходил вверх по переулку к Остоженке.

За обедом Елизавета Александровна рассказывала Ане, что на них готовится нападение, опять появился тот мальчишка, вид у него подозрительный, именно таких посылают грабители для наблюдений.

— Может доску хотел оторвать? — догадывалась Паша: — Да нет, кабы зима, а то теперь лето.

— Какую доску? Вечно ты с глупостями! Слушай, Аня! Нельзя же так легкомысленно относиться. Разве ты не слыхала, что на Плющихе убили целую семью? А теперь еще эти прыгунчики появились! Высотой до второго этажа, все в белом...

— Какой мальчишка, мама? Такой худенький, круглая мордашка? Он где-нибудь здесь живет, лицо знакомое...

В субботу, в середине июля Елизавета Александровна собралась к вечерне. Монастырь был рядом за углом, после службы она заходила к знакомой монахине отвести душу. Она даже говорила, что хочет переселиться в монастырь совсем и пусть они все живут без нее.

Она долго одевалась, смотрела в зеркало, поправляла длинную черную вуаль — траур по муже, который умер пятнадцать лет назад, а при жизни изводил ее нежеланием прилично устроиться.

В переулке не было ни души, медленно и торжественно звонили с монастырской колокольни. На мостовой между булыжниками пробивалась кудрявая травка, вспархивали и перелетали стайки воробьев, на другой стороне улицы, освещенные заходящим солнцем, блестели и переливались стекла окон. Елизавета Александровна шла медленно, с передышками, чтоб не утруждать сердце. Как ни ужасна была жизнь, умирать она не собиралась.

Вдруг неизвестно откуда появился вчерашний мальчишка и загородил ей дорогу. Она прижала к груди сумку, в которой были деньги на свечи, и беспомощно оглянулась. Сердце стучало и заходило. Лицо у мальчишки было серо-зеленое как перед обмороком, он беззвучно шевелил губами, будто не мог произнести ни слова.

„Немой! — догадалась она: — Они нарочно немых выбирают, чтоб не могли рассказать. Сейчас сорвет кольцо, повредит палец... надо было перчатки, пусть старые... Крикнуть? Никто не поможет, все боятся. Погрозить милиционером? Ударит!“

— Я, — пробормотал мальчишка хрипло, — вы... ни одного письма... он обещал...

„Сумасшедший! — с ужасом поняла Елизавета Александровна, — Господи, помоги, спаси! Хоть бы один прохожий!“

Со стороны Остоженки донесся смех, кучка молодых людей, толкаясь и громко разговаривая, вернула в переулок. Елизавета Александровна закрыла глаза и опустила на тумбу.

За все лето Сережа ни разу не собрался в Ненашево. Марья Михайловна умоляла приехать, отдохнуть, подышать чистым воздухом; закрыв глаза, он представлял себе большие, полные света комнаты, сырой запах земли и раздавленной травы, мирные звуки — мычание коров, лай собак, — и даже на день не решался оторваться от налаженного хода жизни.

В это жаркое, пыльное лето Сережа был счастлив. Каждый вечер, с зубной щеткой в руке, он с удивлением соображал, что опять пролетел день, а широкая, полноводная река течет и течет и нельзя ее остановить.

Раннее солнце золотило купол церкви, на грязно-желтой стене все выступы наполнялись светом, в углублениях сгущались синие тени. С улицы долетал шум — цокание копыт, фыркание грузовика, чьи-то быстрые, неровные шаги; внизу хлопала дверь, громко крикал дворник.

Все было прекрасно ! С медленной усмешкой Сережа вспоминал Ненашевского кучера, рассказывавшего как его угощали в гостях: подали щи — хорошо, потом подали лапшу — тоже хорошо, поели лапшу, подали баранину — тоже хорошо, принесли крупеник . . .

Солнечный свет ложился квадратами на пол, неровными мазками на штукатурку стены. Он садился за скудный завтрак, приготовленный на стуле перед диваном, с удовольствием жевал хлеб, запивал чаем или молоком, а, если не было ни того ни другого, горячей водой. Тоже хорошо. Потом переходил к столу и вынимал из ящика свою рукопись. На несколько часов он переставал видеть и слышать.

После полных, насыщенных утренних часов не так уж трудно было писать квитанции, составлять отчеты, заполнять анкеты. Под вечер он выходил на улицу. Жара спадала, усталые люди тащились с мешками и кошёлками домой, в открытых окнах гремела посуда, кричали

сердитые голоса. Он шел к реке и садился на выбитую землю набережной. Вода была как серебро, чуть тронутое чернью вниз по течению. Медленно, плавно скользила лодка; ныряло похожее на крокодила бревно; косяком проплывал мусор в блестящих нефтяных бликах. На западе, где опускалось круглое, без лучей солнце, колыхалось расплавленное золото, тяжелое, густое оно плескалось, не смешиваясь с водой. По бледному вечернему небу медленной чередой проходили круглые, плотные облака.

Он мысленно возвращался к исписанным листам, лежавшим в его столе, находил вдруг удачное выражение, делал неожиданные открытия, но чтоб не переутомлять мозг, с усилием отрывался от соблазнительной работы, откладывал ее до утра. Все вокруг — птица летевшая с неподвижно раскинутыми крыльями, красное пятно в лодке скользившей по стальной воде — все имело к ней отношение.

Один за другими возникали полумысли, полувидения. Он думал о себе, о своем будущем, о славе похожей на пронизанный светом воздух, о таинственном мироздании, расчисленном с такой точностью, с таким совершенством. Кем? Для чего? О беспомощных, запутавшихся людях, брошенных на произвол судьбы, бьющихся в сетях, не видящих выхода. Как объяснить им, что половина их несчастий воображаемые, созданные ими самими, нежеланием посмотреть правде в глаза, упрямым отстаиванием своей правоты. Почему они предпочитают мучить других, терзать себя, только бы не уступить и не унизиться.

С сжатым сердцем он вспоминал Диму и свои неудачные попытки к нему подойти. Дима, доверчивый, ласковый мальчик, окружил себя стеной. „Мне ничего не надо, — говорил он, стараясь не смотреть на принесенные Сережей пакеты: — у меня все есть, я не голоден”. Только слепой мог не видеть, что он несчастен, что он делает отчаянные усилия чтоб не расплакаться. Но что

можно было сделать? Схватить в охапку, отогреть, заставить говорить? А вдруг это разобьет его последнее убежище — гордость и самоуважение?

Каждый вечер внизу, у перевернутой лодки, сидела молодая пара — он обнимал ее за плечи, она, закинув голову, смотрела ему в глаза.

Сереза думал о той, которая должна прийти и где-то медлит. Он воображал ее в воздухе, в ярком сиянии, как славу. Где она была? Может, в пробежавшем мимо трамвае или во встречном поезде по дороге в Ненашево? Они разъехались, он не успел вскочить, догнать, и вот она все дальше и дальше, и может быть, они никогда больше не встретятся.

Он не знал какая она и что она, он только знал, чем она не могла быть, что она не могла сказать или сделать. Иногда она воплощалась, приобретала твердые земные очертания — легкую походку, ласковую, задумчивую улыбку, две темных, блестящих косы. С бьющимся сердцем он готов был поверить, но глупое, пустое слово выдавало обман.

Или прав был английский философ, женившийся на сварливой, неграмотной женщине и научивший ее читать и играть на арфе?

За рекой садилось огромное, огненное солнце. Из соседней фабрики вываливалась шумная толпа женщин. Вытирая подолами потные лица, они рассаживались на примятой траве, перекликались, без стеснения, громко говорили о своих делах — о детях, о мужьях, о пайках. Иногда, заметив на Серезиной руке часы, спрашивали его о времени или заглядывали в лежавшую около него книгу.

— Заграничная? — спрашивал кто-нибудь, упрямо стараясь разобрать непонятные буквы: — Что они там про нас пишут?

— Здесь ничего про нас нет.

— Значит про себя, им тоже, поди, нелегко живется, — говорили они сочувственно.

— А вы откуда знаете?

— Ну, как же ! Мы много кое-чего знаем, — отвечали они уверенно : — Нам в обеденный перерыв лекции читают и картины показывают.

Возвращаясь домой он думал о том, как охотно люди верят всему, что им так или иначе приятно. Чужие несчастья, чужие трудности делают ношу легче. Может в этом весь секрет — дело не в том, чтоб иметь много или даже довольно, а в том, чтобы иметь больше чем другие.

В душный, жаркий вечер в начале июля он вернулся домой раньше обыкновенного. Собиралась гроза, огромная, черная туча нависла над городом, было трудно дышать. Люди сидели на ступеньках, тоскливо поглядывали на небо, дожидаясь, когда наконец разрешится давящее напряжение. Дворник стоял на улице, широко расставив ноги и засунув руки за пояс.

— Там вас особочка дожидается, — сказал он таинственно.

Сереза круто остановился. „Обыск !” подумал он, еще не разглядев усмешку на лице дворника.

— Какая особочка ?

— А вот поглядите !

— Сестра ?

— Нет, кое-что другое.

Перед дверью сторожки, в полоборота к нему стояла незнакомая дама. Он охватил все сразу — поворот головы, завитки волос на затылке, стройность тела.

— Сереза ? — сказала она, вглядываясь темными, от пушистых ресниц и от черных бровей огромными глазами : — Или теперь уже Сергей Владимирович ?

По голосу, потому что она сказала „теперь” и по особенному, ладонью вверх, движению руки он ее узнал.

— Нет, просто Сереза ! — сказал он смеясь : — Идемте ко мне, Аня ! Сейчас пойдет дождь, уже капает . . .

Она поднялась по крутой лестнице, вошла в комнату, не глядя по сторонам и не удивляясь, что он привел ее в дворницкую. Несколько минут она сидела молча, опустив голову и покусывая палец.

— Сережа, вы слышали что-нибудь о Мите ?

— Почему ? Что-нибудь случилось ?

— Не знаю . . . Вы скажите, когда вы его последний раз видели ? Он вам писал ?

— Тогда же когда и вы, а писать, он мне никогда не писал. В чем дело, вы что-нибудь слышали ?

— Да, но я не знаю, можно ли верить . . . Понимаете, вчера пришел к нам какой-то странный тип, говорит — офицер, но на офицера совсем не похож. Хорошо еще, я была в кухне . . . Воображаю что было бы, если б мама его увидела ! Говорит, будто он Митин товарищ, был в Добровольческой армии и бежал. Он уверен, что Митя погиб — в Новороссийске офицеров бросали в море, привязывали к ногам камни . . . Это слишком ужасно, я просто не могу об этом думать !

— Но сам то он бежал ? Дмитрий Дмитриевич так же мог бежать. Как он может знать . . . А что он еще говорил ?

— Спросил, нельзя ли у нас переночевать. Мне немало стыдно, но я право не могла — уж очень он какой то странный. А главное я боялась, если мама увидит . . .

В комнате стало совсем темно, в открытое окно ворвался порыв ветра, сдул газету с подоконника, пахнул свежим дыханием. Во дворе ветки деревьев завернулись в одну сторону.

— Как же я пойду ? — растерянно сказала Аня.

— Ничего, скоро пройдет. Хотите я зажгу свет ?

— Нет, так лучше. Как же вы живете, Сережа ?

— Как видите, сделался дворником. А вы в театре ? Дмитрий Дмитриевич говорил, а я так и не собрался посмотреть.

Тяжелые капли дождя ударили в окна, потоком обрушились на крыши домов, на мостовые и тротуары, смывая грязь и сор, ломая ветки, срывая листья с деревьев. Над городом прокатился грохот, со смехом и визгом кто-то пробежал мимо сторожки.

Сережа захлопнул раму и остановился у окна захва-

ченный бушующей страстью освобожденных сил природы.

— Аня, вы знаете, ведь я был в вас влюблен, — сказал он неожиданно ; — и долго... Каким-то образом это испортило мне аппетит — все другие кажутся не то.

— Вы думаете, я „то“ ?

— Вы были очень похожи.

Он подошел к дивану очень близко, запах духов ударил ему в голову. Ровный, настойчивый шелест дождя вдруг оборвался, в наступившей тишине полыхнула молния, синим светом озарила ее поднятое в ожидании лицо, протянутые ладонями вверх руки.

— Вы боитесь грозы ? — пробормотал он с усилием и, качнувшись, отошел к окну.

— А вы боитесь жизни ! — сказала она с легким раздражением : — Вы просто трус ! Я люблю смелых людей, я люблю все красивое — красивых людей, музыку, цветы...

— А что делать с жалким, уродливым, безобразным ? — спросил он своим обычным спокойным тоном.

— Я прохожу мимо и стараюсь не смотреть. Разве грех любить прекрасное ? Я люблю людей...

— Вы их не любите, вы только хотите, чтобы вами восхищались, любуетесь своим отражением в чьих-то глазах. А прекрасное... Все зависит оттого, что вы называете прекрасным ?

— Искусство прекрасно, любовь прекрасна... Вы знаете, когда я влюбилась первый раз ? Мне было три года — никто не верит, но это правда. Он был китаец. Около нас был магазин, там всегда была полутьма и пахло чаем, шелком и еще чем-то таинственным. Китайцы были важные, медленные, в синих шелковых одеждах, с длинными косами, с черными шнурками на концах. Когда горничную посылали за чаем, она тащила меня с собой — должно быть она их боялась. Самого героя я помню плохо, больше всего мне нравились его туфли с загнутыми вверх носами. Я думаю, у него было красивое

имя, похожее на пагоду, но горничная звала его просто Николай Иванович. Когда я на него смотрела, у меня темнело в глазах. Мой брат и другой мальчишка вталкивали меня к китайцам с заднего хода и, когда я возвращалась с шоколадом или печениями, отнимали у меня добычу. Мне не жалко было сладостей, но я редела. Потом китаец исчез, а товарищ брата, грубый мальчишка, стал вдруг таинственным и притягательным. Это так весело! Особенно вначале. Потом всегда одинаково — все начинают смотреть как на свою собственность, воображают, что я им принадлежу. А я не хочу никому принадлежать!

— Все это пустое, Аня! Вам дана — всем нам дана — золотая монета, а вы меняете ее на копейки...

— Лучше зажать в кулак и не тратить, как вы?

— Лучше. Жизнь серьезней, сложней и прекрасней, чем вы ее делаете.

— Ах, бросьте вы эту серьезность! Не все ли равно, если доставляет удовольствие? Все вы, Чернышевы, одинаковые. И чего вам надо? Бедный Митька! Это Елена его погубила, он бы жив был теперь!.. Ну, я пойду, дождь, кажется, перестал.

— Я вас провожу.

Вымытые дождем тротуары блестели, с деревьев капало, воздух был чист и свеж.

— Надо веселиться пока можно, — сказала Аня: — Подумайте, через двадцать лет мы будем стариками. Почему я должна отказываться? Знаете, наш режиссер, ему уже лет сорок, но он очень интересный — я уверена, что он ко мне равнодушен... Он ничего не говорит, но каждый раз когда я прохожу, он открывает дверь и что-нибудь спрашивает, просто чтоб задержать. Вот именно это время, когда еще не знаешь наверное, только угадываешь...

В Малом Скарятинском переулке было темно от нависших деревьев, пахло сыростью и душным, теплым ароматом цветущих пионов.

— Вы уверены? — спросила Аня, протягивая руку.
— В чем?
— Что я не „то“? — сказала она и засмеялась:
— Значит, прощайте опять на десять лет.

24.

В сентябре начались дожди. В Москве пахло землей и прелым листом, в нетопленных квартирах негде было просушить измокшую одежду. Началась эпидемия новой болезни, с высокой температурой и страшной слабостью. Люди продолжали бороться — разбирали разрушенные дома, тащили к себе доски и кирпичи, складывали печурки, ездили за сотни верст, чтоб привезти полпуда картошки.

В газетах писали, что опять работают фабрики, из заграницы идут тысячи пудов сахара и консервов, но неудержимо ползли слухи о страшном, небывалом со времен Грозного, голоде на Волге, говорили, что люди умирают там на улицах и уже началось людоедство.

По всей стране вспыхивали мелкие восстания, но знали о них только на верхах партии. Вооруженные, неорганизованные выступления подавлялись местными средствами.

Раза два пожар разгорался и уже нельзя было удержать слухов. На лицах появлялось новое выражение, казалось, люди прислушивались к далекому шуму.

Каждое утро на стенах домов расклеивали новые воззвания: „Граждане! Сохраняйте спокойствие! Белогвардейские банды пытаются захватить власть, но рабоче-крестьянское правительство зорко следит за опасностью. Помните, что за распространение ложных слухов полагается смертная казнь. За каждого убитого коммуниста будет расстреляно двести заложников!“

По рукам ходило письмо, написанное крестьянами Тульской губернии Ленину: „Мы, трудящиеся несколь-

ких волостей, числом более тысячи, собрались здесь, чтоб обдумать положение. Просим вас обратить внимание на местное самоуправство властей . . .” Письмо переписывали, обсуждали — одним казалось, что оно слишком доверяет добрым намерениям правительства, другие считали, что и так оно вызовет гнев и кару не только на тех, кто писал, но и на всех вообще.

С холодными днями на улицах Москвы появилась целая армия оборванных, с измазанными лицами, подростков. Они наводнили базары и вокзалы, жалобными голосами просили милостыню, вырывали у зазевавшихся прохожих деньги и вещи. По вечерам стало опасно выходить на улицу. Пригородные огороды были расхищены, железнодорожная охрана махнула рукой на безбилетных пассажиров. Со всех сторон поступали жалобы и просьбы о помощи.

Облавы ни к чему не приводили. Как звери чующие охотников, безпризорники передвигались в другую часть города. Но и те, которых удавалось поймать и направить в детские дома, представляли не меньшую задачу — они не хотели подчиняться, издевались над воспитателями. Были даже случаи нападений — заведующий детским домом на Долгоруковской был найден в кладовой с девятью ножевыми ранами, пожилая учительница таинственно упала из окна. В ЦК поступило донесение, что воспитательница показательного детдома принуждена ради спасения от массового нападения пускать к себе по ночам главаря правонарушителей.

Экстренные совещания следовали одно за другим. Члены комиссий объезжали город, делали доклады, правительство выносило постановления и писало указы. Число бездомных детей росло.

В конце сентября, в ненастный, холодный день Елена Чернышева вышла из дома в подавленном настроении. Все чаще выпадали минуты, когда ей казалось, что усилия напрасны, дело не движется, сопротивление растет. Она упрямо продолжала убеждать себя, что отступить нельзя,

людей надо перевоспитать, открыть им глаза, но неприятный сквознячек пробивался откуда-то снизу, расплзался как спущенные петли в вязании.

Она шла опустив голову, засунув руки в карманы, занятая навязчивыми мыслями, не замечая переходила улицы. Неужели Любецкие правы и все дело в ее личной жизни? Одиночество, постоянная усталость, сосущая пустота в желудке, Дима с его непослушанием и ненавистью... Почему? Что она ему сделала? Утром он нагрубил ей без всякой причины, только потому, что она напомнила, что пора итти в школу. А как он ответил? Учителя никуда не годятся и все равно там ничему не учат... Мальчишка! Что он понимает? Конечно, надо было сдержаться, не выходить из себя... Но эта его противная манера надувать губы и хмуриться, почему это так раздражает? Неужели он делается похож на Дмитрия? Такое же бульдожье лицо... Должно быть ему было очень больно — стоял вытянув шею, боялся шевельнуться. „Ты что, сапожником хочешь быть?“ Тоже ошибка! „Ну что ж? Буду сапожником, ты ж говоришь... ай!“ Она перекрутила его ухо сильней. „Кто, кто учит тебя всем этим глупостям?“ „Никто не учит, все говорят, что раньше лучше было!“ Она выпустила ухо и схватила его за плечи. „Кто говорит? Кто говорит?“ — повторяла она бессмысленно, будто это действительно было важно. Она трясла его все сильней, впивалась в слабые, жидкие мускулы, голова у него моталась как привязанная. Как он крикнул вдруг! „Уйди! Не смей! Я тебя ненавижу, ты даже не мать, матери такие не бывают... И папа тебя не любит, он не хотел тебя видеть!“ Даже странно, как сразу ослабели руки и ноги, хорошо, что кровать была близко. Неужели правда? Ведь говорил же кто-то, что видели Дмитрия на улице... Дима сидел на диване, опустив голову, разглядывал свои ноги в дырявых носках. „Ты когда-нибудь моешься?“ Голос сорвался, но он не заметил. „Конечно моюсь.“ „Покажи руки, покажи! Со-

вершенно черные, противно смотреть!” Равнодушно и покорно он поворачивал руки ладонями вверх и вниз, будто нарочно издевался. Совершенно как те рабфактовцы вчера. „У каждого должно быть отдельное полотенце!” — сказала она. „А где их взять?” — спросил нахальный парень. На полу был сор, окурки, грязные соломенные тюфяки, немытая посуда. „Смотрите как вы живете! Хуже свиней. Неужели трудно убрать?” И тот же мальчишка ответил за всех, ухмыляясь: „А у вас верно очень чисто? Поживите как мы — тридцать человек в одной комнате!” Вообще вчера был ужасный день. Хуже всего, что она стала раздражаться на всякие пустяки. Как с этим профессором... Почему она должна помогать ему выехать за границу? Конечно, она сделала ошибку, не отказала сразу, когда он приходил с женой-певицей. Как он был поражен вчера, лицо посинело, губы тряслись, даже заикаться стал: „Вы же... вы же... зачем вы обещали? Мы все ликвидировали, распродали... Что мы будем теперь делать?!” Она старалась говорить спокойно, без раздражения. „Ничего я не обещала, я только старалась вам объяснить, что вы делаете ошибку. У нас скоро все наладится и во всяком случае там ваше положение будет в десять раз хуже, будете чинить мостовые. Мне казалось, вы поняли и согласились!” „Ну, знаете, это прямо что-то невероятное! Культурный человек и так... так...” Голос у него был противный, визгливый, на ногах калоши прямо на чулки... нарочно, чтоб показать — вот, мол, как живут ученые в социалистической республике...

Елена остановилась перед длинным желтым зданием городской милиции. Здесь, после вчерашней облавы, были собраны сотни две безпризорников. В низком, полутемном помещении было душно и жарко тяжким животным теплом, в нос ударила вонь. На нарах, занимавших почти всю комнату, сбились плечом к плечу ободранные фигуры детей и подростков. В середине что-то происходило — все смотрели туда.

— Дети, слушайте!

Равнодушные, насмешливые лица неохотно повернулись в ее сторону.

— Я знаю, вам здесь тесно и плохо, но вы потерпите немного — дня через два вас распределят по детским домам. Мы сделаем все возможное, чтоб наладить вашу жизнь. Вам выпала тяжелая доля, ваши дома разрушены, многие из вас потеряли родителей, но теперь не прежнее время, когда люди погибали без помощи, теперь каждый человек имеет право на образование и работу. Правительство напрягает все силы, чтоб спасти молодое поколение, вы наше будущее, ради вас происходит ломка старой жизни. Но и вы со своей стороны должны постараться стать честными людьми и помочь нам строить новый мир!

— Ишь, брешет ловко старая псовка! — равнодушно пробормотал кто-то.

— Папироски есть? — прошептал под ее локтем детский голосок.

Не обращая на нее внимания, один за другим они поворачивались туда, где посредине нар было очищено небольшое пространство.

— Что они там делают? Играют в карты?

Начальник милиции пожал плечами.

— Так надо остановить, отнять!

— Попробуйте! Общайте, все равно ничего не найдете. Да и какой вред? Надо же им чем-нибудь заниматься!

На улице она с облегчением вдохнула сырой, холодный воздух. Тяжелые, темные с белыми отворотами тучи опустились еще ниже, ветра не было, над городом висела напряженная, угрожающая тишина.

Один за другим она объехала три детских дома. Везде было одно и то же. Национализированные особняки быстро превращались в трущобы — стены были ободраны, исписаны ругательствами, стекла выбиты, мебель поломана. Дети бродили без всякого дела, играли на полу в карты, ссорились. Руководители оправдывались — одеж-

ду обещали еще весной, продукты задерживают, прислали какао, молока нет, сахара нет, никто не хочет пить.

— Надо заставить! Какао очень питательно. Почему нет занятий?

— Вот получим бумагу и карандаши, тогда начнутся уроки. Учебников нет...

— Учебники будут, уже приступили к печатанию.

Только в Сыромятниках был относительный порядок. Ребята босые, но в чистых, сшитых из мешков рубашках, в классах гул голосов.

— Налаживаем мастерские, — рассказывала заведующая-большевичка: — трудно достать инструменты, получили две швейные машины, одна еще как-то работатет, другая никуда! Среди преподавателей есть хороший столяр, мальчики интересуются, но нет ни гвоздей, ни молотков, один топор на всю школу... С обувью плохо, да оно может и лучше — не убегут.

— Но почему они бегут? Все таки здесь тепло и кормят...

— Привыкли к свободе, к независимости... Да ничего, справимся!

— Скажите в чем секрет — почему у вас порядок, а в других домах...

— Да, я знаю! — перебила учительница: — С теми детьми, которых переводят к нам, очень трудно справиться. Гораздо легче если прямо с улицы. Я думаю, прежде всего, недостаток веры у руководителей. Может они даже не сознают, но внутренне сопротивляются! И, конечно, многие из них случайные люди, не педагоги. У нас хороший хор. Хотите послушать?

Детей выстроили в зале. Ровные серые ряды напомнили Елене тюрьму. Она с усилием прогнала нелепую мысль. Громко и равнодушно дети спели новую песню:

Там за горами горя

Радости край непочатый...

Вечером, на заседании, Елена заснула — первый раз в жизни действительно заснула в публичном месте. Хорошо еще, что шел горячий спор и никто не заметил,

только сосед, на которого она повалилась, осторожно поддержал ее под локоть.

— Э, товарищ, до чего вы себя довели ! Разве можно так . . .

— Ничего, ничего, — пробормотала Елена, встряхивая головой : — Простите, пожалуйста !

Он не ответил, но до конца заседания осторожно на нее поглядывал и вместе с ней вышел на улицу. Уже в подъезде слышен был шум дождя. Тротуар перед домом блестел и переливался, под фонарем, в мутном свете вскипали и лопались огромные пузыри, струи воды шелестели по мостовой, дробно барабанили по крыше киоска.

— Вам куда ? — спросил он нерешительно : — Я вас подвезу.

Елена вскинула голову и взглянула на него с удивлением. — небольшой, в военной шинели, правильное, невыразительное лицо.

— Простите, не могу вспомнить — я вас где-то видела.

— Сейчас рядом с вами сидел.

— Нет, раньше. Вы, кажется, товарищ Сивков ?

— Он самый. Вот на углу моя лошадь. Садитесь !

— С какой стати ? — возразила она, обходя лужу :
— Может вам совсем в другую сторону.

— Ничего, подвезем.

Ехали молча. Сивков не мог придумать с чего начать разговор, Елена, не обращая на него внимания, думала о своем. На Театральной площади блестела под фонарями вода, на минуту осветило набухшее сукно на спине кучера, Еленины мокрые туфли на передке пролетки.

— Как же вы это так без калош ? — прочистив горло, спросил Сивков : — Неужели все пешком ?

— Смотря куда, — возразила она, подбирая под себя ноги : — Если близко пешком проще. Я не люблю, чтоб меня ждали.

Помолчали опять.

— Давно в Партии ?

— Очень давно, я еще в гимназии была.

— Как же это мы никогда не встречались ?

— Я за границей жила, в Женеве, потом в Париже.

— А мне не пришлось, — сказал он, подумав : — И был случай, посылали меня от нашей группы, а я постеснялся, заробел. Как, думаю, без языка ехать, дурак дураком . . .

Можно было объяснить, что все было организовано, никаких трудностей не предстояло, но говорить не хотелось. Да и какое ей было дело до чужих самолюбий . . . Опять закружилась голова. Что она ела сегодня ? Только чай в Сыромятниках. Дома ничего нет. Хорошо еще, если Дима спит — говорить с ним нет сил.

— Воспитание трудное дело, — сказала она, поворачиваясь к Сивкову и глядя на бежавшую по его носу струйку дождя : — Я всегда верила, что только общественное воспитание может создать нового свободного, сильного человека — взять детей у родителей, дать им с детства правильную установку . . . — Но почему мы сталкиваемся с такими трудностями, почему не можем наладить ? Конечно, нет учебных пособий, нет продовольствия, а главное нет воспитателей, которые понимали бы наши задачи. Ведь эти дети в каком-то смысле будто нарочно созданный для нас материал — родителей у них нет, с прошлым они не связаны . . . Если б только были люди способные взяться за дело правильно . . .

Сивков поморщился и вытер лицо мокрой ладонью.

— Разговору много, а толку мало, — заметил он хмуро : — Что они понимают, эти ваши воспитатели ? Дети, дети . . . А какие они дети ? Здоровенные парни, через огонь и через воду прошли . . . Может с маленькими они справятся, а для этой шпаны надо других !

— А где их взять ? Много ли образованных людей, которые хотят работать ? Почти все саботируют.

— Какое тут особое образование — читать, писать умеют и ладно. Много ли этой шпане нужно !

„ Все свое образование в нос суют, подумал он неприязненно, а сами ничего не умеют. ”

Пролетку встряхивало, Елена машинально хваталась за ободок козел, смахивала с лица щекочущие капли воды. Снова, как утром, ее обступила несокрушимая стена, пробить которую она была не в силах. Дети смотрят как волки, не верят, не хотят никакой помощи. Они знают лучше, мы им ненужны. А рядом с ней член партии, рабочий — что у нее с ним общего, разве они понимают друг друга?

У Никитских ворот она очнулась.

— А у вас самого дети есть? — спросила она, возвращаясь к действительности.

— Есть парочка — сын до дочь.

— Что ж, слушаются они вас?

— А как же они могут не слушаться? Да они в деревне, я уж третью зиму там не был. Сыну четырнадцатый год пошел с Благовещения, должно быть большой стал. Николаем зовут, Николай Андреевич...

— Учится?

— Зимой учится, летом работать надо.

— Может в этом все дело! У меня тоже сын. Он хороший мальчик, но я прямо не знаю, что с ним делать — учиться не хочет, лежит на диване...

— А супруг жив?

Она прищурилась и откинула голову.

— Мы разошлись, — сказала она холодно: — Ну вот и приехали, спасибо!

— Значит будем знакомы, — неловко пробормотал Сивков, протягивая мокрую руку: — Может когда в театр? Нельзя же все работать...

Елена усмехнулась и не ответила.

25.

Около своего дома Сивков отпустил кучера и, осторожно обойдя лужу, стал подниматься по выбитым каменным ступенькам лестницы. Стены были пропитаны

едкой кошачьей вонью, от выставленного за двери мусора пахло гнилью. Кирпичный трехэтажный дом когда-то казался ему богатым, теперь он мог бы получить квартиру получше, но переезжать ему не хотелось — высокие комнаты с огромными окнами были не ко времени. Правда, с тех пор как к Николаю Митрофановичу приехала жена, стало тесновато, зато было тепло и, когда бы он ни вернулся, его ждал горячий обед.

У кого-то были гости — нетрезвые голоса кричали, перебивая друг друга, мягко звенела гитара, женский голос пел знакомую песню. Раскачивая головой Сивков стал вполголоса подпевать.

На войну я с ватагой поеду
И разрушу там сто городов,
Потом к милой обратно приеду
И отдам это все за любовь...

Шумели в его квартире. Сивков нащупал обитую клеенкой дверь, нашел звонок. Пение оборвалось.

— Кто там? — спросил испуганный голос.

— Хозяин дома? — грозно крикнул Сивков.

Дверь распахнулась.

— Кум! Ах, провалиться тебе! У меня сердце закатилось — думала пожар...

Хозяйка, большая, нескладная, в широченной юбке, отступила к стене. Крошечная прихожая была завалена узлами и корзинами.

— Ты что людей пугаешь? — весело крикнул Николай Митрофанович: — Хозяйка, чайник грей, небось, голодный!

В горнице все было в беспорядке — венские стулья сдвинуты, на столе грязная посуда.

— Ну, вот знакомьтесь, — говорил хозяин, нескладно размахивая руками, — все свои, земляки — Андрей Иванович, верно слышали? тоже наш ломакинский, деревни Вешки, а это барышни, только что приехали, прямо с поезда, отца Василья дочка, Серафима Васильевна, а это ихняя подружка...

Светлая блондинка, с узкими глазками на скуластом

лице, улыбнулась неуверенно и заискивающе. Другая, угрюмая, темнолицая, молча сунула холодную руку.

— Ну, садитесь, куманек, закусите чем Бог послал. Вот хлеб деревенский, барышни привезли, колбаски немного осталось...

Тяжело переваливаясь, хозяйка суежилась вокруг стола, подставляла тарелки, убирала грязную посуду. Николай Митрофанович сидел расставив ноги, постукивал короткими пальцами по клеенке.

— Так какие новости, правда это насчет свободной торговли? Ты у нас орел, по небу летаешь, все знаешь, а мы люди маленькие, притулились в уголочку, нам много и не надо, сыты и слава Богу!

— Ох, и хорошо бы! — вмешалась хозяйка: — Вот как бы хорошо... А то как же так, вовсе до нитки дошли, ничего нет, лавки закрыты...

— Ты лучше молчи! — строго оборвал Николай Митрофанович, — не твоего ума дело, вопрос государственный. Баб допустить, вся революция прахом пойдет!

— Мера, собственно, временная, — сдержанно заметил Сивков: — наладится аппарат и опять...

— У нас в райсовете разговоры идут — говорят, ненадолго это все, скоро конец, будто царская власть вернется, придется ответ давать. А я так скажу — что с нас взять? Это которые наверху отвечать будут, а мы что прикажут, то и делаем.

— Никто отвечать не будет! — с досадой оборвал Сивков: — Нечего пустое болтать!

— А я что? Я ничего, это другие... Много таких развелось, и откуда поналезли неизвестно, увидели наша взяла и повалили записываться. Я, — говорит, — большевик убежденный. А сам оглядывается как бы не засыпаться да вовремя удрать. Есть у нас один, без году неделя, а уж вперед пролез. И не то что образованный. а так, можно сказать, нахал бессовестный, сболтнет что-нибудь, видит не подошло, сейчас перевернется, я, мол, не то сказал, вы не так поняли. Конечно, из старых бывают тоже. Вон наш председатель, дом, говорит, ку-

пил в Берлине, тетка у него там, что ли. Здесь нельзя, так они там... Нет, которые знают как пробиться, да еще если с образованием...

Сивков оттолкнул тарелку и оглянулся. Хозяйка вышла, девицы прикурнули на стульях у стены, черная сидела прямо, свесив голову на грудь, блондинка прислонилась к ее плечу.

— Я тебе одно могу сказать, я ведь их знаю, которые наверху. Бывало я их за Бога почитал, а теперь... даже обидно! Говорить то они горазды, а на деле хуже детей. А нам ходу нет! Почему? Думаешь, мы дураей людей? Ничего подобного. Просто привыкли шею гнуть, дорогу уступать. А без них мы бы давно все наладили. А то смотри — развесили на станциях объявление „ Не пей сырой воды! ” А тут, понимаешь, и сырой то не достанешь, не то что кипяченой. Завели бы баки и писать не надо! А то вон сейчас — три часа волынку тянули, а до дела не договорились. Только и слышно: мы, де, так, а вы, де, этак, да надо лаской, нельзя кричать, надо понимать какая у них, у беспризорных, душа. А чего понимать? Согнать их всех в казармы, приставить к ним красноармейцев, которые раненые, к труду неспособные. Хочешь жрать, сукин сын? Работай! А то посадят их в детские дома, а они бегут как тараканы во все стороны. Учительницы конечно боятся, разве им справиться? Один зав обужу отнял, ну, ребята зиму просидели, а как весна пришла, все наутек, ни одного не осталось. А в другом доме заву голову проломили...

— И не говори! Что только на свете делается? — опять вмешалась хозяйка, вытирая двумя пальцами бесформенные, растянутые губы: — Иду я вчерашний день по улице, а впереди какая-то тоже из простых, в платочке, хлеб несет, с почты что ли, он хоть в холстине, а видать каравай большой... Что ж вы думаете? Ну, прямо из-под ног и откуда взялись — ума не приложу! Я так вот здесь, а эта женщина впереди немного, а они прямо промеж нас — рожи черные, углем намазаны, годов четырнадцати, не боле, а у одного нож! Ну, жен-

щина, конечно, увидела и хлеб бросила, только бы жизнь спасти, вот как ! Ох, барышни то наши разморились ! Постелить им, что ли . . .

— Плохо говорят в нашей стороне, — покосившись на девиц сказал хозяин, — голодает народ, хлеб не родился. Вот приехали работу искать, все-таки хоть паек здесь . . .

Хозяйка раздвинула стулья и принесла тяжелый матрац. Николай Митрофанович покрутил головой.

— Не знаю, а мне думается что-то не так . . . Я только тебе говорю, мы свои люди, другому бы я не сказал. Иной раз обидно делается. Все-таки я с девятьсот пятого в Партии . . . Ждали мы, ждали, а выходит мы вроде как для других жар загребали. Не знаю, или я не умею, или совесть не позволяет . . . Ведь другие как-то устраиваются ? А я как был, так и есть ! Бывало хоть купишь чего или в трактир сходишь . . .

— Ну, так рассуждать тоже нельзя, — возразил Сивков : — Если каждый будет только о себе думать, толку мало будет. Ждать надо пока все наладится . . .

Он замолчал, рассеянно глядя на отблеск света в стакане.

— А что устраиваются, это ты напрасно, — сказал он, поднимая голову: — Есть и такие, да не все ! Вот я сейчас подвез одну с собрания, идет, понимаешь, без калош, ботинки хлюпают, пальтишко — фунта хлеба не дадут. А не то что кто-нибудь так, видно что самостоятельная и все к ней с уважением, и в Партии давно.

Николай Митрофанович недоверчиво покачал головой.

— Бывает, конечно, — согласился он неохотно, — но это, я так скажу, вроде как блажь ! Кому какая польза, если простуду схватишь ? Ну как, достал ? — спросил он, понизив голос.

Сивков нахмурился.

— Ты чего ? Я тихо, никто и не услышит, а и услышит, что они понимают ? Да чего ты так опасешься ? Все делают, без этого невозможно. Если б мы воровали

или что... мы не как другие, безо всякой совести. А что правда то правда — деньги то ничего не стоят, что ж их беречь. Хорошо бы золота достать, золото самое верное, а долларчики будто и крепки, а там и полетят как наши царские. Покупают тоже вещи золотые, а еще бриллианты — наш председатель показывал. А по мне что бриллиант, что стекло... Один человек часы предлагал, солидные, да завод сломан, только что так носить для форсу — красивая штука!

— Ты бы болтал поменьше, — хмуро заметил Сивков: — Дураков и в партии много, есть такие без всякого соображения — ни себе, ни другим, или по зависти донесут... Завтра придет один человек, — прибавил он помолчав, — могу для тебя купить. Только у него доллары, золотом он не занимается.

— А вдруг фальшивые?

— Смотри сам! Я тебя не уговариваю — риск всегда есть.

— А ты то купишь?

— Может возьму немного, — уклончиво ответил Сивков.

26.

Деревня тихо шевелилась, укутывалась на зиму. Москва была за горами, за долами, Москва голодала, да всех не накормишь, своя рубашка к телу ближе. Урожай был плохой, после сдачи продналога хлеба не осталось и до весны. Спекулянты больше не приходили. На станции в кооперативе не было ни соли, ни сахара, ни керосина, но без этого можно обойтись, был бы хлеб. Сахар баловство, ужинать можно при лучине, только с солью плохо, да, говорят, в старину ели и без соли. Обходились и без мыла — стирали щелоком, мылись чистой

водой. Оставили бы их в покое, прожить можно и без города.

На Покров в Ненашеве был престол. По всей деревне пахло самогоном и жареным мясом, готовились хоть раз наестся как следует, наверстать скудость пустых щей и картошки.

У Кольчевых, как почти у всех, были гости — Николаева теща и деверь, мальчишка с гнилыми зубами и бегаящим взглядом. Теща, вдова мелкого лавочника, уже успела осмотреть все хозяйство и теперь соображала на что лучше обменять привезенный керосин.

Обед был праздничный, длинный — ели щи, лапшу, жареную, плававшую в жиру баранину. Тарелок не было, кости клали перед собой на стол, зато были хорошие, почти одиноковые вилки. Была и водка, но непривычная, обильная еда пьянила и без вина.

Молодая сидела боком на одной табуретке с Николаем, смотрела вниз себе в колени. Ей было стыдно за мать, она видела, что та давно сыта, но продолжает есть через силу, про запас. Стыдно и за Федосью с ее подоткнутыми юбками и темным лицом, с которого не сошел еще загар.

Иван Михайлович шутил, разливал самогон по стаканчикам, подносил гостям и молодым. Наташа к обеду опоздала. Ни на кого не глядя, она села на край скамейки и взяла ложку.

— Чего толкаешься? — проворчал Максим, нажимая ей в бок локтем: — Ишь расселась, подвинься!

Она молча отодвинулась на самый край.

— Барыня какая, подумаешь! Интеллигенция...

— Скоро уеду, место опростаю, — сказала она тихо.

— Уехала одна такая...

К концу обеда Иван Михайлович примолк и перестал улыбаться. Он весь перекосясь на одну сторону и целую минуту не мог передохнуть — опять зажало щипцами в боку. Никто не обращал на него внимания. Федосья подала на стол крупеник, но все были уже сыты, и молодая пошла к себе на холодную половину ставить самовар. Ее

мать продолжала сидеть за столом. Она вертела в руках вилку, старалась разглядеть большие, переплетенные буквы.

— Много дали? — спросила она осторожно.

Федосья не ответила, сморщив лицо она жалостно смотрела на мужа.

— Ты бы лег, никто не осудит.

— Из чего ж осуждать, — заискивающие согласилась мать молодой, — небось, все свои...

Придерживая бок он с трудом влез на печку и вытянулся на горячих кирпичах. Сейчас же стало хуже, будто все внутренности навалились в одну точку. Он перевернулся на другую сторону, но и боль перекатилась, заломило спину.

Поглощенный то подступавшей, то утихавшей болью он не заметил как гости ушли в другую избу пить чай. Федосья тыкалась по избе, гремела посудой, выплескивала воду в лоханку. Наташа тоже была там, он слышал шелест ее платья, легкое дыхание.

— Куда это ты собираешься? — сердито спросила Федосья: — А скотину кто будет поить? Уберешься, тогда иди!

— Максимка напоит. Меня не будет, все ему придется делать.

— Куда это ты денешься? Чего зря трепаться!

Наташа не ответила. Хлопнула дверь. Иван Михайлович задремал.

На улице стояла глубокая осенняя тишина. Капало с деревьев, блестела мокрая кора, внизу над речкой повис туман. Посреди дороги ребяташки играли в бабки. При каждом ударе все кидались вперед, отталкивая друг друга; вспыхивал горячий спор. На крылечках нарядные девки грызли орехи и подсолнухи. Не глядя Наташа чувствовала на себе их насмешливые глаза.

У моста ее обогнала тележка на железном ходу.

— Эй, красотка, садись, прокачу! — крикнул незнакомый парень.

Она усмехнулась и покачала головой. Дом Палоч-

киных, один во всей деревне под железной крышей, стоял на бугре. Около нового амбара моложавая жена Семена подбирала с земли щепки.

— С праздником вас ! — крикнула Наташа.

Баба неприязненно покосилась и не ответила. На крыльце мальчишка-подросток загородил ей дорогу. Из избы доносился злой голос Семена, он на кого-то сердился, кому-то выговаривал. Наташа толкнула дверь. Семен сидел на лавке боком, перекинув ногу на ногу и насупившись смотрел на мать.

— А, Наталья Ивановна ! — сказал он шутливо : — Ну, заходи, заходи ! Что ж ты решила ?

— Решилась, еду.

— Вот и ладно, молодец девка ! Завтра утром соберайся чуть свет.

— Ах, и смелая ж ты, отчаянная, — нараспев притворным голосом, заговорила Арина : — Да как же это ты не боишься ?

„ Вот и эта тоже, — подумала Наташа, глядя в злые, зеленые глаза старухи, — что с ними ? ”

— В Москве бояться нечего, — ответила она холодно, — я деревенской глупости больше боюсь !

Семен махнул рукой, будто отгоняя муху.

— И этого бояться нечего, мы им мозги скоро промоем. Мамаша, ты б ее угостила, чего я привез то !

Арина не двинулась.

— Куда ты убрала ? — спросил Семен, поднимаясь.

— Принесу, принесу, чего спешить, небось праздник.

Повозившись за перегородкой, она поставила на стол блюдечко с крошечным кусочком халвы.

— Эх ! — с досадой произнес Семен и покрутил головой.

Его жена принесла охапку щепы, бросила на пол возле лежанки и села на лавку, поджав губы.

— Значит так, — громко, с вызовом сказал Семен, — хлеба бери побольше, паек дадут, да не сразу. И из одежды что там тебе требуется . . .

— Я об этом не сумлеваюсь, только б работу найти...

— Работа будет, была б голова да руки ! Подружка твоя едет или боится ?

— Говорила что поедет, а там кто ее знает . . . Сейчас дойду — спрошу.

Она вышла из избы, завтра все это будет кончено, будь что будет, только не видеть косых взглядом и злых усмешек. Сердце стучало, в ногах была странная легкость. У Такуновых окна затянуло паром, нельзя было ничего разглядеть.

— Дома ? — крикнула она, толкая разбухшую дверь.

В избе было чисто прибрано, пахло свежим хлебом и горячими кирпичами. Нюшка одна, без всякого дела, сидела на лавке и зевала.

— Ваши где ?

— К Щербаковым ушли, там гости. Ты садись ! Наташа продолжала стоять.

— Знаешь что ? Я в Москву еду.

Нюшка вытаращила маленькие карие глазки и разинула рот. Вышитый крестиками платочек съехал с ее колен на пол.

— Как же так ? — пробормотала она растерянно :
— Когда ?

— Завтра утром, с дядей Семеном.

— А я ?

— Вот я за тем и пришла. Собирайся !

Нюшка побледнела, на лбу у нее выступили веснушки.

— Да как же так разом ? Разве я могу ? Они меня не пустят.

— Ну, опять двадцать пять ! Говорили мы с тобой, говорили, а как до дела дошло, ты на попятный !

— Я не на попятный . . . Как же они без меня справятся, нянька Катерина хворает, подождать бы пока оправится . . .

— Да она с покон веку такая !

— Ты не знаешь, она замуж шла, другой такой девки не было — пригожая, веселая . . . Ну, куда я пойду, кому я нужна ? Ты все таки молоденькая, грамотная . . .

— Дура! Оправишься — человеком будешь. Главное не поддавайся, как решишь, что ты виноватая, так и пропадешь! Разве твой грех, что ты с дядей Петрой живешь? Ведь он тебя силой заставил. Как только тетке Катерине не совестно, что она допускает!

— Больная она. Ребеночка жалко, вот что! И поглядеть на него не дали...

— Ну, вот и сиди тут, плачь! Ладно, хочешь ехать — едем, а не хочешь — я и одна могу. Бояться нечего, на фабрику не возьмут, в прислуги пойдем!

Нюшка тоскливо оглянула избу, чистые занавески, дорожки на полу.

— Не угодишь поди, я и взяться не знаю как... Здесь хоть не родной дом, а все свой угол, а там в срок не заплатишь, с квартиры сгонят...

— Небось, не сгонят! Дядя Семен говорит, на фабрике народ набирают, помещение полагается, а хлеба из дому возьмем.

— Дадут они, жди! В Москве народ с голоду мрет...

— На нас хватит.

— На фабрике знать надо как и что.

— Покажут. Да я тебя силой не тащу. Я одно знаю, мне здесь не житье — слова сказать не с кем. А уж в Москве там народу много. Хочешь ехать, собирайся пока их нет, мешок в сенцах схорони, а утром встань пораньше и прямо к нам!

— Да ведь догонят!

— Ничего не догонят, дядя Семен заступится. А дядя Петра, он что? Молодец против овец, а против молодца и сам овца.

Вернувшись домой Наташа разулась и в полосатых шерстяных чулках перешла в угол, где стоял ее сундук.

— Ужинать будешь? — зевая спросила Федосья: — Мы не ужинали, сыты. Отцу вон неможется...

Наташа молча вынимала из сундука аккуратно сложенную одежду.

— Ты что это, на улицу идешь? Чего молчишь, ай оглохла?

— Я в Москву еду, — негромко ответила дочь.

— Куда-а? Ты что, очумела?

— Ничего не очумела. Вы живите как хотите, а мне здесь делать нечего.

— Ты и впрямь рехнулась! Люди сюда бегут, а ты... Да ты там с голоду околеешь!

— Небось, не околею, — Наташа распрямилась — на печке было так тихо, будто там никого не было: — Плохо будет, назад приеду, — сказала она громко, — авось, тут недалеко!

— Да как же ты поедешь, в доме копейки нет, хоть недельку обожди, дай с мыслями собраться. Что ж ты там делать будешь? В прислуги пойдешь, что ли? Или думаешь сладко? Ты меня спроси, я жила... Да и кто теперь возьмет, господу обедняли, самим есть нечего.

Наташа складывала что-то в мешок и не отвечала. Федосья заплакала.

— Вот и вырастили дочку! Думали на старости утешение будет. Куда ты там денешься, где ты жить будешь?

— Дядя Семен обещался на фабрику определить.

Федосья заплакала громче.

— Ах, дура ты, дура! Да кто же на фабрику то идет, разве что самые последние, непутевые... Кто ж тебя тогда замуж возьмет? Так и будешь жить бездомная и голову преклонить некуда! Не даром говорится: не родись пригож, а родись умен. Сватали дуру, хорошие люди сватали — не пошла!

Наташа остановилась посреди избы, высокая, тонкая, смотрела на мать холодными, злыми глазами.

— Я вам раз навсегда сказала — замуж я не пойду. А коли пойду, сама себе подходящего человека найду. Сватали, сватали... Я не телка, чтоб меня на базар вести. Ты жизнь жила — тужила, а я по-своему попробую. Выйдет — хорошо, не выйдет — плакать не буду. Что мне здесь делать? Работать я первая, а что нара-

ботаю, другие распоряжаются. Жили одни, слава Богу, не голодали!

— Да ведь нельзя же, — захныкала Федосья, — папанька вон хворый, помрет — Николай хозяином будет...

— Хозяин какой! Были хозяева, а теперь нет.

— Где же это видано, чтоб девка распоряжалась?

— Не видано, так скоро увидите!

Наташа распахнула шкафчик.

— Хлеба дадите? — спросила она отрывисто.

— Куда ж ты поедешь, одна то? — не слушая причитала Федосья: — Где ты там притулишься? Долго ли злым людям обидеть?

— Я не одна.

— Да что он тебе, Сенька, товарищ что ли?

— Со мной Нюшка едет.

Федосья опустила плечи и открыла рот.

— Да ты вовсе очумела! — воскликнула она горестно: — С кем же это ты связываешься, с самой распоследней шкурехой! Что ж теперь люди скажут? Как я буду в глаза им глядеть?

— Вот только у тебя и мысли, что люди скажут! Кто они эти люди, что они знают? Что ж по-твоему Нюшка виновата, что ли? Ты лучше подумай, какая ее жизнь была...

— Небось, не хотела бы, не допустила. Подумать надо! Двух не то трех родила, а куда девала никто не знает. Ее за такие дела в Сибирь надо!

— Ты скажешь! Может пятерых? А дядю Петру куда? Неужели думаешь она своей волей? Видела ты, как она плакала, убивалась? А я знаю! Я б их из поганого ружья застрелила — и Петру и тетку Катерину!

Утром мать разбудила Наташу в темноте.

— Вставай! — сказала она сердито: — Хочешь ехать, так нечего валяться. У Палочкиных огонь зажгли. Я корову иду доить.

Дождавшись пока закрылась дверь Наташа подтянула чулки и перебежала к печке. В темноте, в душном

запахе прелой овчины, махорки и пота она нащупала лохматую голову. Дерюжка под волосами отсырела.

— Ты что, папанечка? — спросила она тревожно.

— Вспотел, дочка, — прошептал он, — жарко тут на печке.

— Папанечка, — упрашивала она, обхватывая его плечи и целуя, заросшие жесткими, курчавыми волосами, щеки, — папанечка, не убивайся! Я приеду, я письма писать буду...

Он молча гладил ее лицо жесткими, ласковыми руками.

— Папаня, ты не хворай, ты к доктору сходи! А я, как заживу денег, я тебя в Москву выпишу, там доктора хорошие, они тебя вылечат. Будем с тобой жить да жить, я замуж не пойду, я одного тебя на всем свете люблю, ты потерпи...

Сильными, молодыми руками она все крепче сжимала его трясущиеся плечи, стараясь передать ему силу и уверенность. Слезы текли по его горячему лицу, скатывались в бороду, капали на ее руки.

— Нет! — вскрикнула она: — Я не поеду, я тебя не оставлю!

На секунду он замер, перестал дышать.

— Собирайся, дочка! — сказал он слабым голосом и слегка оттолкнул ее от себя: — А я тут с делами справлюсь и, глядишь, сам приеду навестить. Эх, деньжат нет, нечего мне тебе дать! Было маленько, да мать на свадьбу выпросила. В самый бы раз тебе теперь.

Он осторожно изогнулся и сунул руку в печурку.

— Вот возьми, скушай! Мне Таня дала.

Горячей рукой он положил в ее сильную молодую ладонь две конфетки в слипшихся бумажках.

Утро было холодное, ясное. Солнце еще не всходило, но из-за леса веером расходились огненные, оранжевые лучи; на зеленях таяла изморозь, отливала серебром, вспыхивала разноцветными огнями. Деревня осталась позади, некоторое время еще доносились приглушенные,

будто из-под земли, звуки — ржание лошади, стук открываемых ворот.

Семен шагал длинными ногами впереди. Наташа в сапогах, в высоко подоткнутой юбке то отставала, то догоняла подводу. На телеге среди мешков и узлов сидела Нюшка, лицо ее распухло от слез, плечи были согнуты. Время от времени, передохнув, она снова начинала всхлипывать и причитать. Сын Семена, сидевший в передке, свесив ноги, поворачивал голову и усмехался.

Около станции, на широкой, укатанной дороге Наташа обогнала подводу и пошла рядом с Семеном.

— Все плачет, — сказала она, — боится догонят...

— Теперь не догонят. Да я не прятался, прямо к крыльцу подъехал, а она, дура, руками замахала, никуда, говорит, не поеду! Я уж ее силком посадил. Катерина в окно глядит, ни слова не сказала, да они и сами знают, что за такие дела бывает... А тебя как, пустили?

— А я спрашиваться буду? — весело ответила Наташа и, сунув руку в карман, нащупала липкие конфетки: — Дядя Семен, чего на меня ваши серчают?

Семен махнул рукой.

— А ты без внимания! Глупость это одна, бабье недоразумение...

Она не поняла, но спрашивать больше не стала — все это было позади, потеряло значение.

27.

Сережа столкнулся с Павлищевым на диспуте „Литература и действительность“. Зал был переполнен — ждали выступления известного поэта, говорили, что он болен и почти не выходит из дома.

Время шло, заседание не открывалось. От стен веяло ледяным каменным холодом, дыхание вырывалось струй-

ками пара. Сидевшие на эстраде люди в валенках и полушубках поглядывали на часы и качали головами. В задних рядах, занятых молодежью, от холода и нетерпения стали топтать ногами; впереди недовольно переговаривались дамы в потертых шубах и бородатые господа.

Наконец где-то хлопнула дверь, на эстраду вышел военный в длинной шинели и сказал что-то вполголоса председателю. Председатель пожал плечами и встал.

— Товарищи! — сказал он хриплым простуженным голосом: — К сожалению наш первый докладчик по болезни выступить не может.

— Громче! Громче! — закричали в задних рядах.

Он потер горло рукой в шерстяной перчатке и обвел глазами зал.

— Считаю своим долгом отметить отрядный интерес к литературным проблемам в новой обстановке. Искусство, бывшее во все времена отражением классово-борьбы, в настоящее время приобрело особое, решающее значение. Мы живем в эпоху крушения старого мира, мы живые свидетели истории — создания нового искусства, новой морали, нового человека! Перед нами огромная задача — литература ответственна перед народом. Только теперь открылись двери для свободного творчества. Буржуазный писатель был связан цензурой, необходимостью угождать капиталистическому обществу, ему приходилось лгать и подделываться, наряжать мелких эгоистических людей в героические одежды, хотя в душе он их презирал. Наша новая действительность дает писателю богатый материал, наша жизнь прекрасна, полна действия, новый писатель может без страха выбирать своих героев — в каждой газете, на каждом собрании он видит нового, свободного, гордого человека. Новый писатель не прячется на задворках, как прятались буржуазные писатели, он участник политической жизни, он с радостью отзывается на указания партийного руководства. Впереди небывалый расцвет литературы и искусства, миллионы талантов, задавленных царским режи-

мом, расцветут небывалым блеском под охраной Партии...

В зале стоял шум, поднялся целый лес рук, все просили слова, но уже встал, сидевший рядом с председателем, человек в поддевке с твердым, сухим, деревянным лицом. Долго и скучно он рассказывал о своем детстве на Волге, преувеличенно окая, фальшивым голосом изображал в лицах, как делили мебель богатых помещиков, и ясно было, что он издевается и над мужиками и над помещиками, и только самого себя считает особым, высшим существом. Его проводили неловким молчанием, только где-то в углу нерешительно хлопнули раза два. Громкими аплодисментами встретили нового оратора, худого, изможденного человек с горящими глазами. Нервно, торопливо, будто ожидая каждую минуту, что его прервут, он заговорил о свободе, о священной свободе художника выбирать темы и формы, о моральной гибели тех, которые принуждены себя продавать, об обязанности правительства прийти на помощь голодающим писателям. Члены президиума кивали головами, знакомое слово свобода приятно ласкало слух. Но, когда торжественно и медленно он начал читать Пушкинского Поэта, председатель показал на часы и остановил его на середине.

Последним говорил рабфаковец, небольшой, скромный человек в длинном пальто и матерчатой шапке.

— Я, товарищи, так понимаю, — начал он негромко, — писатель должен рассказать о простой жизни, то есть как живет рабочий человек, и вообще про борьбу пролетариата. Какая нам польза от старой литературы — мы так не жили и жить так не будем...

Желающим из публики говорить не дали. В двух словах председатель ответил на все выступления, сказав что рабоче-крестьянское правительство ценит литературу, но только подходящую, писать никому не запрещается, а печатать будут то, что нужно народу.

Сережа подождал Павлицева у выхода.

— Ну, как? Понравилось?

— Да-да, я вам скажу...

Павлищев запахнул пальто и поднял воротник. В серых сумерках медленно падали крупные, редкие снежинки. Толпа не расходилась; разбившись на кучки молодежь окружила ораторов. Длинноволосый поэт балансировал на добытом откуда-то ящике.

— Будьте смелы! — зывал он высоким, женским голосом: — Откройте двери революции! Распахните окна, слушайте музыку вселенной!

На верхней ступеньке, обхватив рукой колонну, при-мостился долговязый субъект в барашковой шапке.

— Мы ненавидим сюсюкающих интеллегентов! — выкрикивал он мрачно: — Долой истрепанные идейки о справедливости и морали! Нам до тошноты надоели все эти липовые аллеи и соловьиные песни! Мы живем под грохот пушек, наша поэзия — поэзия мирового пожара!

— Хотите слушать? — спросил Павлищев.

Сереза пожал плечами.

— Ну, как вы живете? — спросил он.

— Как живу? Паршиво. Теперь только подлещы хорошо живут.

Он шел, опустив голову, осторожно выбирая куда ступить; на ногах у него были тонкие штиблеты без ка-лош, брюки внизу облеплены снегом.

— Знаете что, — неуверенно предложил Сереза, — идемте ко мне, затопим печку, будем варить кашу!

Павлищев ответил не сразу.

— А какая каша? — спросил он ворчливо: — У меня от пшена что-то с желудком, доктор говорит новая бо-лезнь „пшенка“, шелуха надевается на какие-то там желудочные сосочки...

— Каша гречневая, и молоко есть, сегодня выменял у молочницы.

Повалил густой снег. Изредка их обгоняли извозчицьи санки и поскрипывая исчезали в белой мгле; встречные прохожие были похожи на снежных баб.

У Серези Павлищев не раздеваясь уселся на диван.

— Нет, так вы не согреетесь... Вот валенки, пе-реодевайтесь!

Повернувшись спиной, Сережа возился у печки, чиркал спичками, шурушал бумагой.

— Ну а вы как живете? — спросил Павлицев.

Сережа выпрямился.

— Знаете, мне сейчас там в голову пришло — а вдруг все это надолго? До сих пор как-то казалось ну год, два, можно как-то потерпеть, и вдруг, не знаю почему, меня осенило: а что если надолго! Хотя, как это может быть? Как они могут удержаться, ведь все разваливается, с каждым годом все хуже...

Дрова разгорелись, в трубе зашумело. Павлицев пересел поближе к печке и протянул руки к огню.

— Я что-то не верю, что в России нет хлеба, — сказал он, качая головой: — Мы всегда вывозили, у нас всегда были излишки. Я думаю, развал вызван искусственно, не могут же они быть такими идиотами! Вот уже несколько лет нас держат на восьмушке хлеба, — о чем человек может думать при таких условиях? Только об еде, ему не до политики, у него уже нет сил... Это другое если сытому не дать есть дня два — он возмутится, устроит бунт. А вот так, постепенно довести до такого состояния, что получи он лишний кусочек хлеба и будет уверять, что все прекрасно, все идет к лучшему, будет восхвалять мудрых правителей. А там неограниченные возможности — кусочек масла, кусочек мяса... На сто лет хватит! Главное никогда не давать достаточно, всегда можно отступить назад, объяснить неурожаем, саботажем, уменьшить паек, и опять прибавлять по капле...

Сережа помешал кашу и постучал ложкой о край кастрюли.

— Были такие времена и раньше, у нас и в других странах...

— Что значит „такие“?

— Ну, голод, опасность, казни, страх... Только сейчас это более организовано. Подо все подведена теория, шаткая, конечно, но в этом ее сила — идеи изменяются согласно требованиям.

— А мы молчим, все молчим...

— Не все. Некоторые пытаются говорить, но их быстро ликвидируют. Мне кажется, одна из наших национальных черт это отсутствие организованности. Не сейчас, а вообще всегда. Совместное действие требует уступок, а для нас наши индивидуальные особенности дороже всякой солидарности...

В комнате стало жарко, окна запотели. Павлищев пересел на диван.

— Ну а как вы живете? Чем вы занимаетесь?

Сереза поднял голову и усмехнулся.

— Как видите — продолжаю быть дворником. Одно время преподавал на рабфаке, но неудачно, т. е. с точки зрения руководителей Пролеткульта. А так было неплохо, и отношения с рабочими были хорошие. Ну, а кроме того... — он запнулся и прищурился: — дело в том, что я пишу. Все это время я просто был счастлив, я не думал как, зачем, что из этого будет. Но вот в сентябре я кончил и отнес рукопись в издательство. Просто казалось это естественный ход. Ждал ответа два месяца и пошел в редакцию. Смотрю — сидит мой собственный товарищ по гимназии, в соседней комнате секретарь, и девица стучит на машинке. Он неглупый малый, хорошо учился, только уж очень ловкий... Он был любезен, назвал меня шутя белогвардейской бандой, советовал перестроиться, жить созвучно эпохе. А моя книга оказалась несозвучной... Вот и все. Должен сознаться, это был порядочный удар. Я все старался себя убедить, что писал для себя, что это дало мне счастье, но повидимому работать в пустом пространстве нельзя. Беда в том, что ничто другое меня не интересует — я готов голодать, быть дворником, пожертвовать всем... или почти всем... Ну, давайте есть, чайник кипит, каша готова!

Павлищев ел молча, сосредоточенно, целиком поглощенный вкусовыми ощущениями. Сереза поглядывал на него с любопытством, неоформленные мысли, полузабытые воспоминания проплывали в его мозгу — что-то, что

говорила Люба, что она не могла объяснить... Но что? Чувственность? Разве не естественно, если человек голоден... нет, это не голод... Может во мне это Чернышевский аскетизм? Кто это сказал? Кажется Дмитрий Дмитриевич... Бедный Дмитрий Дмитриевич, он тоже любил покушать...

— Вот наелся и согрелся, — сказал Павлищев, откидываясь на спинку дивана, — и кажется, что все не так уж плохо... Но вы роскошно живете! Какой хлеб! Какое масло!

— Это всё Любины труды.

— А она там, в деревне? — Павлищев опустил глаза.

— Да, но долго их в покое не оставят. Боюсь для Любы это то же, что для меня мое писание, она без деревни будет очень несчастна.

— А что ж делать?

— Единственный выход бежать.

— А вы представляете, что такое жизнь изгнанника? Вспомните всех, кто порвал с родиной и пытался привязаться к чужой стране. Может вы моложе, не так связаны с прошлым, а у меня такое чувство...

— Никаких чувств у меня нет! — перебил Сережа, вскакивая со стула и принимаясь шагать назад и вперед по комнате: — Я согласен бежать куда угодно — в Европу, в Азию, на необитаемые острова!

— Это только кажется. Чего ж вы не бежите?

— Если б не Люба и не мама...

— Не знаю, у меня была возможность... Я не решился. И конечно так же как у вас — семья. Мало того что бросить, да еще им придется за меня расплачиваться. Это уж совершенно невозможно! Им и так плохо приходится, сидят на восьмушке хлеба — нетрудовой элемент. Пробовали кое-что продавать, но оказывается, что и для этого нужны какие-то особые способности... Уж очень долго жили без напряжения, не привыкли проталкиваться. Да и не только это, психологически трудно. Особенно

матери, она сильно сдала, еще в прошлом году держалась молодцом, твердо верила, что правда восторжествует, и вдруг отчаялась... Отцу легче, он проще, ближе к земле, психологические проблемы его не тревожат. Ну, спасибо за прекрасный обед! Все-таки надо итти... Кланяйтесь, пожалуйста, вашим.

— Благодарю вас. А вы приходите!

— С удовольствием. Иногда бывает довольно тоскиво. Мои друзья, с которыми я живу, уехали на Урал, квартира пустая...

Знакомых было много. Были старые друзья родителей — испуганные и недоумевающие они встречали Сережу радостно и засыпали его вопросами. Правда ли что по четвертой категории скоро будут давать полфунта хлеба вместо восьмушки? Ни знает ли он, где можно променять обручальные кольца на какие-нибудь жиры? Верные старым принципам, они стойко отказывались тронуть фунт сахара, оставленный на сохранение пропавшими без вести знакомыми.

Были его старые товарищи, спешно искавшие за что уцепиться в новой неустоявшейся обстановке. Их жизнь была впереди, они не хотели погибать, им было не до принципов, принципы полетели к черту, главное было уцелеть, не провалиться в пропасть, куда с грохотом падали обломки старой жизни. Нет мяса — можно есть собак и крыс, нет алкоголя — можно пить пропущенный через вату газолин. От газолена слепнут? Пустяки, может слепнут, а может и нет. Да и не все ли равно — сегодня или завтра?

Павлищев был находкой. С ним можно было говорить. Уж одно то, как он насмешливо поблескивал карими глазами и ни с чем не соглашался.

— Вы ищите ответа на неразрешимые вопросы. Это наивно, это молодость, с годами человек понимает, что факт есть факт и только с этим надо считаться!

— Вы отметааете весь смысл жизни, — возражал Се-

режа : — Даже если конечное понимание невозможно, частичное приближение драгоценно . . .

— Частичное понимание ничего не стоит ! Каждый новый факт показывает, что оно было неправильно.

— Но голый факт сам по себе ничего не стоит. За фактом стоят идеи, человеческая психология, даже если иногда она кажется случайной.

— А чем она управляется эта психология ?

— По Марксу ? Бытие управляет сознанием ? Голод вызывает революцию ? А вы сами говорили недавно, что голод в корне пресекает способность к борьбе. Нет, это слишком просто ! Даже если идеи порождаются фактами, то не прямо. Что движет человеком ? В гораздо большей степени жадность, властолюбие, зависть. Но если б только это, человечество давно бы погибло. Значит есть что то, что уравнивает — стремление к добру, справедливости, честности ? Признать факт единственной, неоспоримой, твердой реальностью значит отнять весь смысл у человеческой жизни.

— Это единственная твердая сущность, с которой вы можете экспериментировать, все остальное неопределенно и смутно, и очень часто прикрывает отсутствие знания и даже нежелание знать.

— Может быть. Но я хочу знать ! Я ни на чем не настаиваю, я готов делать поправки на мои выводы. Это вы настаиваете на раз навсегда установленных законах, не считаясь с новыми данными.

Павлищев заходил часто. Он часами сидел на диване и упорно отказывался от угощения, но не выдерживал, и Сережа старался не смотреть, когда он с оглядкой, стыдливо тянулся за новым куском.

Один раз Павлищев не застал Сережу наверху и зашел в дворницкую. Сережа был там, он сидел с карандашем в руках, подсчитывал что-то в длинной линованной тетради. У окна пожилой священник поглаживал темную окладистую бороду. Стоявший у печки дворник оглянулся и, не обращая больше внимания на Павли-

щева, продолжал что-то рассказывать. „Он на меня : Встать, сукин сын ! А я ему : Нет, уж такие времена теперь прошли.”

Павлищев попятился к двери.

— Подождите ! — крикнул Сережа : — Мы кончили, я сейчас.

Павлищев сложил руки лодочкой и подошел к священнику.

— Это вы всегда ? — спросил Сережа, когда они пришли наверх : — Я не знал, что вы так религиозны. Руки у него довольно грязные, а что касается духовного благословения — он между прочим не очень достойный служитель Бога . . .

— Не важно, дело в принципе. Именно теперь мы все должны поддерживать церковь хотя бы потому, что большевики стремятся ее разрушить.

— Если церковь обновится изнутри, никто ее не разрушит. Если не обновится она все равно так или иначе исчезнет. Оттого, что вы поцелуете руку, а он механически вас перекрестит . . .

— Все имеет форму ! — перебил с непривычным раздражением Павлищев : — Людям необходимы конкретные образы.

— Да, но не форму без содержания. Если остается пустая форма, завитки вокруг пустоты . . . Именно это происходит со всеми великими идеями, своего рода вырождение, даже хуже — идеи не только вырождаются, они используются безцеремонно в целях наживы, успеха. Знаете, мне иногда представляется какой-нибудь святой, ну, скажем Сергей Радонежский или еще кто-нибудь, живет в лесу, птицы садятся на его голову, медведь ест из его рук. Он понял, понял все и всех — рисунок мира. И люди приходят, уставшие, измученные, которые нигде не находят утешения. Он им помогает, не потому что хочет помочь, или добр, а только потому, что понимает и распутывает узлы. Некоторые остаются жить сколо него, подражают, стараются понять тайну его влияния, его силы. Но они знают только внешние факты.

Когда он умирает, они продолжают его дело, строят церковь, называют его именем, повторяют его слова, стараются сохранить их в чистоте и неизменности. Сам он знал тайну и никогда не придерживался формы. Позднее приходят другие, они не знали того, который жил в лесу и кормил медведей, помогал елкам и цветам, у них осталось только здание церкви и записанные слова...

— И то хорошо. Вы верите в Бога?

— Какой-то французский энциклопедист, кажется Д'Аламбер, сказал *c'est le grand peut-être*... И еще кто-то сказал, что верит в Христа и в Бога-Отца, но не в Духа. Я верю только в Бога-Духа. Слишком уж это спорно создание человека „по образу Моему“. Физического образа мы не знаем, а если наш духовный образ подобен... не к чести Бога! Ко мне ходит один старичек, он уверяет, что если нет Бога, то нет и Добра. Так вот, если Бог и Добро одно и то же, я верю, верю абсолютно и безоговорочно! Добро не всесильное, но борющееся, не то, о котором говорят материалисты — некий общественный договор, нет! я верю в Добро вне человеческих установлений, обязательное для всего мира — для христиан, буддистов или язычников.

— То есть добро в природе или выдуманное людьми?

— Не выдуманное, а только угадываемое, прозреваемое...

— Вы думаете добро существует вне человека? Вы думаете, если люди исчезнут, добро будет продолжать существовать? Животные не знают добра, они знают только борьбу за существование, про растения и говорить нечего... Значит добро выдуманно человеком.

— Не выдуманно — постигнуто! Принято как единственный возможный ответ.

— Постигнуто? Почему ж тогда...

— Не всеми, я не говорю всеми. И даже те, которые понимают, часто отступают. А всё-таки самое стремление человека к Добру, тот факт, что святыми мы называем мудрых, постигших истину, а не сильных и жестоких...

— Ну, положим ! Вспомните исторические имена, кому люди поклонялись ?

— Только временно, во-первых. А во-вторых, человеческая природа тянет и туда и сюда. По-моему самое замечательное то, что человек создал понятие о Боге !

В январе Павлищев исчез. Сережа пробовал звонить — ответа не было. Болен ? Уехал ? Арестован ? Пойти — а вдруг там засада ? Звонки в пустой квартире звучали угрожающе.

Он не успел решить, как вдруг поздно вечером появился новый, неузнаваемый Павлищев, в заграничном непромокаемом пальто, с белым шелковым шарфом на шее.

— Это вы или не вы ? Что случилось ?

— Подождите, сейчас все расскажу. Помните я был у вас последний раз ? Мы еще говорили о твердости и упрямстве ? Вы защищали Томаса Мора за то, что он не сдался и заплатил жизнью. Так вот как раз на другой день вызывают меня в Госплан и предлагают работу. Сначала я колебался, но кое-кто из моих коллег там уже работает и они меня убедили, что мы просто не имеем права уклоняться. В конце концов мы работаем не для большевиков, а для своей родины. Ведь совершенно ясно, что все идет к катастрофе. Картина, которая развернулась на последнем съезде советов, просто ужасающая — некоторые производства прекратились совсем, другие сократились в двести-триста раз. Несмотря на продрозверстку хлеба не хватает. Те, которые волей судеб поставлены управлять, экономическую жизнь наладить не умеют, а мы, специалисты, отказываемся.

— Ну, конечно, и паек . . .

— Что ж, я не отпираюсь, паек тоже сыграл роль, но не главную. Жить так, как я жил до сих пор, это медленное самоубийство. Не смотрите с таким презрением !

Сережа засмеялся.

— Без всякого презрения . . . Если вы думаете, что стоит . . . Кажется, это китайское определение жизни —

входи, выбирай что хочешь и плати. Я стараюсь брать как можно меньше, чтоб не платить.

— Вы не знаете, сейчас происходит страшное положение, или поправение, не знаю как сказать. Я думаю, они сознают, что зашли слишком далеко. Нам, экономистам, дали совершенно ясно понять, что начинается новая эра. Они откровенно признали свои ошибки. И, правда, с ними можно договориться — мой начальник очень милый, интеллигентный человек, он все понимает. В моей работе нет ничего политического — мне поручено составить обзор экономической картины мира, вывоз и ввоз в разных странах — что тут дурного ?

Сереза перестал шагать и, расставив ноги, остановился перед Павлищевым.

— Во-первых, вы не можете выбирать, взявшись за один проект, вы не можете отказываться от других. Ваш милый, культурный начальник абсолютно подчинен распоряжениям Партии. Результатами вашей работы будут пользоваться не в тех целях в каких вы ожидаете.

— Слушайте, через два-три года их уже не будет, а Россия будет совершенно разорена, если мы что-нибудь не сделаем . . .

— И вы уверены, что вы можете остановить разорение ?

— Ну, конечно ! Если мы будем работать . . . Да и население не допустит, раз хозяйство будет налажено . . .

— Допустит, все допустит ! Должно быть наши западные соседи объясняют успех большевизма экономической отсталостью, а я думаю, что тут какое-то особое понимание христианства, научившее нас покорности и терпению, а кстати глупости и наивности. Я летом ходил на набережную, там какая-то фабрика, женщины выходили отдыхать. Усталые, грязные, голодные, они с увлечением рассказывали, что собирали гроши, чтоб помочь английским рабочим. Им и в голову не приходит, что никакой английский или готтентотский рабочий не будет так жить, как они живут. И все это касается не

только безграмотных работниц, а так же и культурных людей...

— Простите, что я вас перебиваю! Я забыл сказать... вы говорили что-нибудь сестре обо мне? Представьте себе — получаю прекрасную посылку — хлеб, сало, мед. А вчера корзину яблок. И какие яблоки! Что то в них здоровое, настоящее, благословенное.

28.

Погода испортилась, повалил снег, закрутила метель. Через несколько дней снег стаял, но ударил мороз с ветром, гнувшим верхушки деревьев, крутившим сухие листья в саду.

Гришка пришел в мезонин обмотанный шарфом, позвал Диму итти к Моссельпрому, стоять в очереди за папиросами.

— Холодно, — неуверенно возразил Дима, не зная как отказаться и стараясь не смотреть в самоуверенные зеленые глаза, в тугое, будто надутая резина, лицо. С некоторых пор Гришка стал ему противен.

— Ну что ж холодно? Оденься потеплей и не будет холодно. По сто штук дают, мне верный человек говорил.

— Я не пойду.

— Не хочешь — не надо, думаешь без тебя не обойдемся?

После этого они долго не встречались и Дима рад был, что Гришка сердится и не приходит. Незадолго до Рождества они столкнулись у ворот дома. Гришка стоял прислонившись к забору с необычным для него ленивым видом.

— Завтра с мамкой в деревню едем, — сказал он важно, — кое-что повезем для обмена. У вас там верно много добра лежит безо всякой пользы, ты поищи, может какие занавески или скатерть — в деревне все годится. А что получу, половину тебе отдам, без обмана.

Дима закинул голову и вытянул шею, делая вид что его давит ворот пальто. У него никогда не хватало храбрости отказать прямо.

— У меня ключей нет, — сказал он неуверенно.

— Это пустяк, открыть всегда можно.

— Нет, я не буду.

— Ну, и черт с тобой! Я для тебя стараюсь, а мне на кой они ляд!

Гришка уехал и было приятно думать, что его больше нет в дворницкой, что он не может каждую минуту прийти. Внешне жизнь шла как и в прошлом году — пыльная, шумная школа, скучные, длинные часы уроков, грохот парт и дикие голоса на переменах; дома приятная тишина, книги, которые он приносил из библиотеки и читал сразу по три, по четыре, переносясь из одного мира в другой, находя в этом особое наслаждение. И голод был тот же, на короткое время заглушаемый грубым хлебом и кашей, с непрерывной мечтой о чем-то прекрасном, утоляющем и неясном.

Но что-то в нем менялось, он стал вдруг мыть руки, обрезать ногти, хотел почистить башмаки, но ваксы в доме не оказалось и он долго тер их тряпкой, стараясь вызвать блеск. Он знал, что в школе девочки прозвали его монахом, и, хотя он их презирал, ему вдруг стало стыдно за свои длинные волосы. Стоя перед зеркалом он пытался подстричь их, но ничего не вышло, надо лбом получилась лысина и пришлось зачесывать ее щеткой для ногтей.

— Ты что это, влюбился? — насмешливо спросила Елена.

Он жарко покраснел и сердито надулся. К его удивлению на другой день она дала ему ордер на башмаки. Вообще она вдруг стала обращать на него внимание, будто вспомнила о его существовании. Иногда по вечерам приносила что-нибудь вкусное — булочку, яблоко или конфету. Он пожирал все с жадностью, но продолжал смотреть на нее враждебно и подозрительно. Почему то она перестала придираться, стала веселей,

иногда, возвращаясь домой, что-то напевала. Раза два, зачитавшись до поздней ночи, он слышал как она с кем-то разговаривала на лестнице и смеялась. Кроме них в доме никто не жил, это мог быть только Иван Степаныч, заходивший по вечерам проверять замки, но почему она могла так долго с ним стоять и говорить ?

Вернулся Гришка. Они приехали с вокзала на извозчике, привезли много поклажи. Гришкина мать дала Диме деревенских лепешек, пахнувших дымом и соломой. Они хвастали, как ловко обделали свои дела, как удачно доехали и привезли в Москву несколько пудов багажа. Другие сидели на станции по несколько дней, а им повезло попали на поезд, в котором везли тифозных больных.

— Нам что ? — говорила Гришкина мать : — К нам не пристанет ! Доехали за милую душу, и обыска никакого не было. Вот как !

Через несколько дней Елена разбудила Диму ночью.

— Ты к Гришке ходил ? — спросила она строго.

— А что ? — проворчал он, из осторожности не отвечая на вопрос прямо.

— То, что он болен, у него тиф. Как ты себя чувствуешь, что-нибудь болит ?

— Конечно, нет. Не мешай мне спать.

Тифом болели и умирали кругом, в этом не было ничего особенного, только странно было что заболел Гришка, его ровесник.

— Ты туда не ходи, это очень заразительно !

Ходить он и не собирался, но возвращаясь из школы косился на занавешанные окна. Потом случилось что-то несообразное, непонятное — к стене дворницкой была прислонена крышка гроба. Он быстро прошел мимо, отвернувшись в другую сторону. Должно быть заказали Ивану Степановичу, но зачем он выставил ?

— Ты знаешь, Гришка умер ? — сказала вечером мать : — Ты уверен, что у тебя нет жара ? Покажи голову !

Он оттолкнул ее изо всей силы обеими руками. Ря-

дом с тем, что случилось, ее беспокойство было мелочным и ничтожным. Смерть ходила кругом, он это знал, он к этому почти привык. И вдруг огромная, страшная рука проникла в их дом и ухватила Гришку, его товарища, крепкого, самоуверенного, несокрушимого Гришку.

Стоило закрыть глаза и Дима видел, как он сопротивлялся, хватался знакомыми, белыми в веснушках, руками за косяки дверей, звал на помощь, ругался, а безжалостная рука продолжала его тащить.

По ночам ужасная рука пролезала наверх в мезонин, шарила, искала в темноте Диму. От нее шел сырой как из подвала холод. Убежать было невозможно, Дима прижимался к спинке дивана и кричал страшным, придушенным голосом. В углах комнаты, замирая, еще звенел его крик, когда проснувшись с отчаянно бившимся сердцем, он дико оглядывался вокруг, переходя из грозного сна в не менее грозную действительность. По другую сторону стола мирно похрапывала мать.

Все взрослые — мать, учителя, прохожие на улицах — притворялись, что ничего не видят, глядели мимо наскоро сколоченных из досок гробов, делали вид, что все благополучно. Один, без друга, без помощи Дима смотрел чудовищу в глаза.

29.

Люба приехала в Москву в конце поста.

— Я только на несколько дней! — сказала она с порога: — Столько всяких дел, не знаю как я вырвалась.

Сереза с ласковой усмешкой смотрел в ее сияющие, полные новым, теплым светом, глаза.

— Ты переменялась.

— Как?

— Потолстела, — пошутил он.

— Это потому что зима, летом похудею, — сказала

она, делая вид, что не понимает шутки : — Я, правда, только на несколько дней !

— Чего ты оправдываешься ? Живи сколько угодно.

— Где можно позвонить по телефону ?

— Внизу. Хочешь я с тобой пойду ?

— Нет, я сама.

Павлищева не было дома и в тот же вечер, не выдержав полноты распивавших ее чувств, она рассказала Сереже все.

— Началось с посылки... А теперь он пишет и пишет... каждый день, даже иногда два письма сразу. Но все ненастоящее... про каких то богинь, называет меня Юноной, про какой то Ювеналов бич, который щелкает в моих руках... — Люба взглянула на свою широкую, сильную ладонь : — Радостно встречайте восход солнца... Даже про коров, будто это не коровы, а какая то иллюстрация к Гомеру. Нет, подожди ! Я вовсе не притворяюсь, конечно, мне нравится — один раз не было письма, мне стало скучно. Но все-таки это не про меня ! Ну, как тебе объяснить ? Для него, если без стихов и вообще без всяких выдумок, недостаточно... Может вообще все это только слова ?

— Что ж, слова иногда бывают прекрасней всякого чувства и живут веками. Когда умер Байрон, одна женщина, она была в него влюблена, но он ее не любил, сказала, что он был очень холоден, что всю теплоту, все чувства он вложил в поэзию. К Павлищеву это не имеет, конечно, отношения.

— А ты сам когда-нибудь влюблялся ? Почему ты никогда ничего не рассказываешь ?

— Может я как Байрон ? — пошутил Сережа.

— Нет, правда !

Несколько минут Сережа молча смотрел в окно.

— Есть вещи важней, — сказал он наконец.

— Никогда ! Это самое важное.

— Под влиянием минуты может показаться.

— А что же по-твоему важней ?

— Работа. Не бессмысленная, которую люди делают по чужому указанию ради жалования, а творческая, в любой области, движение вперед, создание нового...

— Ты слишком много рассуждаешь!

— Так и ты тоже рассуждаешь.

Люба подняла светлые брови.

— Может быть, — согласилась она и засмеялась.

На самом деле она не рассуждала совсем — для чего она приехала, что будет, и чего она хочет — она не знала. Она не спросила себя любит ли она Павлищева, ей было весело получать его замысловатые письма, угадывать что в них кроется, верить и не верить, было восхитительно превратиться вдруг в драгоценное, необычайное существо, которое до сих пор никто достаточно не ценил. Но когда в ответ на звонок она услышала чужой, холодный голос, сердце ее упало и она растерялась.

— Я слушаю. Кто говорит? — нетерпеливо спросил голос, который никак не мог принадлежать Павлищеву, писавшему ей нежные письма.

— Это я, — пробормотала она поспешно, — если вам некогда... я только на два дня... вы не приходите...

— Я сейчас... Вы у брата? — крикнул растаявший голос и трубка щелкнула.

Сережи не было дома. Первым ее движением было уйти, убежать, спрятаться — все, что угодно, только не смотреть Павлищеву в глаза и не дать ему говорить.

— Я ехала на платформе, какие-то машины или пушки накрытые брезентом, — рассказывала она, упорно глядя в окно на черную с блестящей синей головкой птичку, порхавшую с ветки на ветку: — Вдруг что-то случилось и мы поехали назад все быстрее и быстрее, кто-то крикнул, что мы оторвались от поезда и летим под кручу. И все стали прыгать, я тоже хотела, но какой-то человек, он был в дикой дивизии, схватил меня за руку и сказал, мы сейчас остановимся. Было очень страшно...

Павлищев пристально и вопросительно смотрел на повернутую к нему щеку, залитую горячим румянцем, на скошенный к окну глаз.

— Это интересно, но совсем как ваши письма — о чем угодно, только не о себе. Вы лучше расскажите как вы жили этот год! О чем думали, что делали, скучали или нет...

Она повернула голову и взглянула на него далеким, вспоминающим взглядом. Перед ней проплыло сухое, жаркое лето, палящее солнце, усталость и счастье, потом осень, запах вянущей ботвы на огороде, ветки яблонь свисающие на подпорках.

— Нет, я не скучала, — сказала она искренне, — было некогда и вообще хорошо.

— Как поживает ваша матушка? — спросил он новым, холодным тоном.

Она поняла, что он обиделся, хотя обижаться было не на что, она, правда, не скучала.

— Бросьте, Люба, — сказал он вдруг, протягивая руку: — Идите сюда! Расскажите почему вы тогда убежали?

Она закрыла глаза и сморщилась.

— Не надо про это! — прошептала она и села на диван рядом с ним.

Скоро все утряслось и Люба перестала повторять, что ей надо ехать домой. Они виделись каждый день, то у Сережи, то у Павлищева в пустой, холодной, пахнувшей мышами и книгами, квартире. По воскресениям они ходили по улицам, взявшись за руки, ничего не видя, никого не замечая, отделенные стеклянной стеной от всего мира. Дети и взрослые грелись в первых теплых лучах весеннего солнца, женщины провожали их неприязненными взглядами, мужчины уныло смотрели в землю.

В простенке между двух домов ненадолго открылась торговля. „Что продают?“ — спрашивали прохожие и, не дожидаясь ответа, становились в очередь. — „Кисель? С сахаром?“ Черноусый восточный человек ловко резал колыхавшуюся, бесцветную массу на

ровные квадраты. Люди бережно принимали клейкое вещество на кусок газеты или прямо на ладонь, пробовали и с отвращением плевали. Люба и Павлищев переглядывались с улыбкой.

Они обходили шумную, вонючую Сухаревскую площадь. На боковых улицах бабы-молочницы отмеривали кружками молоко, осторожно переливали в бутылочки. Подозрительный субъект шепотом предлагал настоящей баранины. Мимо спешили люди, тащили на базар одежду, посуду, старую обувь — всё для обмена на драгоценные продукты. Вдруг раздавался свисток и все бросались бежать, роняя товар, забыв получить сдачу, отыскивая куда бы спрятаться. Павлищев и Люба шли не прибавляя шагу.

В Ботаническом саду остро пахло набухшими почками и корой, из черной земли лезли толстые листья тюльпанов.

— Хорошо, — с глубоким вздохом говорила Люба, — ах, как хорошо !

— Любишь ? Моя ?

— Да, — отвечала она быстро и, окинув взглядом желтый туман плакучей ивы и красноватый блеск кленов, повторяла другим, полным голосом: — Да !

Ей нравилось бродить по заброшенному, чудом уцелевшему, саду, но Павлищева тянуло в старые части города. В темных, сырых переулках Зарядья пахло плесенью столетий. Узкие улочки, мрачные, с маленькими окошками домики для него были полны жизнью.

— Видишь церковь на углу ? Это Богоявленский монастырь, строил его Данила Александрович, сын Александра Невского . . . Вот здесь, где мы стоим, он ехал на коне, улиц не было, домов не было, только сосновый лес, а дальше, где Лубянка, поле боярина Кучки. Ты не слушаешь ?

Она улыбалась с ласковым снисхождением, как улыбаются болтовне ребенка. Какое дело ей было до боярина Кучки из учебника истории, до того, что Спасский мост назывался когда-то Поповским крестцом.

— Почему? — спрашивала она, чтоб доставить ему удовольствие.

— Здесь стояли попы без мест, а бояре и купцы приходили нанимать их в домовые церкви на одну службу. Каждый поп держал в руке калач и если бояре торговались, кричал: А вот закушу! А вот закушу! Служить он мог только натошак.

Стихи и романсы, которые он вполголоса напевал, аккомпанируя себе на рояле, нравились ей больше.

Дитя, торопися весной рвать фиалки —
Летом фиалок уж нет...

Это было связано с ней — весна и горьковатый запах фиалок, это была настоящая живая жизнь.

— Глупая песенка, — говорил Павлищев, — не знаю почему она лезет мне в голову. Как только подсохнет, мы поедem в Троицкое. Там прекрасный парк, а посередине села памятник Екатерине, Богоподобная царевне Киргиз-Кайсатския орды... Недалеко озеро Кагул. Помнишь :

Однажды близ Кагульских вод
Мы табор чуждый повстречали,
Два дня мы вместе кочевали,
На третий день они ушли,
И бросив маленькую дочь
Ушла за ними Мариула...

Ты Мариула, но ты никуда не уйдешь, я тебя не отпущу!

Он знал так много, она чувствовала уважение не потому, что его знания казались ей важными, а потому, что она видела его глазами других людей. Но в чем-то, не совсем для нее ясном, она была сильнее и он признавал это так же как и она.

Они лежали на широкой тахте укрывшись пледом. Павлищев что-то рассказывал положив голову ей на грудь, но она давно уже перестала слушать и думала о Нена-

шеве, водя глазами по рисунку висевшего на стене ковра. С удивительной ясностью, так что она даже чувствовала едкий запах вскопанной земли, она видела раскрытый парник, освещенную солнцем стену сарая, проросшие сквозь тряпочку семена.

— Ты меня не слушаешь! Где ты?

Она засмеялась и, перевернувшись сильным движением на бок, прижалась к нему всем телом.

— Опять? — спросил он шутливо и тихонько хлопал ее по плечу; — Силушка по жилушкам переливается... Боюсь тебе нужна дикая дивизия, а не какой-то несчастный интеллигент...

Иногда Павлицев бывал занят и они не видались целый день.

— Нет, это невозможно! — воскликнул он наконец: — Так жить нельзя! Давай повенчаемся завтра — ты переедешь и мы будем всегда вместе. Если не хочешь в церкви, пойдем в этот ихний ЗАГС. В воскресенье поедем к моим... Нет, ты не бойся! Мама все время о тебе спрашивает. Она очень изменилась, стала мягче, но какая-то жалкая. А отец, он прямо равнодушен к тебе. Совершенно незачем ехать в Ненашево — просто напишем! Марья Михайловна будет очень довольна. Я теперь не отпущу тебя ни на минуту, а то ты пропадешь опять. Знаешь что? Сегодня ты останешься здесь, Сережа не будет волноваться — он знает, что ты со мной.

В этот вечер Павлицев долго играл на рояле, а она сидела в старом кожаном кресле и старалась представить себе, что это ее дом и она будет здесь жить. Но дом был только один — Ненашево, даже старый московский особняк никогда не был настоящим домом. Во всяком случае уже скоро надо ехать, совсем тепло. Немного позднее она может приехать на несколько дней, или он, когда будет свободен. По-настоящему, надо ему об этом сказать, а то он думает, что она останется здесь навсегда.

Павлицев был в этот вечер рассеян и грустен и она ничего не сказала, чтоб его не огорчать.

— Почему? — спросила она, старательно избегая „вы” и „ты”: — Что-нибудь случилось?

— Н-нет. Впрочем, да! Вчера арестовали моего начальника, без всякой причины...

Первый раз они ужинали не так как раньше, когда Павлищев ее угощал, или у Сережи, где он был гостем, а так, будто они были уже женаты. Он был молчалив и, чтоб его развлечь, она болтала о всяких пустяках. Лежа в постели, закинув руки за голову, она рассказывала ему о Ненашеве, о своем детстве, о том, как она играла с деревенскими мальчишками в бабки и больше всего на свете любила скакать верхом, не разбирая дорог. А он думал, каким путем свести ее с матерью, заставить их полюбить друг друга.

— Ну, теперь спать, уже второй час!

— Мне совсем не хочется...

Он пощелкал языком, положил правую руку ей под голову, а левой стал гладить волосы. Она заснула почти моментально.

В седьмом часу у подъезда остановился автомобиль. Было еще не совсем светло, после вчерашнего дождя блестел тротуар, в углублениях стояли лужи. Из передней двери вылез человек в кожаной куртке, потянулся, расправил плечи и смахнул с крыла автомобиля птичий помет.

— Свежо! — сказал он, зевая: — Живей, ребята, чего копаетесь? Шатилов, иди с заднего хода!

Грохот сапог разбудил весь дом. По мере того как шаги поднимались, в нижних этажах переводили дыхание. Павлищев и Люба проснулись в одну и ту же минуту и лежали не шевелясь, прислушиваясь к шуму.

Шаги остановились перед дверью, пошаркали, потоптались.

— Должно быть надо одеваться, — прошептал Павлищев, отбрасывая одеяло: — Ты лежи!

В ту же секунду затрещал звонок и кто-то ударил сапогом в дверь, Квартира наполнилась движением и шумом, будто впустили табун лошадей. Люба зажмурилась

и натянула одеяло на голову. В комнате ходили, говорили, двигали мебель. Грубый, уверенный голос отдавал приказания :

— Брось, ненужно ! Это возьми ! Посмотри под шкафом !

Она лежала не шевелясь, прижав кулаки к лицу, забывая дышать. Казалось, прошло несколько часов, а они все возились, шуршали бумагой, роняли книги.

— Ну, прощай ! — сказал над ее головой голос Павлицева. Он наклонился и осторожно освободил одеяло из ее стиснутых рук : — Береги себя ! Может еще увидимся . . . Спасибо за все !

Шум перешел в переднюю, на лестницу и вдруг стало очень тихо. Все произошло так быстро — она не успела ничего сказать, не успела попрощаться.

На улице хлопнула дверка автомобиля, отрывисто рывкнул гудок. Люба вскочила и стала поспешно одеваться — пуговицы не застегивались, потерялся чулок.

На улице было пусто. Там, где стоял автомобиль, остались мокрые следы шин. Она шла все быстрее, переходила с одной стороны на другую, поворачивала в незнакомые переулки, ни о чем не думая, будто подгоняемая невидимой рукой.

Вдруг страшная, нестерпимая мысль ударила ей в голову — они взяли записную книжку, там был Сережин адрес ! Только не это ! Все что угодно, только не это ! И, подхватив платье, она бросилась бежать.

30.

Скучный школьный год подходил к концу. По высокому весеннему небу плыли кудрявые облака, веселым блеском слепили окна. Грохот колес по камням мостовой и птичий щебет звали в неизвестность, обещали новую жизнь.

По утрам санитарная комиссия забывала осматривать руки и уши, половина учеников отсутствовала.

В начале мая заведующий обошел классы и объявил, что скоро придет ревизия, надо подтянуться и показать себя достойными Партии и правительства. Санитарная комиссия вспомнила свои обязанности, на общем собрании постановили не пропускать без уважительной причины ни одного дня. В классах вымыли полы, в умывалке положили кусочек мыла. Лучшие художники, Дима и большой парень из седьмой группы, рисовали диаграммы — рост образования и количества потребляемых продуктов.

В день, когда ждали ревизию, заведующий выдал перед большой переменной мяч и велел организовать показательную игру.

Среди двора, на маленьком кусочке не залитой асфальтом земли, зеленела трава, цвели одуванчики. Девочки ходили сцепившись по пять, по шесть, хихикали и шептались. Проходя под тополем они подпрыгивали и с визгом рвали пахучие желто-зеленые листья.

— Ребята, гляди! — крикнул сидевший на пожарной лестнице мальчишка.

Все повернули головы, игра остановилась, девочки, сбившись в кучу, заглядывали в открытые окна школы. Кучка незнакомых людей передвигалась из комнаты в комнату. Впереди, пятясь спиной, шел заведующий, показывая на развешанные диаграммы.

— А, бузят чего-то! — крикнул мальчик, прижимавший мяч к груди: — Лови, ребята!

Отталкивая друг друга, они кинулись всей гурьбой за ним. Опять двинулись стайки девчонок, перекликаясь неестественными голосами и притворно вскрикивая.

Дима сидел на земле под тополем. Закинув голову он смотрел вверх, туда где трепетали пронизанные солнцем молодые листья. Верхушки деревьев поднимались высоко в небо, там был покой и тишина. Сквозь редкую зелень проходили солнечные лучи, грели и щекотали его лицо. Легкие пушинки плыли в воздухе, медленно опу-

скались на траву и на его рубашку. Откуда-то сверху, с неба или с дерева, упала чистая капля воды и, не разливаясь, застыла на его руке. Он старался не шелохнуться, чтоб ее не уронить.

Наступившая тишина заставила его очнуться. Он двинулся и капля скатилась на землю. В дверях раздевалки стояла кучка людей. Заведующий, в кожаной куртке, со значком на груди, говорил что-то толстой старухе, она кивала головой то медленно, размеренно, то вдруг быстро, быстро. Двое других стояли с учителем истории. Вытянув шею Дима беспокойно разглядывал спину женщины в непромокаемом пальто. Пальто было незнакомое, но спина принадлежала его матери, и волосы были ее, и коричневые, нерусские башмаки. Учитель сказал что-то смешное, она громко расхохоталась и повернула голову. Дима поморщился — никогда раньше она так не смеялась, будто нарочно притворялась, что ей весело.

— Дима! — крикнул заведующий, оглядывая толпу школьников : — Чернышев, Дима!

— Ага, попался! — зашипели девченки : — Димка, слышишь?

Он медленно поднялся и пошел, волоча ноги, к раздевалке.

— Ну, вот это и есть Дима!

Он чувствовал, что она беспокоится, что ей за него стыдно, она боится, что он не понравится этим людям. Толстая старуха рессеянно взглянула и отвернулась, человек в желтых сапогах продолжал говорить с учителем.

— Поздоровайся же, Дима! Это товарищ Сивков, у него такой же мальчик как ты, живет в деревне, работает.

Человек в желтых сапогах повернул голову и посмотрел на ворота конюшни.

— Расскажи какие у вас есть организации, — оживленно, фальшивым голосом говорила мать, — и вообще все, что у вас делается!

— Никаких организаций нет, — ответил он угрюмо :

— Была одна, да распалась — обещали велосипеды, ребята стали записываться, а потом...

— Ну, как же, как же! — поспешно перебил заведующий: — Есть санитарная комиссия, следят за чистотой на дому и в школе, есть кружок самодеятельности, стенгазету я вам показывал — все руками учеников, без посторонней помощи...

Человек в желтых сапогах смотрел на Диму холодными, злыми глазами.

— Партийная ячейка есть? — спросил он отрывисто: — Вот и займись!

Дима проглотил слюну. По спине у него пробежала дрожь.

— Меня это не интересует! — пробормотал он хрипло.

Мать положила руку на его плечо и слегка оттолкнула.

— Ну, хорошо, иди!

Он повернулся и медленно пошел обратно под дерево.

— На него находит, — дошел до него голос матери, — нарочно из упрямства будет притворяться...

— Индивидуальный подход, — заискивающе перебил заведующий, — но прекрасный мальчик...

Вечером он ждал ее готовый к стычке. Ну и пусть сердится, пусть говорит, что хочет. Даже если правда пошлет в эту самую детскую колонию, всегда можно убежать.

Он задремал, но проснулся, когда она вошла в комнату. Не открывая глаз, сквозь ресницы он видел как она обошла вокруг стола и остановилась перед зеркалом. Он не мог понять, что она делает, почему стоит там как долго. Голова ее наклонялась то вправо, то влево, обеими руками она надвигала шапочку на лоб, откидывала ее назад, взбивала волосы, приглаживала брови, застегивала и расстегивала пальто.

Так же как утром в школе в ней было что-то про-

тивное, фальшивое и, чтоб рассердить ее, он нарочно толкнул стул.

— А, ты не спишь! — сказала она весело: — Тебе нравится мое пальто? Заграничное, непромокаемое... Ты глупо себя вел сегодня. Лови! Это он прислал.

Маленькая плитка шоколада перелетела через стол и упала рядом с диваном.

— Кто прислал? Этотдохлый судак?

Дима протянул руку и отбросил шоколад под печку.

— Фу, какой ты глупый! Чего ты злишься! Слушай, что я хочу тебе предложить...

— Ничего мне не надо, оставь меня в покое!

— Хочешь поехать в Ненашево? На все лето...

Боясь верить своим ушам, он смотрел на нее с изумлением.

— Я правду говорю, сейчас же как кончится школа...

31.

Вырвавшись из набитого людьми вагона, Дима долго стоял на платформе, оглушенный, измятый, с оборванными пуговицами, и смотрел вслед уходившему поезду. С задней, облепленной людьми, площадки кто-то махал ему зеленой веткой; дружное пение поднялось, ударило в пустой пакгауз и разлилось по полям. В наступившей тишине слышны стали голоса шагавших по шпалам баб, свист иволги и скрип телеги. Над затихшей станцией сияло высокое, ясное небо.

Он пошел по струившимся, переливавшимся рельсам, потом сбежал вниз под откос и зашагал по мягкой тропинке. Весело журчал ручей, пахло молодой травой, теплые лучи солнца грели ему спину. Лес издали сливался в буро-желтую массу, но чем ближе он подходил, тем ясней выступали отдельные деревья — мелколистая, блестящая береза, увешанные красными сережками осин-

ны, дубы еще голые, в набухших розовых почках. За оврагом желтели заросли кустарника, над ними поднимался частокол серых стволов. В чаще земля была покрыта мокрыми прошлогодними листьями; посреди лужайки, покрытой нежной молодой травой, стояла, вся в крупных бело-розовых бутонах, дикая яблоня.

Дно оврага было залито водой, струйки журча обегали мокрый черный камень и разбухшие пни. По сторонам лезли из прошлогодней сухой травы толстые зеленые листья. Дима перебрался по упавшему дереву на другую сторону. Впереди, в мелком, недавно сведенном, лесу свистели, пищали и тюкали птицы, на голой вершине дуба дробно постукивал дятел.

В поле припекало солнце, пахло распаренной земли, кое-где шевелились люди. Уже видны были березы по канаве Ненашевского сада, все сильнее доходило благоухание цветущих яблонь.

С бьющимся сердцем он поднялся на взгорок и жадно, одним взглядом охватил сразу все — и широкий двор в желтых одуванчиках, и надежные, неизменные стены серого дома и палисадник с крутыми завитками цветов. И все оказалось в действительности еще лучше, чище и великолепней, чем он ждал.

Кто-то заметил его из окна, он услышал топот бегущих ног, дверь распахнулась и он потонул в мягких, теплых объятиях.

Опьяненный близостью земли, запахами и звуками, он несколько дней ходил как потерянный. Ему хотелось лечь, зарыться лицом в траву и ни о чем не думать, но бабушка не оставляла его в покое.

— Господи, какой ты тощий, одни кости! Почему ты ничего не рассказываешь? — допытывалась она: — Куда ты все убегаешь? Ну, скажи, как мама? Ты так изменился, должно быть ты меня больше не любишь...

Он морщился и крутил головой, стараясь освободиться от объятий, от лезущих в душу глаз. Ему все время хотелось есть, он никогда не насыщался и после обеда

уходил в кухню, садился на лавку, смотрел как Груша моет посуду и доставал из чугуна холодную, скользкую картошку, сваренную для свиней.

Через месяц ощущение голода притупилось, он вдруг стал расти. Рукава рубашки на вершок не доходили до больших, тонкокожих рук, ворот не застегивался.

— Подожди, Люба ! Стань рядом, смотри — он выше тебя !

Люба нетерпеливо хмурилась, она всегда куда-то спешила. Бабушка достала из сундука Серезины парусиновые рубашки, заставила его мерять, долго и скучно что-то рассказывала, а он задира голову и стискивал зубы. Один, в холодной гостиной он долго стоял перед зеркалом, подтягивал пояс, осторожно поглаживал верхнюю губу.

— Ну, теперь можно и на улицу итти, — игриво подмигнула Груша, — а то что вы одни сидите . . .

— А что там ? — спросил он неуверенно.

— Известно что, песни играют, пляшут — всё веселей чем дома.

В субботу после ужина, когда он бросал с плотины калмышками в квакавших лягушек, принарядившаяся, в голубом платочке Груша остановилась на дороге.

— Ну, идете что ли ?

Он вскочил и отряхнул со штанов землю. Забор, отделявший усадьбу от деревни, был разрушен, в березовой роще стоял чужой, еще недостроенный дом. Кое-где в спускавшихся сумерках еще возились мужики, отпрягали лошадей, убирали сбрую. В темных избах не зажигая огня устало тыкались бабы, цедили молоко, собирали ужин. Рысью проехала запоздалая телега со свеженакосенной травой. Груша шла уверенной, разухабистой походкой.

— Эй, девка, — крикнул мужик, сидевший на ступеньках, расставив разутые ноги : — где это ты кавалера такого нашла ?

— Мы, дядя Петра, кавалерами не нуждаемся, — бойко отрезала Груша.

Из-под бугра выехали босоногие мальчишки верхом на потных, усталых лошадях.

— Эй, Дима! — крикнул один, размахивая пугами: — Айда в ночное!

Лошади шли шагом, мотали головами и хвостами, отгоняя мух, толкались круглыми боками. В воздухе остался запах пота и пыли. Под навесом старик укладывался спать на сколоченной из досок, узенькой койке.

— Здорово, дед! — крикнула Груша и, взмахнув руками, побежала с косогора вниз.

На лугу, где пятый год лежал лес для школы, толпился народ, слабо попискивала гармошка. Дима вскарабкался на бревна и подобрал ноги. Внизу, как воробьи на проводах, сидели девки; сбоку положив локоть на бревно, стояла пожилая баба в черном платочке; другая, с трудом удерживая рвавшегося на веревке телка, рассказывала длинную историю.

— А я ей говорю: „Стерва ты, хушь ты мне и дочь! Что ж ты до беды хочешь достукаться, что ли?“ Пошла, милая моя, пошла и не поглядела, а я и не ложилась, сижу, жду. Петухи пропели, слышу идет, полсапожки сняла, думает не учую. Я ведь ничего не говорю, дело молодое, гулять — гуляй, ходить — ходи, да ведь надо же и меру знать... С меня бы отец-покойник три шкуры спустил за такие дела! Нет, теперь народ бессовестный пошел...

— Уж это двистительно, — согласилась другая женщина.

— Девка то хороша, вот что обидно. Другие отчаянные, смелые, ни отца ни мать не уважают, ну и она за ними. Она хоть не грубит, а тоже слова не скажи, как что — фабрики, говорит, пойдут, уеду, хоть на наряд заработаю.

— Это конечно, время нынче такое. А я, бывало, по господам жила, так они и все так — ночь, полночь, им и горя мало, и тебе сидят, и тебе сидят, уж видать и самим неугоду, а не уходят... То на музыке играют,

то говорить зачнут, а что, к чему не поймешь! Так для проведения времени...

— Это может господа, а нашим то о чем им говорить?

У Димы затекли ноги, он двинулся, и бабы подняли головы.

— А я и не вижу тут барчук сидит, — сказала одна: — Да и то какие же нынче господа, все на одном положении... Вот и хорошо, что пришли — на народе за- всегда веселей!

Девки запели вполголоса „Хаз-Булат удалой“, но кто-то засмеялся и пение оборвалось.

— Будет вам зря валандаться, — заметила одна из женщин, — уж сыграли бы как следует, а то пора и домой.

— А я слыхала ее не так поют, — сказала высокая, рыжая девка с шарфом на плечах.

Она стояла лицом к бревнам и притаптывала ногой в стоптанной городской туфле. На секунду ее светлые глаза остановились на Диме, она наклонилась и спросила что-то у Груши.

Медленно, будто нехотя, девки поднялись и перешли на вытопанную площадку. На бревнах остались три девочки-подростка, наклоняясь друг к другу, давясь смехом, они шептались и поглядывали на Диму. Одна, черноглазая, с нерусским твердым лицом, так и брызгала веселием — она то притворялась что падает, и хватала подруг за руки, то вскакивала и уговаривала их куда-то итти. Другая, светловолосая, в съехавшем на шею платочке, смотрела спокойно и задумчиво, будто прислушивалась к чему-то вдалеке. Лица третьей Дима не видел, она сидела к нему спиной и то останавливала черноглазую, то начинала вместе с ней хохотать.

На площадке водили хоробыды; пение рекой разливалось по лугу, поднималось над усадьбой и замирало вдали. Волна за волной вступали голоса, сначала звонкие, хрустальные, а за ними низкие, тяжелые как земля.

Вдруг темп изменился, дробно зачастила гармошка, ладно ударили о сухую землю босые ноги.

Ходи, милый, чаще,
Чего тебе слаще,
Хочешь сахар, хочешь мед,
Хочешь девка обоймет . . .

Догорела над садом заря, девочки незаметно исчезли, Дима озяб в своей парусиновой рубашке, а они все пели и пели, выбивая дробь назнающими усталости ногами.

Возвращались по залитой лунным светом дороге, Дима шел как пьяный, в теле была странная легкость, ноги не доходили до земли. Груша громко посапывала и спотыкалась. Над прудом косою волной висел туман, лягушки уже не квакали, а стонали на одной высокой ноте, и Диме казалось, что звук идет сверху, будто где-то над деревьями дрожит натянутая струна. С луга еще доносилось пение, но не громкое, разухабистое как раньше, а прозрачное, отделившееся от земли. Из сада пахло мокрыми, тяжелыми от росы цветами. Раза два неуверенно тьякнул Барсик и, узнав, запрыгал, загремел цепью.

Дима ходил на улицу еще раз, но девочек не видел, зато встретил беленькую на дороге за садом. Она шла опустив голову, покусывала травку, в левой руке у нее был узелок, должно быть носила в поле полдник. Ее босые ноги были серы от пыли, выражение лица было тихое, задумчивое. Дима не решился поздороваться и долго смотрел ей вслед.

Черненькую он видел на базаре в Хвошне. Она сидела рядом с отцом, в высокой, резной телеге и, узнав его, блеснула веселыми глазами.

— Подожди, Дима! — сказала бабушка, поворачиваясь всем телом назад, — это кузнец . . .

Отец девочки остановил лошадь и передал ей вожжи. Дима сел вполоборота, чтоб видно было девочку. Она играя накручивала вожжи на обе руки и заваливалась

назад, притворяясь что не может удержать лошадь. Глядя на ее веселую, ясную улыбку, он перестал стесняться и тоже улыбнулся. Кузнец стоял рядом с тарантасом, его рука с выпиравшими мускулами, вся в крупных, черных порых, лежала на козлах, черная борода то загораживала девочку, то откидывалась назад и Диме виден был блестящий круглый глаз, такой же как у девочки, только невеселый.

— Пустое болтают, — брезгливо говорил кузнец, — где они есть? сколько их? У вас Тимошка да Ванька Левашкин, а у нас и никого нет. Какая их сила? Так слава одна... А знаете как говорится: иная слава хуже поношения!

— Это в деревне, а в городе их много.

— И там все одно, — уверенно перебил кузнец: — Видели председателя нового в Волисполкоме? Из города прислали, в тюрьме сидел за убийство — лучше не нашли!

— Ну, надо ехать, — ответила со вздохом бабушка: — А телку берите, только как я говорю — пуд меду, меньше нельзя. Уж вы меня не обижайте!

— Да разве мы кого обижали?

Выехали на большую дорогу. Впереди и сзади тархтели, поднимая пыль, телеги, разъезжались с базара мужики. У бабушки в ногах хрюкал завязанный в мешок поросенок. В лесу было прохладно, в глубоких колеях стояла вода, в ней отражалось небо с кудрявыми облаками.

— Он правда кузнец? — спросил Дима.

— А? Да, конечно. Они все — и отец, и дед... Они богатые, у них земли больше чем у нас было.

— А как ее зовут?

— Кого зовут?

— Ну, девочку... дочь...

— Это младшая? Я не заметила... Кажется, Ксюшей...

Дома бабушка с трудом вылезла из тарантаса, вынула визжавшего и бившегося в мешке поросенка и оста-

новилась около сарая с Любой. Дверь в кухню была открыта, после жары и слепящего блеска здесь было прохладно и темно. Дима бесшумно переступил порог и остановился. В кармане у него была купленная для Груши катушка. В кухне никого не было.

— Приехали? — тихо спросил за перегородкой незнакомый голос.

— Должно приехали, — громко ответила Груша: — Надо им обед собирать.

— погоди, я еще чего-то сказать хотела... Вот говорят, если за упокой помянуть, тоже помогает. Он жив, а ты его за упокой, ну, он и вспомнит!

— Да я поминала, — уныло протянула Груша.

— Не знаю, — задумчиво произнес незнакомый голос, — уж я этих мужиков перепробовала — конца краю нет. А все без толку, все ни к чему... Мне б одного какого найти, чтоб любил меня без памяти! А деревенские что? Они даже не понимают какая такая любовь бывает.

Груша вздохнула.

— Да нет, это что, — сказала она вяло, — это пустое. Я б замуж пошла, что ж так-то жить? Сватали меня, да не охота на детей итти — одна дочь выдана, другая невеста, да сыновей двое, женатых.

— Охота была за мужика итти. Влюбился б в меня кто, как в книжках описывают, я бы жизни не пожалела!

— Пора там, в книжках... Это у господ, да и то...

Дима шагнул к перегородке и прищурился, глянул в щель. На кровати сидела рыжая девка, на плечах у нее повис линялый шарф, в волосах торчала роза.

— Я читала, — сказала она, противно усмехнувшись, — если молоденького найти, который еще ничего не знает, такой всегда любить будет. Может, конечно, брешут...

Груша не ответила.

— Вот вроде вашего Димки, — громко прошептала рыжая: — Он, небось, и не знает какие такие девки бывают. А я бы за всякое время...

Дима рванулся, налетел на табуретку и выскочил на двор.

После этого он перестал ходить на кухню, перестал говорить с Грушей. Иногда, когда она подавала самовар или приносила обед, он ловил ее насмешливый, знающий взгляд и мгновенно давился, заливался горячей кровью.

В больших, прохладных комнатах блстели чистые полы, тихо колыхались шторы. Если б не бабушка он мог бы часами бродить по дому, разглядывать полузабытые вещи, рыться в пахнущих мышами, старых журналах. Но бабушка не оставляла его в покое, она все что-то выпытывала, давала ненужные советы, рассказывала скучные истории. Ему хотелось уйти, но он боялся ее обидеть. Люба ни разу не позвала его с собой в лес или на мельницу.

— Что ты можешь помочь? — говорила она, пожимая плечами: — Ты ничего не умеешь.

И правда, с ним всегда что-нибудь случалось — то он забывал запереть ворота и корова залезала в огород, то играя с собаками нечаянно снимал с Барсика ошейник, и дуря от непривычной свободы, пес кидался на деревню. Пospели ягоды, Дима должен был часами сидеть с Грушей и бабушкой в колючих кустах, под палящим солнцем, заниматься унизительным, бессмысленным делом.

— Ты варенье любишь?

— Мальчики делают что-нибудь другое, — возражал он мрачно.

— Их только пусти! — лезла в разговор непрощенная Груша, — они бы рады...

Раз, дождавшись когда Марья Михайловна ушла в дом за корзиной, она перехватила ветку смородины и подвинулась к Диме.

— Вам один человек поклон прислал, — прошептала она, поглядывая на калитку.

Дима проглотил слюну.

— Какой человек ?

— Барышня одна, очень вами интересуется . . .

— Как ее зовут ?

— Зовут зовуткой, величают уткой. Приходите после ужина на плотину — сами увидите.

— Это рыжая ? — догадался он.

— Ну и что ж такого, если рыжая ? Это раньше разбирали, нынче все равные, такой закон ! Она и поговорить может, вроде образованная, книжки читает.

— Чья она ?

— У Судаковых живет. Да она шпитонок, от объездного взята. Знаете какие такие шпитата бывают ?

— Н-не совсем . . .

— Из шпитательного дома. Дом такой есть в Москве огромный. И все туда ребят несут, которые не могут пропитать, ну, не могут там или не хотят — не знаю. Все больше девки, незамужние, родит, а девать некуда, ну и снесет, сдаст. А которая на порог положит, сама стоит за углом, ждет — возьмут или нет. Свое дитё — жалко ! Она, Маруська, может из благородных, отец, поди, барин был . . .

На другой день возили снопы и Люба согласилась его взять.

— Куда ты кладешь ! — кричала она сердито : — Какой ты дурак, ну как я ухвачу, когда ты колосьями вперед суешь ? Не протыкай так глубоко, вилы не вытащишь ! Ну вот уронил !

Он терпел, смущенно улыбаясь. Сколько ни показывала ему Люба, он не мог научиться увязывать воз.

— Ну, смотри ! Сначала на другую сторону, потом накрест, теперь на этот угол . . .

Он покорно лез под колючие снопы, терял картуз, обдирали руки, а следующий раз забывал опять.

В конце августа началась молотба. Двор наполнился народом, звонко перекликались девки, бабы сбившись в кучу, толковали о своих делах. Дима смотрел издали, мучительно придумывая, как подойти и что сказать.

В риге все быстро нашли свои места, девки обмотали тряпками руки, опустили платки на глаза и выстроились перед барабаном. Мужики возились около привода, лошади на ходу дожевывали траву, выпуская на губы зеленую пену. Вот дернулся, застучал привод.

— Эй, пошел, пошел, пошел, — звонко закричал мальчишка-погонщик.

Зубья барабана двинулись, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, замелькали и слились в один сплошной, струящийся поток. Со свистом вылетела солома, девки подхватили, подкинули.

— Чего ж вы так стоите? — крикнул кто-то над Диминым ухом.

Ему сунули грабли, девки подвинулись.

— Да вы туда не глядите! — заорала его соседка, стараясь перекричать грохот: — Глаза запорошит...

Он зажмурился, неловко подхватил солому, сунул не глядя дальше, а справа уже надвигался новый, шуршащий, пахнувший пылью вал. Было нестерпимо жарко, горло пересохло, резало глаза, болела спина, гладкая, полированная ручка граблей обжигала ладонь. А солома все надвигалась и надвигалась. У всех была легкая работа — Люба просто развязывала снопы, молодой мужик подхватывал их кожаными рукавицами и спускал в барабан, под самой крышей другой мужик разбирал снопы и бросал их вниз, а мальчишка-погонщик катался и покрикивал, сидел под открытым небом, где не было ни свиста, ни грохота, ни пыли. Все это мог делать он, Дима, не хуже... Просто свинство, что Люба не позволила ему погонять, подумаешь какое тут умение!

И все-таки после обеда он не остался дома, а поплелся в ригу, главное потому что бабушка смотрела жалостными глазами и уговаривала отдохнуть. Его поставили на омет топтать солому. Над ним было твердое синее небо, сбоку нависали желтые ветки березы.

Опять загрохотала молотилка, из ворот вырвался столб пыли и чьи-то сильные руки кинули ему первый навильник. Он не успел разровнять, как с другой стороны

бросили еще, потом стали валить непрерывно справа и слева. Он подхватывал, тащил туда, где были ямы, сухая солома колола руки, ноги наступали на свисавшие концы, он падал и долго не мог подняться. А снизу все бросали и бросали, не замечая, что он выбивается из сил. Он уже не пытался ровнять и только топтал дрожащими ногами, проваливался в пустоты и задыхался. Расцарапанные руки горели, омет, словно трясина, ходил под ним ходуном, вокруг росли горы светлой, душистой соломы. Когда молотилка остановилась, он упал плашмя и заплакал.

— Высоко, — сказал внизу спокойный мужской голос, — журавлем надо !

— Дима, жив ? — крикнул кто-то : — Знаешь как веревку развязывать ?

— Ничего он не знает ! — ответила за него Люба.

Он заплакал сильнее. Надо убежать, съехать сзади в канаву, никто не заметит, пусть испугаются, подумают, что завалили.

По краю омета ерзал конец длинной лестницы, кто-то лез наверх. Дима сел и вытер лицо подолом рубашки. Показалась замотанная платком голова, на покрытом пылью лице блеснули белые зубы.

— Уморились ? — ласково спросила женщина.

Он не ответил, ему было все равно, он уже не чувствовал ни стыда ни обиды. Баба размотала платок и встряхнула его сильным движением, растрепанные рыжие волосы метнулись на синеве неба. Не обращая на него внимания, она хозяйственно завозилась вокруг, ровняя бугры, заваливая ямы.

Заскрипел журавль; медленно, покачиваясь поднималась в небо груда соломы. Рыжая кинулась вперед и подняла руки.

— Вы отдыхайте ! — крикнула она на ходу.

Он лежал вытянувшись, наслаждаясь покоем; верным чутьем он знал, что рыжая не выдаст и никому не скажет. Постепенно дрожь унялась, он уже хотел встать, но шум внизу стал перебиваться, из сплошного

грохота выделились отдельные звуки — тарактение ба-
рабана, стук привода, звон копыт о железо.

— Шабаш! — крикнул веселый голос.

Застрекотали, засмеялись девичьи голоса, заржала лошадь, подзывая жеребенка.

— Эй! — крикнули снизу: — Принимай последний!

Журавль качался и дрожал, целый воз соломы повис в воздухе над Диминой головой. Рыжая подпрыгнула, ухватила конец веревки и упала рядом с ним. Сухая шестая масса обрушилась на его голову, закрыла весь мир. Ему показалось, что он сейчас задохнется, в ужасе он забился и закричал. Солома приподнялась, вокруг образовалась светлая, жаркая пустота и близко, у самого плеча, выплыло потное, красное лицо.

— Ну, чего ты? — прошептала рыжая: — Миле-
ночек мой, как уморился! Ты меня не бойся, я тебя не обижу, я тебя любить буду... Ты, поди, с бабами и не играл никогда?

Он попробовал отодвинуться, но она перекатилась за ним, цепляясь за его рубашку, некрасиво выпячивая тонкие, бледные губы.

— Ты в сад приходи после ужина, я ждать буду у сажалки, там никто не ходит. Ну, чего ты боишься?

Она ухватила его за пояс и прижалась щекой к его руке. Он уперся в ее плечи и откинулся назад, но она продолжала надвигаться, ее лоб в капельках пота коснулся его подбородка, отвратительно пахнуло луком, и уже не церемонясь, он стал отталкивать ее руками и ногами, бить куда попало, с отвращением чувствуя горячее, мягкое тело.

Солома раздвинулась, он увидел небо и набрал полную грудь свежего, прохладного воздуха. В ту же секунду омет качнулся и поехал в сторону. Цепляясь, стараясь удержаться, он раскинул руки, ухватился, но солома вырвалась, и он полетел в пропасть. Ему больно обожгло щеку, земля прыгнула навстречу и гулко стукнула.

Дима пролежал в постели целую неделю. Земский доктор долго мял его плечо, Дима стонал и делал гримасы. От доктора пахло махоркой и лекарствами.

— Все в порядке, ни перелома ни вывиха не наблюдается, можете э-э-э... — доктор поймал испуганный взгляд Марьи Михайловны и пожал плечами: — Ну, полежите денек, другой, если возможность есть... Да, если возможность есть...

Первый день боль то поднималась, то утихала. Если в комнате кто-нибудь был, он стонал и закрывал глаза. Подушку переложили на другую сторону, теперь он лежал лицом к открытому окну... В саду срывались и глухо стукали о землю яблоки, каркала ворона, отчетливо, как человек, выговаривая „кар-кар“.

Груша приносила обед и ужин. Боясь расплескать суп, она шла опустив глаза, вцепившись обеими руками в тарелку. Он делал вид, что спит. Один раз она долго оставалась в комнате, мыла пол, медленно перегоняла тряпкой грязную воду, двигала мебель. Ему хотелось заговорить, спросить про тех девочек, сказать, что он хотел бы навсегда остаться в деревне, построить светлую, веселую избу. Но он боялся, что она напомнит про рыжую и все испортит.

— Груша? — окликнул он.

Она распрямилась, откинула мокрой рукой волосы, из впадинки под глазом струйкой бежал пот.

— Чего ты так смотришь, будто боишься?

Она наклонилась и стала поспешно вытирать пол у порога.

— С вами до беды! — сказала она загадочно и, подхватив ведро, вышла из комнаты.

Часто заходила бабушка, потоптавшись по комнате, она садилась с шитьем в ногах кровати.

— Дима, ты Расскажи, — начинала она осторожно, — как все было! Эта девка сказала, ты испугался журавля и двинулся к краю. Ты же не маленький, нельзя

быть таким неосторожным... А может она что-нибудь говорила... или хотела тебя поцеловать? Ты не стесняйся, ведь мы с тобой друзья... Помнишь, как мы раньше говорили?

Он морщился и отворачивался к стене.

— Ну, чего ты все молчишь? Зажался как устрица... Хочешь, я тебе почитаю? Что-нибудь хорошее... Ты читал Дворянское гнездо?

— Да, кажется. Почитай, если тебе хочется.

Люба заходила редко.

— Ты видел ключи от амбара? Куда ты девал мой кнут? Я знаю, ты брал!

Было приятно, что она не спрашивает о здоровье, делает вид, что ничего не случилось. Только раз, проходя мимо кровати, она презрительно пробурчала: „Дурак, вот дурак!“

Пролежав неделю, он стал бродить по дому и по саду. Все изменилось за время его болезни — солнце стало ниже и бледней, погустели тени на траве, сад стал прозрачней. В еловой посадке по утрам долго не просыхала роса, у него промокали ноги, низ штанов прилипал. Здесь было много грибов, зеленовато-белых и красных, но он не умел отличать хороших от плохих и после того, как его подняли на смех, перестал собирать. Знал он только сыроежки — в старых, огромных, с загнутыми краями, стояла вода, плавали еловые иглы и комарики — шляпки хрупко рассыпались под башмаком.

За садом, в поле было пусто, блестела на солнце паутина, на голых былинках сидели застывшие, сложенные вдвое, бабочки, похожие на голубые цветы. Далеко у леса бродило стадо.

В нем тоже что-то изменилось, ему казалось, что все смотрят на него насмешливо и подозрительно. Завидев издали человека, он круто сворачивал в сторону.

Андрей Сивков добрался до Вешек к вечеру. Со станции он шел пешком, оглаждался по сторонам на переливавшиеся волнами поля, на бродившую по скошенным оврагам скотину, несколько раз садился отдышаться, неспеша стругал ореховую палку.

В овраге у самой деревни он долго стоял на новом, только что отстроенном, мосту, облокотившись на гладкое, еще липкое дерево перил, слушал тихое журчание воды и носком сапога сталкивал вниз комья земли с торчавшей из нее сухой травой и корнями. При каждом всплеске лягушки под мостом переставали квакать и слышно было, как пищит в гречихе какая-то птичка.

Солнце село, сильнее запахло водой, дно оврага затянуло дымкой. Он поправил пояс, нахмурился и твердыми шагами поднялся на пригорок. В деревне звонко перекликались голоса, беспокойно блеяли овцы. Он пошел задами, вдоль старых риг, окруженных аккуратными, круглыми стожками. Пахло пылью и сеном. Свою ригу он чуть было не пропустил, на ней была новая крыша. Желтая, не успевшая потемнеть, солома была ровно подстрижена, ток чисто выметен.

На соседнем огороде старуха, набивавшая в мешок траву, подняла голову и долго смотрела ему вслед, что-то соображая. Чем ближе подходил он к дому, тем ясней делались памятные звуки — чирканье молока о дно ведра, хруст травы.

— Стой, тебе говорят! — крикнул знакомый, изменившийся голос: — все глаза выстебала!

Он обошел вокруг и поднялся на крыльцо. В избе никого не было, мухи зажужжали и забились в развешанной на стене одежде. Пол был недавно вымыт, доски под столом еще не просохли, на лавке под скатертью круглились вынутые из печи хлебы. Все было скудно и просто, на всем был покой летнего субботнего вечера.

Он поднял кружок с кадушки и зачерпнул воды.

От корца пахло ржавым железом, зазубренный край резал губы. Вошла Стеша, не замечая его, она стала доставать из печки махотки. Голова ее была раскрыта, загорелое лицо резко отделялось от белой, очень тонкой шеи. Сивков опустил корец на деревянный кружок.

— Кто это? — крикнула она тревожно: — О-ох! А я и не вижу! Андрюшенька, батюшка! — пробормотала она расслабленно и, уронив цедилку, опустилась на лавку.

— Ну, здравствуй! — недовольно сказал Сивков: — Чего ты? Как живете? Все благополучно? Дети здоровы?

Она крепко схватила его руку своими двумя и, не зная что делать дальше, раскачивала ее вверх и вниз.

— Здоровы, все здоровы, — зашепила она, справившись наконец с волнением: — Ты то как? Похудел вроде... Манька за яркой побегла, отбилась ярка от дому, сладу нет, как пригонят скотину, так и зальется невесть куда...

— Николка то где?

— Ушел он... Ах, батюшки родимые, не знал ведь он, где ж было знать! Ушел с ребятами в Павлово, представление у них там в школе... Ай, послать кого?

— Зря, не надо, придет — увижу.

— И попотчевать тебя мне нечем. Не емши поди? Ну, молочка тепленького попьешь, да хлебы я нынче пекла, муки то до новины не хватит, лебеду мешаем. Нам то грех жаловаться, слава Богу, а другие из одной из коры... Плохой был год, сколько народу переболело, у Емельяновых бабка померла, у наших отделенных двух ребят Бог прибрал, Федот Липкин...

Она говорила и говорила, боясь остановиться, стараясь догадаться зачем он приехал — случилась ли какая беда, или соскучился, а может совсем, навсегда?

Сивков сидел за столом, жевал липкий, теплый хлеб и запивал молоком. На крыльце застучали быстрые шаги, высокая девка уверенно распахнула дверь, мотнула в сумраке белой юбкой.

— Ты что ж, маманя, огня не вздуваешь? — спросила она недовольно.

Стеша торопливо кинулась к висячей лампе, чиркнула спичкой.

— А ты и не видишь кто приехал? — радостно и беспокойно спросила она: — Или отца не признала?

Сивков с удивлением разглядывал дочь — она была совсем взрослая, большая, широкоплечая, с тугосжатым ртом и холодными серыми глазами.

— Ну, здравствуй, Маня! — сказал он.

Она подошла, подала ему руку и поцеловала сухими, твердыми губами.

— Где мой полушалок голубой? — спросила она, поворачиваясь к матери: — Я на представление пойду, все девки идут.

Не обращая внимания на отца, она долго возилась перед зеркалом, мусолила брови, перевязывала платок. Потом, не прощаясь, пошла к двери.

— Я в холодной лягу! — крикнула она из сеней.

Сивков молчал. Он чувствовал на себе вопросительный взгляд жены, искал и не находил нужных слов.

— Что-то она какая-то, — сказал он наконец, — не поймешь, будто и не дочь — ни в мать ни в отца.

— В свекровь-покойницу! — громко ответила Стеша: — Вылитая!

Он понял, что она гордится дочерью, ее ростом, статностью, а главное твердостью, которой у нее самой никогда не было.

Стали приходиться соседи, должно быть Манька рассказала об его приезде. До поздней ночи в избе толпился народ, расспрашивали про Москву, интересовались скоро ли откроются монопошки. На столе появилась бутылка с самогонкой, поднесли гостям, гости поздравили с приездом. Изба наполнилась махорочным дымом. То здесь, то там — у печки, в дверях, наклоняясь через чье-нибудь плечо — мелькало счастливое, взволнованное лицо Стешы. Наконец гости ушли.

— Ишь, надымили, — сказала она озабоченно и распахнула дверь.

Потянуло прохладой деревенской ночи; металлическим звуком на одной ноте трещали сверчки. Качаясь от усталости, Сивков упал навзничь на широкую кровать и сейчас же его куда-то занесло, как зимой на раскате, изба исчезла и он провалился в пуховую гору. Но что-то все мешало, будто лапки паука щекотали лицо, он морщился, поворачивал голову, стараясь уйти от легких, осторожных прикосновений, наконец вздрогнул и очнулся. Стешина рука робко гладила его голову, расправляла волосы, пробегала по плечам, по груди, возвращалась назад. Она что-то шептала, приговаривала, а он лежал с закрытыми глазами, делая вид что спит, прислушивался к ее нерешительным движениям. И вдруг легко одним движением перевернулся на бок и протянул руки.

— Ну, где ты тут? — пробормотал он, усмехаясь.

— Голубчик мой беленький! — всхлипнула Стеша, обхватывая его шею руками.

В эту короткую ночь она почти не спала; даже забываясь, она продолжала шевелить рукой, отгоняя от него мух. Когда окна посерели, она поднялась и занавесила их одеждой.

Подоив корову, она, не будя Маньку, сама погнала скотину на выгон. Бабы встретили ее усмешками и шуточками.

— Ишь, Стенька разругянилась, будто молодайка . . .

— Глаза то блестят!

— Надолго приехал?

— Да и то сказать, бабы, часто ли ей приходится с мужем поспать?

Как в большой праздник все было в это утро особенное и, убравшись, она надела чистую блузку, повязала белый, желтыми горошками, еще нестиранный платок. Сивков встал поздно. При первом взгляде в его сумрачное, недовольное лицо она замерла и вся потускнела. Подавая ему умыться, она все старалась поймать его взгляд,

разгадать что случилось, чего он сердится. Но он отворачивался и молчал.

— Что ж ты долго не писал, Андрюша? — спросила она робко.

— Значит нельзя было, — ответил он холодно: — Деньги получила?

— Получила, получила. Спасибо, что не забываешь. Которые на Святой прислал — детям обужу справила, а которые допреж — за крышу отдала, крыша на риге протекать стала...

— Я за делом приехал! — строго сказал Сивков: — Что ж мы живем — ты здесь, я там — ни муж ни жена, не поймешь что...

Она крепко прижала руки к груди.

— Да я, Андрюша...

— Не в том дело! Я тебе прямо скажу, мне тоже хочется свой угол иметь, надоело по чужим людям мотаться... да и годы подходят. Ну, какая моя жизнь была, разве я какую радость знал? Тюрьма да сума, как говорится...

— Да разве я против? — пробормотала она поспешно: — Хозяйства только жалко...

Сивков поморщился и махнул рукой.

— Ты погоди, дай кончить, ни к тому я говорю совсем! Ну, что ты в городе делать будешь? Ни слова сказать, ни с людьми обойтись... Ты сама понимать должна — мы с тобой не пара, вот что! О чем мы с тобой можем говорить? О хозяйстве только, а мне это без внимания. У меня другая жизнь, я может с самыми умными людьми разговариваю, я только сейчас до настоящего дела дорвался...

— Да я, Андрюша, нешто жалуясь? — прошептала она упавшим голосом, лицо ее побледнело, на лбу выступили коричневые пятна: — Ай, ты нашел какую? Как же я то? — жалостно всхлипнула она.

— А если и нашел? — развязно заявил Сивков, довольный что она наконец поняла: — Что ж я хуже

людей, что ли? Все один да один, неужели и напоследок нельзя пожить в удовольствии. Вон кум Николай Митрофанович, в годах уже, куму в деревню отправил, взял молоденькую . . .

— Грех то какой! — пробормотала Стеша, со страхом глядя ему в рот остановившимся, тупым взглядом.

— Грех, грех! Довольно уж этим головы забивали. А не хочешь греха, — решительно и грубо сказал он, — давай разводную! Я за этим больше и приехал.

Она заплакала не сразу, сперва тихо, потом все громче и громче, горестно раскачиваясь из стороны в сторону. Пришли на ум привычные слова, возникавшие в памяти при всех катастрофах — о детушках, о голубчике сизокрылом, улетающем в дальние края. И здесь они подошли, как подходили всегда.

— Ну, поехала! — крикнул он с отвращением: — Ты мозгами пошевели! Это раньше так было — ошибутся и мучаются всю жизнь, ни себе радости ни другому. Ну, как мы с тобой венчались? Отец с матерью сосватали, а была б ты не Стеша, а Наталья или Акулина и все тоже было бы. Нет, теперь не так! Теперь если нашел человека по душе . . .

— Да что она сахарная, что ли, барышня то твоя?

— Дело не в том, — солидно произнес Сивков, — мне человек подходящий нужен, вот что! Может и ты кого себе найдешь, года твои нестарые . . .

После этого она заплакала так громко, что кто-то заглянул с улицы в окно. Весь день пошел кувырком, никто не обедал, Манька взглянула на плачущую мать, ни слова не говоря отрезала хлеба, достала из печки чугунок с картошкой и унесла все в холодную избу.

А они все говорили и говорили, то сердито и запальчиво обвиняя друг друга, то стараясь разжалобить и задобрить.

— Я ведь по-хорошему хотел, без обиды . . . А раз ты так, я и без тебя справлюсь — заявлю, что мы десятый год вместе не живем и ничего между нами

нет. Получу — хорошо, а не получу, так с ней буду жить — она согласна.

— Какая ж она после этого шлюха, если на такое дело идет!

— Не у всех голова соломой набита...

Горестно глядя в его сердитые глаза, она представила себе развязную девченку вроде тех, что видела в Москве вокруг пивных. Вертится, небось, увивается, задуряет ему голову, не дает опомниться. Была бы она, Стеша, посмелей, не дала бы себя и детей в обиду, да не может она, а заступиться некому...

— Пойдешь завтра со мной в Исполком, получим бумагу, и тут я тебе все имущество отпишу, будешь полная хозяйка.

Она престала плакать и подняла голову.

— А как же ты то? — спросила она недоверчиво.

— Мне нечего не нужно, проживу и так.

— Николка то молод, разве я с ним справлюсь?

— Да ведь справлялась до сих пор?

— Все-таки ты кой-когда помогал. В косьбу нанимали...

— Я и теперь помогать буду.

— Да нешто она позволит? Все себе заберет...

— Что ж ты думаешь, она на твою корову позарится, что ли? У нее может своих пятьдесят было...

— Значит, богатую берешь?

— Да разве я богатством интересуюсь?

Стало темнеть, пригнали скотину, скрипели ворота, перекликались голоса, кто-то пробежал под самыми окнами. Говорить было больше не о чем, все было переговорено. Стеша собрала на стол, позвала детей ужинать.

Николка, небольшой, аккуратный, с расчесанными на пробор светлыми волосами, сидел рядом с отцом, с готовностью отвечал на вопросы — школу кончил первым, деревенскую работу не любит, хочет учиться дальше. Манька ела молча, презрительно обводила отца и брата

прищуренными глазами. Иногда быстро, исподлобья она взглядывала на мать и опускала веки. Стеша двигалась как во сне, что-то приносила и уносила и казалось ничего не слышала. Только раз, когда Сивков сказал сыну „ ты приезжай, теперь школы для всех ”, она громко всхлипла.

После ужина она открыла укладку, достала черную, с белыми кружевами кофту и шерстяной полушалок. Сивков снял с гвоздя старый полушубок, сказал что-то про мух и ушел ночевать в ригу.

За огородами догорал перерезанный лиливыми тучами, бледно-желтый закат, цокали на дороге копыта, ребята ехали в ночное. Остро и крепко пахли конопли, с полей несло свежестью, где-то надсаживаясь квакали хором лягушки. Он брел краем огорода, сбиваясь с узкой тропинки в заросли крапивы.

В риге было темно. Он нашел ощупью подгребенное в кучу сено и бросил на него шубу. Он думал, что заснет сразу, но закурлыкали под крышей проснувшиеся голуби, запели на улице девки. Ему показалось, что он узнал Манькин голос, покрывший все остальные, вспомнил ее твердый, презрительный взгляд и ему стало не по себе. Николка в мать, а лучше бы ему быть пожестче, позубастей. Стеша права, Манька и правда похожа на свою бабу. Была б она жива, у него пожалуй не хватило бы смелости . . .

Пахнул с огорода ветерок, кто-то шел по тропинке, тихо ступая босыми ногами по сухой земле. Он приподнялся, взглядываясь в темноту, стараясь отыскать лестницу, чтоб влезть на сено и спрятаться, но не успел. Стеша нашла его как кошка без света, зашуршала сеном. Он стиснул зубы и выставил вперед каменные руки.

— Да ведь в последний разок, — бормотала она, всхлиывая, — голубчик ты мой роденький ! Ай уж я поганая какая . . . ай уж я так тебе опостылила . . . Чем она тебя, разлучница, приворожила, чем опоила ? Бросит она тебя, обманет, душу из тебя вынет, жалкий ты мой миленочек !

Она его жалела, только она одна и жалела. Когда мальчишкой он хватался за материнский сарафан, мать отталкивала его сильной рукой : — Ну, чего ты ? Сборки оборвешь. Иди вон на улицу, побегай ! — И дочь такая же — не подступишься. А Елена ? Он покачал головой, мускулы его обмякли, руки упали.

Утром он нашел жену одетой во все новое, лицо в темном полушалке похудело, глаза были опущены. Детям она сказала, что идет провожать отца на станцию.

Шли молча, она отставала — давили новые, с желтыми ушками полсапожки. Но разуваться она не хотела, не такой был нынче день. Перед Исполкомом она споткнулась и стала.

— Что ты ? — усмехнулся Сивков : — Заробела ?

Она улыбнулась дрожащими губами и поднялась на скрипучие ступеньки. В большой комнате толпился народ, непривычно, пугающе пахло бумагой и старыми чернилами. За столами сидели сердитые писаря, мужики переходили с места на место, вздыхали, кланялись. Сивков ушел, она долго ждала его на скамейке у дверей, думала о хозяйстве, разглядывала народ, стараясь догадаться кого какая нужда сюда привела.

Наконец ее позвали в соседнюю комнату. От волнения она ничего не видела. Кто-то принес ей табуретку. Сивков сидел рядом, наклонившись вперед, упершись руками в колени. Высокий, конопатый человек громко читал какую-то бумагу, но сколько ни старалась она слушать, ничего кроме своего и мужнина имени не поняла.

— Грамотная ? — строго спросил конопатый : — Подпишись !

Он показал пальцем строчку, но перед глазами у нее все плыло, руки дрожали и она подписалась не там.

— Ничего, — сказал конопатый, — сойдет и так.

Она вскочила, но ее остановили и велели сесть опять. Снова они долго читали. У нее шумело в ушах, кружилась голова. Вслед за Сивковым она старательно под-

писала свое имя на широкой линейке и, тыкаясь как слепая, вышла на крыльцо.

Долго сидела она на ступеньках, шевелила пальцами онемевших ног, думала, что полсапожки придется отдать Маньке. Народ разъезжался. Мужик в синей распоясанной рубаше, громко споривший с писарем, отвязал последнюю лошадь и повернул в сторону Вешек. Ушла древняя, сгорбленная старуха, постукивая посошком и что-то бормоча. „ Вот и я такая буду, — думала Стеша, — никому ненужная . . . ” Из-за угла вышла красная курица с десятком цыплят, несколько желтеньких в пушку, другие уже оперившиеся. Стеша покрошила им хлеба, чтоб задержать, не остаться совсем одной.

Надо было итти домой, дома ждали дела, но ей хотелось попрощаться с Андреем как следует, отдать ему пару яичек и лепешку, сказать чтоб не поминал лихом, а в случае чего приезжал домой и все будет как было раньше. Наконец, собравшись с духом, она пошла в контору. Дверь налево, где читали бумагу, была открыта, там никого не было. В большой комнате писаря запирали окна и долго не хотели понять, что ей нужно.

— Да он давно ушел ! — догадался один : — Прямо через заднюю дверь.

Стеша поклонилась и вышла. На ступеньках она разулась, взяла оставленную кем-то палочку и, с облегчением ступая в мягкую теплую пыль, побрела домой. Всю дорогу она плакала.

33.

Порыв ветра поднял тучу пыли и понес по мостовой. У входа в ЗАГС разносчик продавал ядовитую зеленую жидкость. Пыль осела на бутыль, на стаканчик, на стоявших вокруг босоногих мальчишек.

Елена вытерла лицо платком и оглянулась — Сивков продолжал стоять в дверях, загораживая дорогу и не

замечая, что люди стараются его обойти. Красный, взволнованный, не похожий на самого себя, он говорил что-то Николаю Митрофановичу, тряс руку женщине в розовой, атласной кофте и высокому, прыщеватому человеку. Разносчик вытер фартуком бутылку и поднял стакан.

— С законным браком, граждане! — крикнул он бойко: — Прикажете?

Елена дернулась и побежала, натыкаясь на прохожих.

— Куда же ты? — позвал ее Сивков и, пробормотав что-то, кинулся ее догонять: — Даже и не попрощалась! Неловко, надо было поблагодарить... кум свой человек, туда-сюда, а Ковалева я почти не знаю. Пришлось пригласить. Когда переедем, надо будет угостить хорошенько...

— Ах, какой это ужас, — пробормотала Елена, кусая губы, — эта комната, и люди на скамейках... да еще арестованных привели...

— Никакого ужаса нет, — спокойно заметил Сивков, — обыкновенно, как всегда.

Он просунул руку под ее прижатый локоть, но она освободилась и пошла быстрее.

— Куда ж ты?

— Я не привыкла...

— Теперь надо привыкать.

— Кто эта Серафимочка, его жена?

— Да нет, так живет с ним. Но я позвал, все-таки нельзя, я к ним хожу. Куму он в деревню отправил, — добавил он усмехнувшись.

— Какая же по-твоему разница? Почему ты говоришь „не жена, а так“?

— Ну, вот здравствуйте! Какая разница... Известно, жена прочно, навеки...

— Как же навеки если он отправил ее в деревню, а сам живет с этой Серафимой? Все слова. Ну, чего ты так смотришь? Ведь я уступила, пошла...

Он сжал ее руку с такой силой, что она застонала.

Прохожий задержал шаги и посмотрел на них с удивлением, но они даже не заметили.

— Какие такие слова? Для меня не слова, а погреб жизни! Что ты мне в нос тычешь — уступила, пошла — будто я тебя силой взял. Нет, нет, Леночка! Не сердись! — крикнул он умоляюще: — С языка сорвалось, обидно стало... Как-то все у нас не по-людски. Ведь ты меня любишь, да? Ну, исполни мою последнюю просьбу, самую распоследнюю, больше никогда ни о чем не прошу, все по-твоему буду делать!

Он не кончил, надо было переходить через улицу. У входа на бульвар Елена споткнулась на вывороченный камень.

— Вот видишь! — воскликнул он, подхватывая ее под руку.

На боковой дорожке наискось лежали резкие тени, на скамейке дремал старичек в потрепанном пальто, со сложенной газетой на коленях.

— Пойдем сядем! — сказал Сивков, увлекая ее в сторону детской площадки.

Елена откинулась на спинку скамейки и вытянула ноги.

— Какую просьбу? — спросила она со вздохом.

„Надо достать новенькие ботиночки, — подумал Сивков, разглядывая потрескавшуюся кожу ее старых туфель: — Некому о ней было позаботиться...”

Мальчик и девочка, игравшие около них на дорожке, сердито посмотрели на длинные Еленины ноги и с новой энергией принялись втыкать в твердую землю прутьики и надевать на них листья.

— Слушай! — собравшись с духом сказал Сивков: — Давай обвенчаемся!

Елена подняла брови.

— То есть как? Мы же...

— Да нет, как следует, в церкви! Молчи, молчи, я сам знаю... большевик, сознательный... Это ничего, я хочу, чтоб крепко было. Никто не узнает, я потому и кума отпустил... он хоть поймет, а все лучше... Я и

попа нашел, он молчать будет, ему тоже в случае чего не поздоровится . . .

С улицы донесся громкий, требовательный гудок автомобиля.

— Нехорошие дяди едут, — сказала маленькая девочка ; старательно наморщив бровки она несла на лопатке грудку песка : — Не там ! — закричала она пронзительно : — Мост с другой стороны ! Не смей трогать, это мой сад, убирайся !

Мальчик продолжал упрямо втыкать прутики. Девочка уронила лопатку и стала яростно топтать постройку. Он откинулся назад, ухватил две пригоршни песка и подкинул вверх. Песок попал ему в глаза, в раскрытый рот, но он, будто выжидая, не закричал и только когда девочка с воплем, тряся головой, кинулась к няньке, он вскочил и мыча, выплевывая грязь, побежал в другую сторону.

Елена перевела дыхание.

— Не знаю, — сказала она со вздохом : — мы об этом никогда не говорили, но мне казалось . . . — Ты все-таки какой то странный !

— Что ж об этом говорить ? Мало ли чего человек скажет . . .

— Я просто не понимаю . . . Для меня это так ясно . . . И не теперь, а всегда, даже когда я маленькая была.

— Что ж вы и в церковь не ходили ? — спросил он с непонятым раздражением.

— Нет, кажется, нет. Впрочем, мама должно быть верующая, но в церковь она не ходила. По праздникам приходил священник на дом, в зале ставили столик с белой скатертью . . .

— Хм !

. . . я убегала в мезонин, там никто не жил, залезала в шкаф, под какие-то платья, затыкала уши . . . Я даже не знаю почему это пение, этот запах возбуждали во мне такой ужас и отвращение. Будто страшная фальш, притворство — все понимают и никто не решается сказать. Это я теперь думаю, а тогда просто затыкала уши,

чтоб не слышать. А когда в Ненашеве строили новый дом, нянька меня дразнила, что вот теперь уж я не спрячусь, поп будет весь дом освящать, во все уголки посмотрит. И долго мне снился ужасный сон, будто они ходят с кадилом из комнаты в комнату, а я все бегу, бегу, но они ближе и ближе, наконец я в кухне, лезу на печку, уж сюда то, думаю, они не придут. И вдруг толстый человек в рясе лезет за мной . . .

Сивков сидел согнувшись, опустив голову, кончиком палки делал ряд дырочек на дорожке.

— Ну, хорошо, — сказал он, — пусть не веришь, а ты для меня? Я и сам может не верю, да хочу, чтоб крепко было. Вот ты с ним, с Димкиным отцом, не венчалась, а со мной будет как следует . . .

Она всплеснула руками и подняла глаза к небу. „Вот так и бывает, подумала она, одна ошибка неминуемо ведет за собой другую. Только если ограничить себя совершенно, не думать ни о чем кроме работы . . .”

— Значит пойдешь! — радостно воскликнул Сивков, по-своему объяснив ее молчание: — Вот миленькая, вот спасибо! Это недалеко, это рядом, они ждут, у них и шафера найдутся . . . Да ты не бойся, никто не узнает!

Она закусила губу.

— Мы с тобой говорим на разных языках . . . При чем тут страх? Мне ложь противна, самой противно, вот и все!

— Ну, какая такая ложь, — бормотал Сивков, помогая ей подняться, — все так, одна минута, а потом и забудешь . . .

Он спешил и нетерпеливо тянул ее за руку.

— Вот ты говоришь „не боюсь”, тебе хорошо, у тебя все приятели, ты вон и с Лениным знакома . . . А про меня такое сплетут, чертям тошно станет. Ты даже и не знаешь какая такая зависть бывает . . .

— У меня, кажется, жар, — сказала она, прикладывая руку ко лбу: — Давай лучше подождем?

— Нет, нет, что ты ! — испугался Сивков : — Ты меня не огорчай !

Церковь была близко, за углом, в тихом переулке. В высоких окнах, как масло на воде, переливалось золото заката. В холодном притворе их встретил человек в поддевке. Пошептавшись с Сивковым, он куда-то исчез, и они долго ждали, прислушиваясь к гулкой тишине церкви.

— Ну, ничего, ничего, — беспокожно уговаривал Сивков, — потерпи немножко.

Вошел пожилой священник, посмотрел на них строго и печально. Какие-то люди, один молодой и тощий, другой бородатый, похожий на дворника, перекрестились мелкими, привычными движениями. Прощмыгнула юркая старушка в черном платке, оглянула их с жадным любопытством.

Мерцали свечи, слабо поблескивали иконы, пахло истлевшей одеждой и ладаном. Священник спешил, Сивков напряженно вытягивал шею, на Еленином лице застыло удивленное выражение.

Сзади открылась тяжелая дверь, ворвался уличный шум — цокание копыт, грохот колес, автомобильные гудки. Пение оборвалось, священник поверг очков глядялся в полумрак церкви. Откуда то вынырнула старушка, зашептала, закивала, и опять все пришло в движение. Быстро, почти рысью, их обвели вокруг анаоя, Сивков с торжественным, сияющим лицом, будто христосуясь, вытянул губы.

На улице воздух был чист и прохладен.

— Вот и хорошо, — отдуваясь сказал Сивков : — Содрали они с меня, да ничего, черт с ними, по крайней мере крепко будет ! О чем ты думаешь ?

— Н-не знаю. Ты пожалуй не поймешь . . . У меня сейчас было странное чувство, будто несмотря на все — вот ты хотел венчаться, и я не люблю церковь — как-то, где-то в глубине я ближе ко всему этому чем ты. Ближе чем та старушка и бородатый человек, даже мо-

жет быть ближе чем сам священник. Не к церкви, нет, а к чистой идее...

— Ну уж это ты чего-то не того. Главное — дело сделано, все понемногу наладится.

Из церкви поехали смотреть квартиру в новом доме. В подъезде было еще не прибрано, стояли прикрытые рогожей ведра с краской, лестницы, мешки с цементом.

— Ты подожди! Ты подожди! — радостно повторял Сивков, поднимаясь в лифте на восьмой этаж: — Сейчас я тебе покажу!

В квартире пахло обойным клеем, полы блестели свежим лаком.

— Здесь кухня, это столовая, можно диванчик поставить, уж я приглядел... Здесь для Димы, маловата, да для мальчика за глаза довольно. А теперь самое главное!

Он потащил ее обратно в переднюю и распахнул дверь налево. Комната была большая, с тройным окном, с пышными букетами роз на обоях...

— Хороши? Нравится? Я за ними все склады облазил, а то они хотели серенькие, чахоточные...

Елена опустила на забытый малярами ящик.

— Три комнаты?

— А куда ж больше. Мы здесь, Димка там, посредине столовая.

— А может, — предложила она неуверенно, — может мы с Димой здесь, а ты там? Или я могу в столовой...

— Что это ты выдумываешь? Ты же знала, я тебе говорил.

— Да, я помню. Я думала каждому по комнате. Ну, чего ты сердиться? Я просто не привыкла.

— Не знаю как у вас, — обиженно сказал Сивков, — а у нас не так. Что ж ты дверь будешь запирать, а я стучаться буду, что ли?

Елена сморщилась и закрыла глаза.

— Ну, ладно, ладно! — спохватился он: — Все будет хорошо, все наладится, только ты меня не обижай!

Переезжали не вместе, Сивков первый перевез корзину и крашенный охрой сундучек.

— Ну, что ж ты тянешь, хозяйшюк ? Скажи хоть что куда ставить !

Она заходила на новую квартиру после службы, садилась на кровать — стульев еще не было — и пила приготовленный Сивковым чай. Если б можно было совсем не переезжать, а вот так забегать по вечерам — было бы хорошо, она могла бы равнодушно, как на чужое, смотреть на ужасный зеленый шкаф, на ковер с гирляндой пестрых цветов.

— Я тебе сказал, что достану ! А то куда его, твоё старье . . .

Текинский ковер, привезенный когда-то отцом с Кавказа, остался в старом доме. Ее вещи поместились в два чемодана, было похоже, что она остановилась в чужом городе, в третьеклассной гостинице. Если Сивкова не было, она беспокойно блуждала по комнатам, раскрывала тетрадки, исписанные ровным писарским почерком, рассматривала фотографии незнакомых людей с испуганными лицами, с вытаращенными глазами, и недоумевала — что она здесь делает, при чем тут она ? Надо было приготовить доклад, просмотреть отчеты, но для этого нужно было сосредоточиться, не чувствовать обступавший ее чужой мир. Даже новый французский роман, лежавший у нее в портфеле второй месяц, потерял всякий интерес.

Но приходил Сивков и квартира оживала. В кухне кипел чайник, Сивков разворачивал пакеты.

— Ну, открой рот ! Вкусно ?

— Да, — говорила она улыбаясь и думая не о семге, а о живом тепле, без которого она замерзала годами.

Во сне она держала его руку, боясь что тепло уйдет и она снова останется одна. Для него все было ясно, он знал чего хотел и спокойно, не спеша добивался. Его

непоколебимая уверенность действовала и на нее, постепенно она начинала верить в правильность его поступков. Его забота о маленьких удовольствиях — вкусной еде, новых вещах, которые он неустанно где-то доставал — трогала ее и вызывала непонятное умиление.

Сивков вдруг пристрастился к театру. Сидя в переполненном зале он пыжился от смущения и ежеминутно прочищал горло. Его раздражало, если Елена отказывалась идти.

— Я не понимаю чего тебе надо, театр и театр, какой такой может быть хороший или нехороший? Что то ты все выдумываешь...

То что ее интересовало — какие-то особенные книги (он пробовал покупать, но эти она с улыбкой откладывала в сторону), концерты, новые постановки — казалось ему надуманным. Он не верил, что ей действительно доставляет удовольствие то, в чем он сам не видел смысла.

После короткого препирательства (ссориться они оба не хотели) они с облегчением возвращались в уют теплых комнат, где их ждал запоздалый ужин.

— Ну, теперь спать, спать, — говорил он потирая руки.

Покой широкой кровати, где она была не одна, где от всего мира ее загоразивали сильные плечи Сивкова, делался привычным. Она стала крепче спать, меньше видеть снов, напряжение ослабевало. Сивков дышал глубоко и ровно — все было просто, из всякого положения был выход.

Ровно в шесть он откидывал одеяло и зажигал лампу.

— Я миллион выиграл! — говорил он радостно каждое утро.

— Подожди, куда ты? Темно.

— Нельзя, нельзя! Царствие небесное проспишь, лентяйка!

— Сколько времени упущено, — говорил он, когда заспанная и улыбающаяся она садилась за накрытый стол: — Вот булочки, я согрел. Ах, если б мне образование! Где ты только раньше была?

Ее знания вызывали в нем смешанное чувство уважения и досады.

— Вот счастье людям, всему тебя учили, а тебе и ни к чему!

Больше всего его поражало, что она читает книги на разных языках так просто для удовольствия.

— Немецкая? — спрашивал он, заглядывая через ее плечо.

Она улыбалась.

— Нет, французская.

— И по-немецки можешь?

— Могу.

— И по-английски?

— И по-английски.

— Про что они пишут то?

Она пыталась рассказывать, Сивков слушал со скучающим видом. Хозяйкой она оказалась никуда не годной. Он бы не удивился, если бы она отказалась делать домашнюю работу, потребовала бы прислугу, но понять ее полное равнодушие он не мог. Он знал, что она принадлежала к другому кругу, но разница в его глазах была чисто внешняя. Когда он ее встретил, она жила в нужде, полуголодная, и теперь ждал заслуженной признательности. Ее безразличие глубоко его оскорбляло. Привыкнув с детства беречь каждую копейку он с некоторым беспокойством ждал, что после свадьбы придется раскошиться. К его удивлению Елена ничего не спрашивала.

— Ты столько тратишь, — сказала она раз, — я тебе должна. Надо делить пополам, а потом, когда придет Дима, на три.

Он вскинул голову, готовый ответить ударом на удар, но она, не замечая, спокойно собирала какие-то бумаги. В первый раз он почувствовал сомнение — может быть действительно она не притворяется и он никогда не сможет ее понять.

Вечером он возвращался веселый с покупками —

пастила из Моссельпрома, яблоки и пирожки, которыми торговали бабы-разносчицы у Страстного монастыря.

— Подожди, не хватай! — говорил он счастливым голосом: — Надо все как следует. Сейчас стол накроем, поставим чайник . . .

Его возмущала ее привычка есть стоя, как попало, отламывать куски хлеба, глотать из кастрюли неразогретый суп. Он во всем любил порядок, сапоги его были начищены до сияния, костюмы висели под простыней, белье разложено аккуратными стопками.

Еленины башмаки растрескались, старое драповое пальто стало на плечах лиловым. По вечерам, вынимая из мягких, вьющихся волос шпильки, она морщилась, когда поломанные гребешки цеплялись и застревали.

— Угадай что это! — сказал он, протягивая маленький сверток.

Со смесью брезгливости и умиления она рассматривала гребенки с золотым рисунком, с разноцветными стеклышками.

— Я для тебя из-под земли достану! — сказал он, целуя ее в затылок: — Чем это ты волосы мажешь?

— А что? Хинной водой, если тебе интересно.

— То-то я слышу нехорошо пахнет. Подожди, я тебе душков достану.

— Не надо, я не люблю.

Через неделю он принес флакон со стеклянной пробкой. Она взглянула и поморщилась.

— Ты их не жалея — цена несуразная, да ничего, я еще принесу!

— Слушай и, пожалуйста, не обижайся! Ведь я тебя просила не покупать. Я понимаю и ценю, но лучше не надо . . .

— Ты у меня как монашка . . . Другая бы рада была, а ты . . .

— Нет. Но, знаешь, это надо понимать, духи бывают разные . . .

— Чего понимать — крикнул он грубо, потеряв вдруг терпение: — хорошо пахнут и ладно!

После этого он некоторое время ничего не покупал, но всё-таки не выдержал, обмерив тайком ее старые башмаки, достал через знакомого закупщика прекрасные туфли двух тонов, с перламутровыми пуговками. Елена всплеснула руками и закрыла глаза.

— Ведь я просила! — воскликнула она с отчаянием: — Ну, что ты так смотришь?

— Ты померяй! — твердил он, красный, растерянный, смутно чувствуя, что между ними стена, которую он не может прошибить: — Они модные, закупщик сказал, он знает, за границей такие носят...

Она могла бы притвориться, сделать вид, что ей нравится, но впереди ждала груда таких же безвкусных, ненужных вещей — духов пахнущих конфетами, конфет пахнущих духами...

— Прости, — сказала она на другой день, — я дура, но я прошу, никогда ничего мне не покупай!

— Ну, вот и помирились, вот и слава Богу! А то я всю ночь не спал. Ведь я порадовать хочу! Да и стыдно — люди скажут не может о жене позаботиться.

Он и сам не знал почему его так расстраивает каждая ссора.

Незаметно для самого себя он привязывался к Елене все больше, все ее особенности, против которых он восставал — ее барство, бесхозяйственность, пренебрежение к чужому мнению — преобетали странное очарование. И восставал он против них только потому, что они их разделяли, он не мог стать таким, какой была она, а ему хотелось, чтоб она доверилась, оценила его планы и тайные надежды.

Даже в минуты близости он чувствовал ее непокояющуюся волю. Порывы ее нежности, ласки и поцелуи были для него чем то новым, чего он до сих пор не знал. Ничего подобного не было в его отношениях со Стешей, самая мысль показалась бы им обоим стыдной. И то, что Елена через несколько минут обо всем забывала и сторонилась от него как чужая, раздражало его и привязывало к ней все больше.

По воскресениям к нему заходили по делам. Елена запиралась в спальне и брала книгу.

— Хозяюшка! — кричал из столовой Сивков: — Нельзя ли нам чайку?

Она отвечала не сразу и ему казалось, что она нарочно тянет, чтоб показать свое пренебрежение, поставить его в унижительное положение. Молча она приносила пайковый хлеб и чайник.

— Могла бы хоть слово сказать, — упрекал он ее, когда гости уходили, — все таки ты хозяйка.

— У меня доклад завтра, я и так опоздала. Почему ты сам не взял?

— Лучше б твоего мог, да неловко, они знают, что я женат.

Уборщица приносила обед.

— Чего ты ее выкаешь? — раздражался Сивков: — Она даже не понимает, что ты с ней говоришь.

На другой день они помирились, просили друг у друга прощения и на глазах у Сивкова опять были слезы.

— Ну, я дурак! Бей меня в морду! А ты бы помогла, а то ты тоже — все по-своему. Вышла за сиволапого, надо терпеть...

Обиды выскакивали неожиданно. Он шел домой в прекрасном настроении — назначение в ВСНХ, которого он ждал, было наконец утверждено. На радостях он остановился в Моссельпроме и купил для Елены коробку рябиновой пастилы. Верно сидит на кровати, читает свою книжку, обед стынет в судках, стол не накрыт... Да это все пустяки, хозяйство дело небольшое, можно будет какую-нибудь женщину взять...

Он вынул из кармана ключ и замер с поднятой рукой. Под красивой, в металлической оправе, карточкой с его именем висела другая, прищипленная криво двумя кнопками.

На этот раз они поссорились серьезно. Утром он не хотел с ней говорить.

— Ты не упрямясь, ты попробуй понять! Если я

сказала, что я не хочу менять имени, то вовсе не потому что имя нехорошее, а потому что у меня есть мое собственное, к которому я привыкла, которое ко мне приросло.

— А ты подумала какво мне это слушать? — перебил он дрожащим голосом: — Третьего дня кто-то по телефону спрашивает. Я говорю, дома нет. „А кто, говорят, у телефона, это товарищ Чернышев?“ Счастье его, что по телефону, а то бы я ему показал!

— Так ведь глупо, просто глупо! Старый предрассудок... Ну, вот тебя зовут Андрей Сивков, разве ты согласишься, чтоб завтра тебя стали звать Андрей Петров или Васильев?

— Я мужчина, это сравнивать нельзя.

— Хорошо, но ты должен верить, что я не на-зло, а просто не могу по-другому.

— Даже смешно! Придут знакомые, а на двери две карточки — разные имена — вроде мы не женаты.

— Что ж такого? Это часто бывает, ведь Надежда Константиновна Крупская, а не Ульянова?

— Так то Крупская! А ты кто? Чего тебе за ними лезть?

— Я ни за кем не лезу. Я человек, имя существительное, а не прилагательное.

Понять он не мог. Но бывали случаи, когда не понимала она.

— Ну, расскажи как ты жил до меня, что ты делал? — спрашивала Елена в тихие минуты.

— Жил как все живут, работал на фабрике.

— А раньше, в детстве?

— Что ж про это рассказывать? Зимой в школу бегал, летом дневное стерел.

Иногда он вспоминал мать, но так же скудно, будто это были не годы, а один серый, скучный день. И вдруг оживлялся:

— Вот бы она, покойница, поглядела как я теперь

живу, не поверила бы ! А гордая была, никого себе вровень не ставила.

О Стеше он говорил редко и вскользь.

— Обидел я ее, какая теперь ее жизнь будет... Да и прежде не сладко было, что ж она меня видела, раз в год, да и то...

— Ты ее любил ?

— Известно, любил, ведь жена. И она меня любила, плакала, когда я последнюю ночь ночевал, все руки слезами облила, рубашку хоть выжми... Ну, ты чего ?

— Ты... ты с ней... теперь ?

— Так что ж ? — удивился Сивков : — Ведь она мне жена, а с тобой мы еще невенчаные были.

— Неужели правда ? Как ты мог...

— Так я ж тебе говорю...

— Значит, если б я...

— Это несравнительно — ты женщина.

В начале августа прошел слух, что посланный в Англию товарищ отказался вернуться в Москву.

— Что же, — сказал Сивков, — тысяч двадцать на прежние деньги хапнул, что ему теперь революцией заниматься ?

Уверенная, что он шутит, Елена ответила шуткой.

— Ах, милый какой ! Значит, если б тебе двадцать тысяч, ты бы тоже убежал ?

— И я бы, и всякий другой. Кому ты очки втираешь ?

Не зная верить или не верить, Елена продолжала улыбаться, но улыбка постепенно сползла с ее лица.

— Неужели ты серьезно ? Нет, не может быть ! Что ж по-твоему вся наша работа основана на личных интересах ? Какая ж тогда разница между нами и старым режимом ?

— Ну, это совсем другое. Разве мы только для себя ? Для всех трудящихся вообще.

— Да, но двадцать тысяч ты взял бы себе !

— А что тут говорить ! Я и для себя и для других. А ты что думала ? Кому плохо, тот и протестует. Чего ж шум поднимать, если все имеешь...

— А как же я? Как все старые товарищи?

— Ну, ты! — Сивков пренебрежительно махнул рукой.

Квартира наполнялась вещами. В столовой появился треугольный столик, накрытый вязаной скатертью. Тяжелую зеленую с инкрустацией мебель привезли из замоскворецкого особняка. Сивков долго искал подходящую лампу.

— Смотри! — крикнул он с торжеством: — Хороша? Теперь и гостей не стыдно позвать.

Елена втянула голову в плечи. Она все чаще уходила в Димину комнату. Там стоял ее старый письменный стол и кровать, на которой она спала столько лет.

Сивков раздобыл закусок и водки.

— Ну, сегодня придут! — сказал он весело: — Я все сделаю, ты только на стол накрой!

Быстро и небрежно она расставила тарелки, рассовала ножи и вилки с кудрявыми ручками. Сивков выглянул из кухни, обвязанный полотенцем, с засученными рукавами.

— Скатерть забыла! — крикнул он с отчаянием: — Снимай все!

Она покорно собрала посуду, расстелила скатерть с чужой монограммой, расставила тарелки опять. Сивков обошел вокруг стола, поправил, передвинул.

— Чего ты? — удивилась Елена.

— Рисунок, не видишь? Ты их вверх ногами...

— Господи, какая ерунда! Кто будет смотреть на тарелки?

— Это ты не смотришь, а кому внове, те смотрят. Ты что ж, и не принарядишься немножко? Не хочешь. Бывало в шелк одевалась, а для моих друзей не желаешь. Они может и простые, а понимают...

— Ни в какой шелк я не одевалась, — пробормотала она тоскливо.

Гости пришли все вместе — Николай Митрофанович,

располневший, тяжелый, Симуся в пышной голубой кофточке, с гофрированными волосами, и мрачный, трагический Ковалев. Симуся принесла гитару.

— Споем сегодня? — подмигнула она Сивкову.

Гости громко хвалили ковер, обои, радиаторы; особенно понравилась им мебель в столовой.

— Модерная! Нам бы такую, Колаша, а? У Андрея Ивановича вкус тонкий.

Сивков хлопотал, угощал, подливал в рюмки. Поздравляли с новоселием, с законным браком. Елена оставила рюмку.

— Нельзя! — кричали гости; — так не полагается. Ну, для компании!

— Это ничего, — благодушно уговаривала Симуся, — я тоже не люблю если много, а иногда почему не выпить? И для здоровья хорошо... Ну, с новым счастьем, за прекрасную жизнь!

Она раскраснелась, хохотала без всякой причины, жеманно надувала губы.

— У нас тоже такие были, — говорила она, разглядывая салфетку, — у мамы много было наготовлено, только все прахом пошло. Вы счастливая, Андрей Иванович хоть из простых, а не хуже образованного. Колаша тоже ничего, вот развод получит, повенчаемся.

Ковалев мрачно пил рюмку за рюмкой.

— Я вас понимаю, — загадочно говорил он Елене, — я вас глубоко понимаю. Мой отец, полковник царской армии...

— Не ври! — пьяно кричал Николай Митрофанович: — Думаешь, я не знаю? Я все знаю! Семнадцать лет в партии, шутка, а? Другие без году неделя, а, глядишь, вперед выскочили. Это по-твоему справедливо? Должен быть порядок или нет? Семнадцать лет! Это надо выдержать...

Сивков с гитарой стоял за Симусиным стулом, наклонялся к ее кудрявой голове. Пели хором Многие лета,

пьяными голосами кричали ура. Елена сидела опустив глаза, зябко поводила плечами.

— Что ж вы? — обмахиваясь салфеткой спрашивала Симуся: — Стесняться тут нечего, все свои...

Стали уговаривать Ковалева, он долго отказывался, уверял, что не в голосе, наконец взял гитару, подтянул колышки. Начав петь, он уже не мог остановиться. С дрожью и вскрикиваниями, подражая цыганам, которых он должно быть никогда не слышал, он спел Очи черные, Эх, распашел, Яблочко. Особенно понравилась занесенная с юга песня Ах, шарабан мой, американка, а ты девченка да хулиганка! Все хлопали, кричали бис. Опять пели хором Выпьем за Андрюшу, Андрюшу дорогого... Кум притаптывал и дергал плечами. Сивков то и дело убегал в кухню и возвращался с новой бутылкой или с тарелкой колбасы.

— Ну, Андрей Иванович, что ж вы!

Он улыбнулся, вытер платком руку и положил ее на круглое Симусино плечо. Они спели дуэтом В тихой аллее заглохшего сада... Николай Митрофанович и Ковалев громко аплодировали.

„Где это они так спелись? — рассеянно думала Елена: — И все тоже, только хуже, гораздо хуже...”

В первом часу ночи гости ушли. Симуся посылала из лифта воздушные поцелуи.

— Так вы не забудьте! — кричала она, на что то намекая, Сивкову: — И никому не говорите, это секрет!

— Теперь спать! — сказал он трезво: — Завтра уберем. Все-таки ты не могла один раз постараться, в кои-то веки гости пришли...

— Оставь меня в покое! Понимаешь? Оставь меня в покое! Все, что тебе нужно, какая-нибудь Симуся...

— А что ж? Симуся что надо — и хозяйка хорошая, и на пианине играет, и поет.

— Ну, и убирайся к ней! Сам ты на пианине... два сапога пара.

Рано утром началась гроза. Тусклое небо вспыхивало мутным блеском, воздух дрожал от электрических разрядов, грохотало и перекачивалось над самой крышей. Как всегда ровно в шесть Сивков встал и поставил чайник. Дождь хлестал в окна, наружная стена в столовой покрылась темными пятнами, струйка воды стекла с подоконника на пол. Должно быть Елена опять открывала окно и не сумела закрыть, пятна теперь никогда не отойдут, новая квартира испорчена. Он толкнул раму, но окно было плотно закрыто, и уже бесполезно, только чтоб сорвать злость, он стал дергать изо всей силы.

— Чего ты шумишь ?

Он не ответил. Пятна на обоях расплзались, дождь проходил через стену. Черт бы побрал безруких мастеров — берутся строить, а ничего не умеют ! Черт бы побрал всех никчемных, распущенных идиотов !

Вечером он вернулся успокоенный — завдом обещал прислать мастера, в Главбумаге сказали, что есть два сорта обоев.

— Я тебя обидел немножко ? — сказал он, целуя Елену в затылок : — Опять ты мажешь волосы этой дрянью ! Но и ты виновата, ты умней, должна помочь, а ты будто нарочно . . . Я и сам не рад, это у меня от матери-покойницы такой характер, но зато я отходчив, а ты как каменная, рассердишься — век помнить будешь. Знаешь что ? Давай позовем Любецких ? Уж отделаемся заодно и забудем.

— Не стоит.

— Что значит не стоит ? Ты с ними поссорилась, что ли ?

— Нет, не ссорились. Просто у нас не принято.

— Ну, вот опять ! У кого это „ у нас ” ? Все ты разделяешь, все что-то хочешь показать. Каждый любит отдохнуть, посидеть, поговорить, закусить хоро-

шенько. Кум Николай Митрофанович тебе не по душе, необразованный...

— Ах, ты ничего не понимаешь!

Он схватил ее за руку и сжал с такой силой, что она застонала.

— Ну, объясни, может пойму!

— Просто я не выношу глупых разговоров, сплетень, пересудов. Этого раньше никогда не было. Были ссоры, правда, но по принципиальным причинам. И вообще никогда не было приемов, гостей — ходили друг к другу, когда нужно было, без всяких приглашений.

— Тогда другое время было, не до того было. А теперь можно немножко передохнуть, повеселиться...

— Ну что кроме головной боли останется после таких гостей как этот твой кум и Серафима? Не только потерянный вечер — хуже! Я прямо себя презираю, невольно стараешься подделаться под их тон, стать на их ступень.

Он перекрутил ее руку сильней.

— Больно!

— А ты не заносись, а ты попроще! Что ж такого, что они необразованные, теперь все равные, господ больше нет!

— Ну, как, как объяснить? При чем тут господа? Разве я когда-нибудь придавала этому значение? Прежде таких людей в Партии не было. Ты же знаешь — были всякие, были рабочие, были крестьяне, и все были равны, все интересовались одним...

— Нет, ты погоди! Я тоже могу кое-что сказать. Во-первых, раньше забота была одна — победить. Теперь мы начинаем строить...

— Так неужели Ленин, Троцкий...

— Нет, погоди! Ты говоришь, все интересовались одним, говорили обо всяких вопросах — так ведь кто тон задавал? Интеллигенция, образованные. Как мог какой-нибудь парнишка, простой фабричный, сунуться: дайте, мол, товарищи, передохнуть, давайте немного повеселимся, выпьем рюмочку, закусим, на гармошке по-

играем... Да они б его заплевали, с грязью смешали ! Ну, а теперь дело другое, теперь с нашим братом приходится считаться. Как-никак кто войну на своих плечах вынес ? Не те, что в специальных поездах разъезжали да приказы рассылали. И опять же строительство — как без рядового партийца обойтись ? Вот и приходится считаться с простым человеком, дать ему иной раз спину разогнуть.

Поглаживая правой рукой измятую кисть левой, Елена смотрела на него блестящими глазами.

— Нет, — сказала она, качая головой, — ты что то путаешь. Революция не в том, чтоб успокоиться на лаврах.

— Это ты путаешь. Кто говорит успокоиться ? Мы от работы не отказываемся.

— Но принцип, самый принцип ! Мне всегда казалось, что мещанство не совместимо с нашими идеями.

— Подожди, давай не ссориться ! Из чего весь сырбор загорелся ? Я сказал — позовем Любецких...

— А я говорю не надо.

— Почему ? Стыдишься, что за мужика замуж вышла ?

Она прикусила губу.

— А ты, ты... Я ведь понимаю, почему ты хочешь позвать !

— Ну ? Почему ?

— Потому что он в ЦК и вообще...

— Что ж такого, если и так ?

Заряд пропал даром — он даже не обиделся. Его спокойствие, его реализм, нежелание притворяться — сбили ее с толку. Она ждала возмущения, а он даже не понял, что ее подозрение было оскорбительно.

— Хорошо, позовем, — согласилась она : — Только ты не прав — я нисколько не стыжусь, но меня раздражает их снисходительный тон, будто они умней всех, поучают, хотя никто их не спрашивает. Это только теперь с ними сделалось, когда мы за границей жили, они даже заискивали. Ильич их недолго любил...

Любецкие охотно согласились прийти.

— Я так, так рада, что ты наконец устроилась по-человечески, — повторяла Зося, осматривая квартиру: — Вот сюда надо картину, сразу вся комната изменится. Андрей Иванович, я вам скажу, где можно достать. Когда вы придете, я вам покажу... Ведь вы у нас никогда не были! Давайте уговоримся — в первый свободный день...

Фома был рассеян и неразговорчив. Он внимательно разглядывал разложенные на тарелках закуски, тыкал вилкой и кивал головой.

— Не обращайтесь на него внимания, — весело говорила Зося, — с ним бывает. Елена, почему ты не пришла вчера? Очень мило было, наши пролеткультовцы молодцы, такой энтузиазм! Конечно им не хватает техники, но это пустяки, мы научим. Ты слыхала сколько заявлений на разные издания? Уже больше двухсот в одной Москве!

— Но ведь не только пролеткульт?

— Ну и что ж? Конечно, есть всякие, но мы на то и поставлены, чтоб следить. Мы даем разрешения и вводим в редакцию кого-нибудь своего. Теперь не прежние времена, когда все шло самотеком. Что толку в прежней критике? Пост фактум, когда уже напечатано. Кому от этого польза? Теперь с этим кончено — каждый автор обязан прочитать в черновике, еще неотделанное, чтоб экономить время и работу, и весь коллектив помогает, разбирает, вносит предложения. Автор, если хочет, может тут же исправить...

— Не знаю, — Елена покачала головой, — я бы все-таки осторожней давала разрешения. Будут печатать всякую ерунду, а бумаги нет, учебников не хватает, приходится пользоваться старыми, да и тех мало. И вообще зачем это нужно?

— Пока, только пока! Между прочим, очень забавно! Я видела книжечку, какой то поэт выпустил, вот такого размера, напечатана на пишущей машинке на обоях — с одной стороны стихи, с другой рисунок...

Нет, я с тобой не согласна, мы должны взять от старой интеллигенции все что возможно — пусть передадут свои навыки, прикрыть всегда успеем. Посмотри как наши студии работают, сколько новых пролетарских поэтов! А руководители — старые писатели. Вообще, это надо пересмотреть, мы не можем отказываться от прошлого целиком. Все-таки было кое-что ценное, надо только осторожно выбирать. Мы и классиков будем издавать, когда наладится с бумагой, не все конечно, но если хорошенько проредактировать... Даже обидно думать, как раньше все было неорганизовано, сколько времени тратилось зря, сидели по своим поместьям и ждали вдохновения — то ли придет, то ли нет. Писательство такая же работа как всякая другая, должен быть какой-то минимум выработки. И, конечно, темы... Ну, о чем они писали, наши классики? Любовь, ревность... Кому это нужно? Теперешнего читателя интересует совсем другое. Ты бы посмотрела какие мы письма получаем! Совершенно безграмотные, но такие трогательные. Перловские рабочие прислали триста рублей с просьбой подрядить, так и пишут „подрядить“, какого-нибудь писателя рассказать о их жизни. Вот что им надо, а вовсе не луна и парки. Андрей Иванович, вы как думаете?

Сивков посмотрел и, не отвечая, опять повернулся к Любецкому.

— Все дело в том, — сказал он, постукивая указательным пальцем по краю стола, — что является для вас конечной целью — люди или отвлеченная идея? Совершенно неважно, если мы признаем свои ошибки и временно отступим назад. Единственная оплошность военного коммунизма была в том, что мы не учли состояния народного хозяйства, результатов войны и вредительства. В конце концов мы придем к социализму, но перегибать палку опасно.

Фома оттолкнул тарелку и забыл об еде.

— Все это пустяки, — сказал он резко, — пора нам проснуться. Уж очень мы привыкли полагаться, что кто-

то другой за нас решит. Не сегодня-завтра случится то, что поставит перед партией прямой вопрос — что делать и какой дорогой идти. Это не секрет, что у нас назревают опасные течения, которые могут повернуть на смарку все достижения революции. Пока Ильич жив, пока он руководит, линия кое-как выправляется...

— А в чем, собственно, вы видите опасность? — осторожно перебил Сивков.

— Если бы Владимир Ильич был здесь, он бы вам сказал! Все, что мы делаем в одной стране, это только опыт, только пример для дальнейшей работы. Наша работа идет не по вертикальной, а, так сказать, по горизонтальной линии. Мы не имеем права сосредоточиться на наших национальных проблемах и забыть остальной мир. А вместе с тем — может вам не заметно — это опасное течение все растет. Людей неуверенных, слабых, готовых подчиняться, простаков, не способных ни в чем разобраться, в Партии много, даже слишком много. Чего там мудрствовать лукаво, добились власти, ну и будем распоряжаться у себя — вот как они рассуждают! Что им за дело до всемирной революции? А сами того не понимают, что одни, изолированные ото всего мира, мы не удержимся...

— Ну, хорошо, а какой же по вашему правильный выход?

— Во-первых, твердая власть, сильная личность...

— Но вы сами говорите довольно подчиняться, довольно быть детьми?

— Дело в том кому подчиняться! Единственное, что я могу сказать против Ильича, это то, что он ослабил нашу волю. Все, что он решал, было правильно; мы знали, что он руководится идеей перманентной революции, а не собственным успехом, и как-то перестали сами думать. А вот если наверх выскочит элемент, которому наплевать на революцию, для которого она служит

прикрытием для захвата власти, дело будет другое. Очень легко соскользнуть в национал-бюрократизм!

— В чем вы это видите? Ленин сам говорит — ближе к жизни, не пишите революцию с большой буквы!

— По мне это пахнет аппаратчиками — нашей главной угрозой. Я знаю, Ильич был поражен переменой — за десять месяцев его болезни наверх вылез второсортный, даже третьесортный элемент. Да и нельзя на него всю ставку ставить! Удар это не фунт изюма, малейшее напряжение и... Даже если не повторится — мы тут свои, скрывать нечего — он уже не тот и никогда прежним не будет, при всей его воле.

— Да бросьте вы, — не выдержала Елена, — Ильич жив и здоров! Я сегодня Марью Ильинишну встретила, она говорит, он чувствует себя прекрасно, хотел у профсоюзников выступить, но доктор советовал немного подождать.

— Вот и выпьем за его здоровье! — весело предложил Сивков.

Провожать гостей они вышли вместе.

— Очень было приятно, — сказала Зося: — И я так рада, что твоя жизнь наладилась! А как же Дима? В школе его ждут, он и так опоздал.

— Да, да! Я ему напишу. Время так летит...

Дверь лифта захлопнулась, Елена просунула руку Сивкову под локоть.

— Ты чего это? — спросил он усмехаясь.

— Так, ничего... Ты сегодня был совсем другой — я даже не ожидала.

— Какой другой? — сказал он, притворяясь, что не понимает.

— Не знаю как определить — спокойный, уверенный... Одним словом, такой какой ты должен быть всегда.

— А ты что думала, я совсем дурак?

Москва оглушила Диму грохотом колес, звонками, криками. С трудом удерживая равновесие он продирался через толпу — тяжелый чемодан давил плечи, мешок оттягивал руку.

Всего несколько часов назад он стоял в Ненашевском саду, прощался с летом. Было так тихо, что слышен был шорох падавших с веток капель, деревья стояли в утреннем тумане, дорожка пестрела мокрыми пятнами раздавленных листьев. И вот все уже отошло, он с жадным любопытством смотрел вокруг, прислушивался к забытым звукам.

Что-то изменилось — Москва или он сам. Большая часть прохожих были ниже его ростом, извозчики наперебой предлагали подвезти — принимали его за взрослого. На облупленной желтой штукатуре домов лежали резкие тени, разносчики торговали с лотков яблоками и сливами. Шумная толпа растекалась во всех направлениях. Прошли маляры в фартуках, с облитыми краской ведрами. Тротуар запрудила ватага школьников, впереди шагал учитель в высоких сапогах, сзади едва попевала пожилая учительница. Мальчишки свистели в свистульки, стегали друг друга прутьями, девченки тащили огромные пучки желтых листьев. Обгоняя его, громко тарахтели по камням извозчицьи пролетки.

Дима представил себе предстоявший ему длинный путь и опустил чемодан на тротуар. Денег не было — все, что дала бабушка, он истратил в поезде на ириски и на квас.

— Дима! — донесся сквозь шум знакомый голос: — Дима! Это ты?

На другой стороне улицы кто-то махал газетой. Он не сразу узнал мать — свесившись с пролетки, она что-то кричала и делала непонятные знаки.

— Я уж думала пропустила! кричала она подъезжая: — Я даже не узнала сразу, смотрю будто похож,

но такой огромный и пальто чужое. Ну, клади сюда! Давай я помогу... Что это у тебя? Камни? Двигай, ничего, мне удобно! Чье это пальто?

— Было очень холодно, — начал он осторожно, — вчера был мороз, вся земля белая. Это Серезино... Бабушка сказала...

Он ждал, что она рассердится, но она даже не слушала. Она была другая, непохожая — новая шляпа, блестящие глаза. Как странно — они оба изменились за это лето! Он почти взрослый, везет домой драгоценные продукты, теперь уж она не будет говорить, что он ничего не делает.

— Знаешь что это? — сказал он трогая мешок: — Это мой пай, за то что я работал, даже Люба сказала. И сало и масло, и хлеб... На целый год хватит! Ну, если не на год, то хоть до Рождества. Я научился все делать, почти как Люба, и пахать, и на воз подавать. А когда снимали яблоки, я собрал больше всех! Люба боится высоко лазить. Теперь я знаю все сорта. Ты какие больше любишь? Я и ночное стерег! Это очень трудно — совершенно темно, лошади разбегаются, некоторых пускают без пут, хотя это не полагается, они уходят на зеленя. Гречиха была еще не убрана, они разбили два крестца, но мы сложили, никто не заметил. Ты рада, что я все это привез?

Он повернул голову. Мать хмурясь смотрела в спину извозчику.

— Дима, мне надо поговорить с тобой серьезно...

— Но ведь ты сама предложила! — крикнул он с отчаянием, чувствуя, что они съезжают в прежнюю колею.

— Нет, подожди! Это очень важно. Ты понимаешь, что жить так, как мы жили до сих пор, просто невозможно. Я слишком занята, от тебя нельзя и ожидать, ты мальчик... И тебе и мне нужен дом, то что англичане называют *home*. Я всегда думала это неважно, считала мещанством, но повидимому... Кроме того мне

все-таки хочется жить, ведь я еще молода, мне только тридцать три года... Я хочу устроить так, чтоб и тебе и мне было лучше. Может я была неправа иногда...

— Я знаю, — перебил он поспешно, — я знаю, не стоит об этом говорить!

— Нет, мне надо объяснить.

— Смотри! — крикнул он, оборачиваясь назад: — Ты видела милиционера? Что это, новая форма?

— Да, новая. Но ты слушай! Я думаю с тобой можно говорить как со взрослым... Ты, правда, совсем большой, даже не верится. Подожди! Что такое? У тебя усы?

— Оставь! — сказал он, отталкивая ее руку.

В окнах Моссельпрома возвышались красивые пирамиды из конфетных коробок. У дверей стояла длинная очередь.

— Все могут покупать? По сколько? Сейчас на поезде продавали ириски, замечательно вкусные, я никогда таких не ел! Знаешь, бабушка варит конфеты из сахарной свеклы, вроде тянучек. Ты помнишь какие бывают тянучки? Они все сами делают — мыло, только жидкое, Люба туфли шьет на веревочной подошве, и веревки сама вьет. Ты знаешь песню „Вил веревочку детина“?

Она не ответила.

— Смотри! Куда он? Зачем он свернул? Извозчик, так гораздо дальше, надо прямо!

— Молчи, Дима! Ничего, извозчик, поезжай! Дело в том, Дима, что мы переехали.

— Переехали? Почему ж ты не сказала? А вдруг бы ты не встретила?

— Ну вот поэтому я и встретила.

— А я думал... Куда? Совсем, навсегда? А как же наш дом? Я прямо не могу представить!

— Вот увидишь. Гораздо лучше, не надо топить, всегда тепло, у тебя будет отдельная комната. Вообще совсем хорошая квартира. Но я хочу объяснить...

— На какой улице? И почему так вдруг? Ты же не собиралась. Может хорошо, только я не понимаю...

— Ты сам не даешь мне ничего сказать. Что с тобой? Ты никогда не был таким болтуном. Нет, подожди! Ты еще не знаешь о школе... Теперь ты перейдешь в другую, тебе понравится, совсем не такая как раньше, и учителя настоящие, то есть которые всегда преподавали. Только с языками будет трудно, но ничего, как-нибудь догонишь, я помогу... Ну вот я и не успела ничего сказать... Извозчик, налево к новому дому! Теперь ты сам увидишь.

Он с восторгом рассматривал великолепный подъезд, засохшие пальмы, лифт.

— Неужели мы правда будем здесь жить?

Жужжа и подрагивая лифт поднимался на восьмой этаж. Его мешок был здесь совсем не у места. Может и все, что он привез, будет ненужно?

— Я никогда так высоко не был! Ты думаешь не упадет?

В полутемном коридоре Елена долга возилась с ключем.

— Ну, вот, — сказала она, распахивая дверь, — давай помогу!

Он втащил мешок в маленькую переднюю. На вешалке висел полушубок и военная шинель. Сердце остановилось, стукнуло несколько раз не попад и поднялось в горлу. Так вот о чем она хотела сказать! Он ринулся вперед.

В светлой комнате за обеденным столом сидел незнакомый человек в гимнастерке. Перед ним стояла тарелка с супом.

— А где же он? — спросил Дима, озираясь вокруг сквозь туман.

— Что с тобой? Пойди же поздоровайся! Это Андрей Иванович, ты его видел раньше, теперь он мой муж и твой отец.

У него ослабели ноги, вывернулись колени и, чтоб не упасть, он ухватился за ручку двери. Но и дом ша-

тался, пол поднялся отвесно, голова поплыла. Сквозь грохот падающего здания до него донесся чей-то голос: Что за ерунда, ну, положим на кровать! Скорей всего притворяется...

37.

Взвешивая перед женитьбой разные обстоятельства, Сивков подумал и о Диме — мальчишка избалованный, хорошего не жди, слава Богу большой, года через два станет на ноги. О чувствах он не думал, он и не предполагал, что между родителями и детьми могут быть какие-то особенные чувства. Отец должен заботиться — обуить, одеть, накормить, дети должны слушаться и уважать. Он исполнял эти обязанности по отношению к своим и готов был делать то же для Димы.

На деле случилось что-то неожиданное и непонятное: с приездом Димы в квартиру внесли бомбу, готовую каждую минуту взорваться. Все прежние недоразумения с Еленой сосредоточились теперь вокруг мальчишка. Бывало она жаловалась на сына, просила совета, теперь каждое замечание Сивкова вызывало в ней обиду. Казалось, она защищает не Диму, а какой-то свой, высший, недоступный ему, порядок вещей.

Отчитав Диму за какую-то провинность Сивков сунул ему немного денег, совсем немного чтоб не баловать.

— Возьми, купи себе чего-нибудь.

Дима молча положил бумажку на стол и вышел из комнаты.

— Ах, ты вот как, нос задираешь! — пробормотал Сивков.

— Но это же неправильно, как ты не понимаешь?

— Что неправильно? Я показать хочу, что простил, не сержусь, и чтоб он не обижался.

Утром Дима старался не попадаться ему на глаза.

— Чего ты не здороваешься ? — спрашивал Сивков :
— Или у вас не полагается ?

— Ну, здравствуйте !

— Не „ ну, здравствуйте”, а просто „ здравствуйте”.
Повтори !

Если Дима здоровался, Сивков смотрел мимо и не отвечал.

— Ты к нему придираешься, — не его вина, если я его не так воспитала.

— Мальчишку учить надо, потом поздно будет !

— Учить — да, но не так.

— А как же прикажешь учить ? Плеткой ?

Не зная как выразить протест против того враждебного и чужого, что объединяло Елену с сыном, Сивков делался грубым.

У себя в комнате Дима сжимал кулаки и бил по шершавой штукатурке. Он знал, что мать защищает его против Сивкова, но его возмущал ее сдержанный, уступчивый тон. Оставшись с Димой вдвоем она начинала его убеждать :

— Ты пойми, ему тоже трудно, он чувствует себя чужим... Потерпи немного, все обойдется...

— Нечего было жениться, кто его просил !

— Не говори глупостей, лучше подумай, как он о тебе заботится. Вспомни как мы раньше жили !

— Очень хорошо жили, я и сейчас готов...

Жизнь в старом доме — голод, свобода, ссоры с матерью — теперь все представлялось ему счастьем.

Днем квартира была пуста. Он садился к столу, открывал книгу и задумывался. Сначала туманно, потом все ясней выплывал угол сада, ветки яблони, повисшие на подпорках, Любино сердитое, насмешливое лицо, ее нога в самодельной туфле на краю ящика, полного крупными, желтыми яблоками, и презрительный голос :

— И ты ей веришь ? Она все врет ! Конечно, он был с белыми, теперь они ушли...

Он смотрел на нее широко раскрытыми глазами, вспоминая, восстанавливая, удивляясь как он мог не догадаться раньше, вопросы срывались с его языка, но он

так и не спросил ничего. Он не любил мать, иногда он думал, что он ее ненавидит, но спрашивать Любу значило позволить ей говорить таким тоном.

Теперь он знал правду, все стало ясней, но в то же время гораздо сложнее. Ждать, что отец придет, не было смысла, надо было ехать его искать, но куда? Ему представлялись огромные пространства — пустыни, моря, города, и где-то среди миллионов людей, говорящих на чужих языках, был его отец.

Скоро его начинал мучить голод. Он шел в кухню, открывал шкаф, заглядывал в кастрюли — везде было пусто, только на дне судка болтались подернутые пленкой, пахнущие помоями остатки вчерашнего супа. На окно он старался не смотреть — там за стеклом, между двумя рамами висели принесенные Сивковым свертки. Дима клялся себе, что их не тронет, презирал себя за слабость и все-таки не выдерживал. Прислушиваясь к жужжанию подъемной машины, он разворачивал промасленную бумагу и, глотая слюну, дрожащими руками резал колбасу — кусочек, даже два, совсем незаметно, если подровнять, узнать невозможно.

С приятным вкусом во рту он ложился на кровать и мечтал об еде. Если первым приходил Сивков, объяснение начиналось немедленно.

— Ты трогал колбасу? — кричал он из кухни.

Можно было сразу не отвечать, притвориться что заснул,

— Что ж ты не слышишь, когда тебя спрашивают?

— Какую колбасу?

— Ты сознайся, мне надо знать, я не хочу понапрасну уборщицу обвинять.

— Я вам говорю, я ничего не трогал.

Если мать была дома, до Димы долетали голоса — злой, раздраженный Сивкова и ее тихий, дрожащий.

Обед был мучительным временем.

— Ешь с хлебом! Разве можно есть суп без хлеба?

— Я никогда с хлебом не ем.

— Может не ел, а теперь будешь. Вытри рот, противно смотреть! Что у вас и спасибо не говорят после обеда?

Мать сидела закусив губу, опустив глаза. Даже если они молчали, ему казалось, что они спорят, не о нем, а о чем то важном, своем.

— Дима, ты помнишь Егорыча? Такие большие усы, лысый, он тебе сказки рассказывал, ты его очень любил? Странно, я даже не помню как его звали, всегда Егорыч, Егорыч...

Дима понимал, что она старается его задобрить, нарочно говорит об Егорыче, которого Сивков не знает.

— Пафнутий, Панкратий, как то так, — хмуро отзывался он: — какое-то некультурное имя.

— Оказывается, он убит...

Голос Сивкова врезывался ножом.

— Это какие же такие бывают некультурные имена?

— Он неправильно выразился, он хотел сказать имена, которые употребляет простонародие.

— Что-то не слышал. Имена все одинаковые, какие поп даст.

Если Сивков опаздывал, они ели одни, ели молча, не глядя друг на друга и оба прислушивались. Шаги были твердые, уверенные. Распахивалась дверь, щелкало электричество, стучала вешалка. Он входил потирая руки и не глядя на Диму останавливался за Елениным стулом. Плечи ее поднимались, будто она ждала удара. Сивков закидывал ей голову назад и долго взасос целовал ее в губы. Она слабо сопротивлялась, стараясь освободиться, но чем больше она сопротивлялась, тем дольше он ее не выпускал.

Иногда чем-то недовольный он проходил прямо в спальню и ложился на кровать.

— Он устал, — тихо говорила Елена, — он страшно много работает. Ты его вчера обидел, попроси у него прощения.

— Я? Обидел?

— Ну, что тебе стоит ? Просто скажи, что виноват, вот и все . . .

Позднее Дима слышал возню в кухне — шипение при- муса, шорох бумаги, голоса.

— Ну, попробуй !

— Не хочу.

— Один кусочек, я знаю ты любишь, нарочно для тебя купил. Ну, открой рот !

38.

В новой школе блестели полы, в нишах стояли гип- совые фигуры. Самоуверенные мальчишки прогуливались парами, разговаривали как взрослые и, проходя мимо приемной, где на кончике стула сидел Дима, насмешливо переглядывались.

— Тебе здесь понравится, — говорила Елена, раз- глядывая гравюры на стенах : — Чего ты надулся ? Ты же сам хотел переменить !

Пришел заведующий, высокий, румяный, с близору- кими глазами и громким голосом.

— Здравствуйте, здравствуйте ! — Конечно, помню — последний раз в Париже, на вокзале . . . Трудно во- образить как все переменялось, даже не верится ! У меня такое чувство, что там мы были эмигрантами, а теперь здесь эмигранты. Впрочем, я недавно, жена француженка, никак не привыкнет . . . Это ваш сын ? Я не знал . . .

— Он здесь жил, у моих родителей.

— Да, да, много прекрасного, широкое поле деятель- ности ! Я, собственно, думал работать по преобразованию народной школы . . .

Заведующий повел Диму по классам. Учителя были вежливы, здоровались за руку, ученики смотрели не- приятенно и выжидающе.

— Тебе понравилось ? — весело спросила Елена,

когда они вышли на улицу, спросила так, будто не сомневалась, что он в восторге.

Он пожал плечами. Отвечать не было смысла, все равно что говорить глухому. Разве она что-нибудь замечает? Разве она видела как переглядывались мальчишки, как заведующий объяснял что-то учителю, а учитель с сомнением качал головой. Дима и сам не совсем понимал в чем дело, но он твердо знал, что в этой школе он будет чужим — он был один, они были все вместе против него.

Каждое утро он останавливался перед дверью школы, собираясь с духом, будто готовился прыгнуть в холодную воду.

— Вот Чернышев должно быть знает, — говорил учитель математики, — посмотрим, что он скажет!

К нему поворачивались лица с блестящими, ждущими глазами. Он молчал, ненавидя учителя за притворную ласковость, мальчишек за ревнивое недоверие.

— Ну, ничего, другой раз, понемногу привыкнете, оглядитесь... Мы все ваши друзья, одна большая семья.

Письменные работы он подавал первый.

— Так, — говорил математик, — так. Почему ж вы не могли ответить, когда я вас спрашивал?

— Списал, — шипели за его спиной довольные голоса, — подсмотрел.

Учитель литературы вернул его сочинение с тремя вопросительными знаками и короткой пометкой „ Не на тему”.

На переменах он сидел один, уткнувшись в книгу. Кругом звучали хвастливые голоса :

— Я буду послом.

— Ну уж послом! Сначала секретарем.

— Не все ли равно? Папа говорит, в Наркоминделе нужны люди с образованием.

— Эй, Чернышев, а ты что будешь делать?

— Он будет селькором.

— Едва ли, для этого надо чувствовать линию.

— Он будет швейцаром.

Они разговаривали солидно, как взрослые, показывали друг другу самопишущие перья и записные книжки в скрипящей коже.

— Где достал? Откуда?

— Папа привез, из Лондона.

Хвалились назначениями которые получали отцы.

— А ты, Чернышев? Где твой отец работает? В райкоме?

— Вы неглупый мальчик, — сказал ему заведующий: — Почему вы ставите себя в такое положение? И учителя и товарищи идут вам навстречу, вы сами отталкиваетесь, замыкаетесь в гордом одиночестве. Время Печериных прошло, мы живем в эпоху коллективного творчества. И напрасно вы думаете, что ваши товарищи ниже вас, многие из них путешествовали, жили за границей.

Дима с усилием проглотил пузырь.

— Я хотел с вами поговорить вот о чем: по отзывам учителей вы сильно отстали, с языками у вас совсем плохо, по-видимому вам лучше пересесть в шестую группу. Дело в том, что наша программа гораздо шире, наша школа исключительная. Когда-нибудь все школы сравняются, но пока приходится применяться к требованиям жизни...

Перед Рождеством был неожиданный просвет — на годовой школьной выставке его картина получила первый приз. Несколько дней он не мог опомниться, он улыбался, отвечал на вопросы, даже сам заговаривал с товарищами.

Выставку посетили члены правительства, родители учеников, два корреспондента и заезжий австралийский художник. Темнолицый художник улыбался, говорил что-то непонятное и показывал Диме свой альбом со странными белыми деревьями и оранжевыми горами.

Заведующий подвел плотного черноусого человека в суконной рубаше с кавказским серебряным поясом.

— Прекрасно, прекрасно! — хвалил черноусый: — Даже удивительно, мальчик... сколько ему лет? Главное идея — разрушение старого мира!

Никакой идеи у Димы не было, а если была, то совсем

другая. „Здесь, — сказала бабушка, когда они ехали по лесной дороге, — усадьба предводителя дворянства, хочешь посмотреть? Там никого нет. Впрочем поздно, лучше другой раз...” Он равнодушно проехал мимо парка разделенного аллеями на квадраты, мимо спуска, в котором журчала по обросшим зеленой слизью доскам теплая летняя вода. Он знал предводителей разбойников, предводителей армий, о предводителях дворянства он не слышал. Должно быть что-нибудь старое, вроде крестовосцев.

Позднее, блуждая с Любой по лесу, он все-таки попал в брошенную усадьбу. „Посмотрим, — сказала Люба, — может найдем что-нибудь интересное!” Дом был пуст, дверь раскрыта настежь, все, что можно было взять, было увезено, осталось только огромное, обитое кожей кресло. Оно стояло прямо перед окном, казалось за высокой спинкой кто-то сидит и смотрит на застывший пруд, на высокие, черно-зеленые ели, на их перевернутое отражение в воде. „Ну, идем! — нетерпеливо сказала Люба: — В посадке должны быть рыжики.”

Незадолго до отъезда, роясь на чердаке в пахнущих мышами книгах, он нашел альбом рисунков — какие-то старые здания, церкви или крепости, с высокими узкими окнами, с неприступными, голыми стенами. Хмурясь, что-то припоминая, он долго смотрел на тяжелую каменную громаду, на распахнутую, полукруглую дверь, за которой была черная пустота, на нависшую лиловую с белыми отворотами тучу.

Веселый, белый предводительский дом смешался с угрюмой квадратной постройкой, они были совсем не похожи, но что-то их объединяло — распахнутая дверь, пустота, одиночество и туча. Над предводительским домом тучи не было, но она должна была быть. Это было самое трудное. По дороге в школу он смотрел на небо, но небо было бледно-серым, а ему нужна была туча, грозная, дымящаяся, лиловая, в огненных подпалинах. Он так и не добился, но никто не заметил, все хвалили,

учителя благосклонно хлопали по плечу, мальчики заговаривали.

Ни мать ни Сивков на выставку не пришли. Сивков уехал в командировку на Кавказ. „Хорошо бы, — думал Дима, — крушение поезда, или могут застрелить, в горах есть дикие . . .”

По вечерам дверь в спальню была открыта, Елена лежала на кровати с книгой. Опять они обедали как придется, каждый ел, когда хотел. За форточкой болталась пустая веревочка. Грязная посуда в кухне дожидалась прихода уборщицы.

— Ты б убрал, — рассеянно замечала Елена.

— Хорошо, — соглашался он и сейчас же забывал.

Иногда она заходила в его комнату и молча стояла у двери. „Уж лучше бы она опять ругалась и дралась, — думал он угрюмо, — а то смотрит, будто ее кто-то побил.”

— Ну, как дела в школе? — спрашивала она.

— Ничего, — поживая плечами отвечал Дима, он видел, что она думает о другом, а спрашивает просто так.

Хорошего в школе было мало, мгновенный успех забывался, мальчишки мстили за то, что временно он их затмил. В стенгазете появилась карикатура и насмешливые стишки :

Знаток картин, идеалист,
Он зла не сделает и птичке,
Он как ребенок сердцем чист,
Хоть мыться не в его привычке.

Карикатура была неудачная, но обидная — длинные, нестриженные волосы, на коленях заплатки.

Почему-то к нему пристал учитель обществоведения. Дима ввязался в спор.

— Вы говорите, что коммунизм непогрешим вроде католической церкви, — говорил он спеша и заикаясь: — а сам Маркс думал, что многое еще надо менять и искать . . .

— А вы читали Маркса ?

— Читал. Не все, конечно . . .

— Вы сами не знаете, что говорите ! — крикнул обществувед, тревожно обегая класс черными, колючими глазками : — Крупнейшие мыслители — Ленин, Бухарин — понимают, надеюсь, лучше вас. Если вы будете так продолжать, мне придется поговорить с заведующим.

Через два дня они столкнулись в пустом коридоре.

— Надеюсь вы поняли какие глупости говорили, — мягко сказал учитель : — Нехорошо, перед всем классом ! Если вам что-нибудь неясно — приходите в любое время, я объясню. Я специально изучал.

— Я тоже изучал, — пробурчал Дима.

На другой день его послали к психологу. Психолог был гордостью школы, чем-то новым, чего еще не было нигде. Все знали, что он кончил университет в Вене и написал несколько книг. Мальчики боялись его и подшучивали осторожно. Он был похож на таинственного карлу, на средневекового волшебника. Маленький, плотный, с седой бородкой он пробирался через шумную толпу школьников, поблескивая стеклами пенсне. Рассказывали, что за низкой дверью его кабинета скрывается машина, похожая на гильотину, альбомы с рисунками чертей и коробка черных леденцов.

Психолог открыл дверь и поздоровался с Димой за руку.

— А, очень интересно ! — сказал он приветливо : — Теперь забудьте, что вы школьник, а я взрослый, и будем говорить как товарищи. Расскажите, что вас больше всего интересует ? — маленькими, чистыми, какими-то нерусскими руками он перебирал бумаги на столе : — Ага ! Вы художник ! Прекрасно, я вам дам лист бумаги и вы мне что-нибудь нарисуйте, ну, например, вашу семью. Вот там столик у окна, садитесь и не обращайтесь на меня внимания, я буду заниматься своими делами.

В зале было тихо, из классов долетал гул голосов. Во дворе, за окном человек в белом фартуке резал лопа-

той снег на аккуратные кубы и грузил на салазки. Если бы лето, можно было бы прыгнуть в окно и все итти, итти... Ведь убегают же из тюрем! В Ненашево нельзя, найдут... хорошо бы на Кавказ, когда он оттуда уедет, уйти в горы, купить лошадь и кинжал, подружиться с черкесами, сделаться предводителем... Или в Америку... нет, лучше в Австралию, найти того художника, писать с ним картины, лиловые и оранжевые горы, белые деревья, дикарей...

— Ну как? Подвигается?

Психолог хрустнул бумагой и развернул огромную карту.

— Да, сейчас.

„Что он сказал нарисовать? Семейку? Как в первой группе: — нарисуйте, дети, папу, маму... Мог бы он нарисовать отца? Даже если бы мог, для него он рисовать не будет.”

— Вы не старайтесь, детали не важны, главное общая идея. Кончили, вот и хорошо. Интересно, очень интересно!

Дима положил перед ним белый лист.

— А где же рисунок?

Посреди бумаги, взявшись за руки, танцевали маленькие фигурки, такие как когда-то рисовала для него бабушка — кружок для головы, палочка для туловища, две для ног, накрест для рук.

Голой череп психолога покраснел, седая бородка высунулась вперед.

— Подите вон! — сказал он тихо.

Вечером Елена зашла в его комнату.

— Ты занимаешься?

— Да, занимаюсь.

Она стала у окна, спиной к нему, а он стучал карандашом по одному месту, дожидаясь когда она уйдет.

— Тебе нравится... эта квартира?

Дима уронил карандаш и полез под стол.

— Мы могли и раньше, давно... я просто не подумала. Почему ты со мной никогда не разговариваешь?

— О чем? — буркнул он угрюмо.

— Вообще. Неужели между нами нет ничего общего?

— Оставь меня в покое! — крикнул он сквозь непрошенные слезы: — Зачем ты написала, чтоб я приехал? Лучше б я там остался!

Она прижала руки к вискам, вязаный платок съехал с ее плеч и упал на пол.

— Чего ты все злишься? Что я такое сделала? Неужели потому что я вышла замуж? Но ведь я для тебя же...

Слезы разом отступили и горло прочистилось.

— Спасибо. Только почему ты меня не спросила?

Она оттолкнула стул и как слепая налетела на дверь. Дима пролежал с закрытыми глазами целый час. Тихий шорох заставил его подпрыгнуть. Она опять стояла в дверях, в столовой было темно, свет проходил из передней.

— Почему ты не раздеваешься?

Она двинулась к кровати. Дима поспешно съехал на самый край, чтоб не дать ей сесть. Но она все-таки примостилась, ухватившись рукой за матрас.

— Какая тоска, ах, какая тоска! Ну, скажи хоть что-нибудь! Что ты все молчишь?

— Уйди, я хочу спать.

На стене двигалось светлой пятнышко — вперед-назад, вперед-назад. Потрескивал радиатор. Прошелестел лифт, остановился на их этаже, с грохотом открылась и закрылась дверь.

Осторожно он старался ее оттеснить, столкнуть, заставить уйти. Но она упрямо цеплялась, упиралась ногами.

— Как ты могла? — выдавил он с трудом: — И папа...

— Ах, ты ничего не понимаешь! Он очень добрый, только не умеет показать...

— Лягушка!

— А папа... я думаю, его уже нет в живых...

— Не смей ! — крикнул он бешено и надавил изо всех сил коленом : — Я все знаю, мне Люба сказала, он был в Белой армии. Почему ты врала ? Он не мог ошибиться . . .

Она поднялась, но не ушла.

— Ну, хочешь, — сказала она странным, не своим голосом, — хочешь, мы уедем ? Вернемся в старый дом . . . или еще куда-нибудь . . .

— Когда ?

— Скоро, надо все устроить . . .

39.

Сивков отдохнул, поправился, повидал новых людей. Грузинские товарищи были гостеприимны, никогда не виданные горы и теплый воздух подняли его настроение.

Кроме чемодана он вез ковровый мешок с подарками. Всю дорогу он представлял себе как Елена будет делать равнодушное лицо и пожимать плечами, но теперь почему-то это его не раздражало — все огорчения казались пустяками.

Из Тифлиса он послал Стеше немного денег, а дочери полосатый шелковый шарф. Для сына тоже был подарок — кавказский кинжал. Отправить его почтой он не решился.

За время его отсутствия Москва изменилась — чище стали улицы, открылись новые лавки, веселей смотрели прохожие.

— Скорей, чего плетешься ! — погонял он извозчика.

— Здравствуйте, товарищ Сивков ! — весело поздоровалась лифтерша : — Как съездили ?

Он хотел ей что-нибудь дать, какую-нибудь маленькую штучку, но под рукой ничего не было, и он сунул ей денег.

Елена еще не вернулась, Дима вышел из своей комнаты, хмуро поздоровался и повернул обратно.

— Нет, постой! — крикнул Сивков.

Для Димы он ничего не привез, хотел дать ему изюму, но под руку попался завернутый в газету кинжал и в минутном порыве, в охватившем его желании всех осчастливить, он протянул ему сверток.

— Бери, бери, это тебе!

Несколько секунд Дима не мог произнести слова.

— Неужели правда?

Елена застала их в столовой, Сивков рассказывал, Дима сидел на стуле и улыбался. Она сразу развеселилась, похвалила подарки, особенно абхазскую шерстяную материю.

— Теперь я знаю, что тебе дарить — то что мне самому не нравится, — пошутил Сивков.

Материя была грубая, серо-коричневая и купил он ее только потому, что другие покупали — в Москве шерсть была на вес золота. Обед затянулся на два часа. Сивков любил говорить, любил чтоб его слушали и не перебивали.

— Подожди! — говорил он, поднимая ладонь: — не спеши, сейчас узнаешь, к этому иду.

Дима слушал раскрыв рот, Елена смотрела задумчиво.

— Это фурма, а не гурма, — поправила она осторожно.

— Чего ты спиришь? Я же знаю. Там есть гора, Казбек называется, выше ее нигде в мире нет.

Дима принес учебник географии.

— А что они знают! — недовольно отмахнулся Сивков: — Наверно никогда там не были, а пишут тоже!

На другой день он стал повторяться, рассказывал те же истории, неумело коверкал гортанный говор горцев.

— Куда ты? Подожди, я сейчас расскажу, как меня один армяшка надуть хотел.

Со страдальческим видом Елена слушала старые, выдохшиеся анекдоты.

Через несколько дней он оставил их в покое, стал поздно возвращаться домой, все время был озабочен и молчалив.

Его вызвали для короткого доклада Ленину, сказали чтоб он был осторожен и не волновал. Не надо было и предупреждать, даже такой ненаблюдательный человек как Сивков не мог не заметить страшную перемену. Лицо Ильича пожелтело и одрябло, сухие, редкие волосы отстали от черепа, еще недавно быстрые, острые глаза смотрели тускло и равнодушно. Лежавшая на коленях рука шевелилась, пальцы медленно поднимались и опускались. За спиной Сивков чувствовал чье-то молчаливое присутствие, женские фигуры появлялись и исчезали. Он вышел из квартиры как после похорон.

— Вот беда какая, — сказал он вечером Елене: — Лучше бы другой кто, а не он. И что только с нами будет!

В Профсоюзе шло глухое волнение. В государственных учреждениях, на заводах и фабриках появились специалисты, бывшие инженеры и директора, им даны были большие полномочия, было похоже, что возвращается прежнее, что все достигнутое годами борьбы идет на смарку. Правда, профсоюзники должны были за всем следить и доносить куда следует, но это вызывало длинную канитель. Доклады часто оставались без ответа, на верхах партии у специалистов были свои защитники. Профсоюзникам советовали действовать осторожно, специалисты были допущены временно, чтоб наладить хозяйство. Пока что было неясно, кто стоит во главе — то ли назначенный директором рабочий-профсоюзник, то ли бывший хозяин, у которого было все отнято, и которому вдруг опять дано было право распоряжаться.

В Рабоче-крестьянской инспекции были другие трудности — шла непрерывная борьба местных учреждений против центральной власти. Губернские органы выходили из подчинения, доказывали, что в Москве не принимают во внимание местных условий, не дают субсидий, а требуют поставок.

Несмотря на все трудности Сивков любил ездить в командировки — иметь дело с местным начальством было легче, чем работать в центре. Он понимал, почему они действуют так, а не иначе, догадывался о том, чего они не договаривали. В провинции к нему относились с уважением, хотя спорили и оправдывались. Для них он был представителем центра, от него зависело многое, он был осведомлен о том, что там делается и чего можно ждать впереди.

В Москву он возвращался с тем же чувством, с каким когда-то в детстве подходил к трясине в лесу, около Вешек. То же ощущение жутки и любопытства, та же засасывающая, колеблющаяся под ногами почва. Не было ни одного человека, на которого он мог положиться, все чувствовали себя неуверенно, каждый день готовы были переменить то, что говорили вчера.

Наверху шла скрытая, напряженная борьба, за ней тревожно следили члены партии и беспартийные специалисты, которые по тем или иным соображениям работали в советских учреждениях. У каждого были свои фавориты, в которых они видели спасение страны, в зависимости от этих симпатий сходились и расходились прежние друзья и враги. Встретив на заседании Любецкого Сивков почувствовал шедший от него холодок — Любецкий не забыл прежних разговоров.

Занятый важными делами, Сивков перестал замечать, что происходило у него дома. Ему казалось, что все утряслось — Дима учится, Елена занимается женскими делами — работает с беспризорными и в Соцбесе. В конце января он вернулся домой раньше обычного и не раздеваясь, размахивая газетой прошел прямо в спальню.

— Подожди! — испуганно крикнула Елена: — Одну минуту, я сейчас!

— Ты что, с ума сошла? — спросил он удивленно, рассеянно глядя как она спешно натягивает рубашку: — Ты читала? Ну и хватил твой Любецкий!

Хрустя бумагой он развернул Известия и положил на кровать.

— Сейчас найду... ну, слушай!

Статья была резкая, с грубыми выпадами против партийных товарищей, ловко прикрытыми рассуждениями об истинном смысле новой экономической политики, о перманентной революции и неустанном стремлении вперед. Только посвященный человек мог понять против кого она направлена, рядовой читатель, пробегая нападки на мещанство, самоудовлетворение, сплетни и пирушки, в недоумении качал головой.

Тон статьи Елене не понравился, но идея была близка, она и сама с огорчением думала о психологическом сдвиге.

— Вот сволочь! — с отвращением крикнул Сивков, откидывая газету: — Все слова!

Спорить не стоило, но она не удержалась — слишком все это было близко, задевало за живое.

— Чего ты его защищаешь? — возмутился Сивков: — Пирушки! А сам, как увидит вкусненькое, зубами щелкает...

— Я не защищаю, я только говорю, что мысль у него совершенно правильная!

— Ну, и иди, целуйся с ним!

Они поссорились. Сивков лег без ужина и сейчас же заснул, но очень скоро без всякой причины проснулся опять. Елена читала, загордив лампу газетой.

— Ты скоро потушишь? — спросил он сердито: — Спать не даешь!

— Да, прости, сейчас кончу.

Но он уже не мог больше заснуть, припомнились вдруг все обиды, все огорчения. Мало того что приходится на части разрываться по службе, а и дома покоя нет, все не так, все не по-людски. Он для нее душой рад все сделать, а она... уж Бог с ней, что хозяйка плохая, могла бы чем-нибудь еще помочь, могла бы познакомить с нужными людьми... не хочет! А тут вдруг стыдиться вздумала... слава Богу, полгода же-

наты! На прошлой неделе тоже, дверь на крючок заперла, не хотела пускать. Что-то не так, что-то она стала выдумывать.

Утром они пили чай вдвоем. Дима ушел в школу.

— Ну, как он? Стареется? Взятся за ум? — придирчиво спросил Сивков.

Она пожала плечами и не ответила. Будто это его не касается. Значит ясно, опять мальчишка бузит. Что ж, не хочет говорить, он и сам узнает. Кстати ходит в школу, спросит примут ли Николая — парень с головой, даром что мужицкий сын.

Обедали опять без Димы, в его комнате было темно.

— Странно, — сказала Елена, — где он может быть? Он не звонил? Ты когда вернулся?

— А, не волнуйся, придет, ничего с ним не делается.

— Я не волнуюсь, просто странно, никогда он так поздно не приходит.

— Ну, зашел к товарищу...

— Ни к кому он не ходит. У него и товарищей нет.

— Слава Богу, не маленький! Так и будешь всю жизнь беспокоиться? А может, обиделся... мы тут немножко поговорили...

— Так он приходил!? Чего ж ты молчишь? О чем говорили?

— Да так, пустяки. Давно бы следовало, теперь будет как шелковый.

— О чем говорили? — настойчиво повторила Елена.

— Как так о чем? Сама знаешь... Я ему говорю: ты или учись, или иди работать, дурака валять нечего! Разве неправильно? Что он там в школе натворил, ты верно и не знаешь? Что он о себе думает, чтоб с учителями спорить? Может они и дураки, да не его дело старших учить. Он болтает сдуру, а отвечать мне придется. Случись что, всё мне пришьют. И не за такие дела из партии вышибали. Ну, я его посовестил немножко, сказал какие ты из-за него неприятности терпишь. А он говорит — все неправда. Как такое неправда?

Тебя к этому, к психологу, посылали? Что ты ему ответил? Как ты ему сгрубил? Ты старших уважать должен! Что ты ему на смех нарисовал? Я, говорю, все твои штучки знаю.

Елена двинула застывшим губами.

— Я же просила... ведь я просила, чтоб ты с ним не говорил.

— Ну, ничего, — примирительно ответил Сивков, — ведь я для его же пользы. Что ж ты ничего не кушаешь?

Он разрезал булочку, намазал маслом, открыл баночку с икрой.

— Да он не обиделся, только уж под конец я что то против шерсти сказал... Я говорю, ты меня благодарить должен, что я тебя уму-разуму учу, тебя некому учить, безотцовщина. Ну, это ему и не понравилось. Он как подпрыгнет и прямо на меня! Может я и зря, да меня тоже обида взяла — я о нем забочусь, а он как волк. Ну, он было с кулаками, да молод еще со мной тягаться! Я ему руки скрутил да толкнул легонько. Ну, вот он скорей всего и осерчал. Ничего, все хорошо будет! — бодро заключил Сивков: — Его давно надо было отчитать. Так ты не хочешь? Я к нам за окно уберу, а то он придет голодный, все раскидает...

Он собрал масло, булочки и икру и унес все в спальню. Елена продолжала сидеть за столом, глядя в одну точку.

— Что ж ты спать? — крикнул Сивков: — Поздно, завтра не встанешь. А я устал что-то.

Он заснул мгновенно и проснулся в семь часов утра на том же боку. Елены не было, подушка была не смята. Потирая руки он прошел в холодную кухню, поставил чайник, заглянул в столовую. Все было как он оставил вчера — на тарелке бумажка от масла, чашка с остывшим чаем. Он толкнул дверь в Димину комнату. На кровати, сжавшись в комок, лежала Елена. Должно быть она озябла — лицо посинело, глаза запали. Сивков хотел принести одеяло, но решил не потакать и сел пить чай.

Среди дня она позвонила в школу.

— Чернышев? — звонко крикнул мальчишеский голос: — Подождите, сейчас узнаю.

Она опустила локоть на столик, придумывая как лучше с ним говорить: ласково, чтоб не оттолкнуть, чтоб он поверил, или строго — раз навсегда показать ему, что он должен подтянуться и не поддаваться минутным настроениям.

Гудели провода, сливаясь с пустопорожним шумом школы, похожим на гул в Центральных банях. Звонко взрывался звук голосов, стук двери. Никто не шел, о ней забыли. Она уж хотела положить трубку, как вдруг прямо ей в ухо дохнул запыхавшихся голос.

— Он сегодня не пришел, должно быть болен. Кто спрашивает?

Первые дни тревога мешалась с обидой. Не мог потерпеть... ведь она обещала... какой эгоизм... мог бы оставить записку.

— А ты все волнуешься? — спокойно говорил Сивков: — Не стоит, проголодается — придет.

В квартире было холодно, сломалось отопление, северный ветер бил в наружную стену, дребезжали рамы.

— Не знаю как ты, а я считаю за такие дела надо хорошенько проучить!

Она куталась в платок и не отвечала. Где он мог быть? Ненашево и Сережа — больше негде. Вот что значит сделать ошибку, позволила ему ехать в Ненашево, просто по слабости, ведь знала, что ничего хорошего из этого не будет. Через неделю, не выдержав, она послала матери телеграмму. Ответ пришел немедленно: „Не был сентября, что случилось, умоляю писать”. Она разорвала бумажку на мелкие кусочки и даже не подумала отвечать.

Значит Сережа, мстит за то, что она не хотела помочь какому-то профессору. Будто она может всем

помогать! Что бы стало с революцией, если бы каждый член Партии исполнял просьбы...

Сгоряча она хотела позвонить в милицию. Отговорил Сивков, он сам сходил к Сереже и вернувшись покачал головой. Начались хождения по детским домам. Заведующие старались от нее отделаться.

— Нет, нет, у нас малыши, за последнюю неделю новых не поступало.

Отношение к ней менялось — она уже не была начальством, она была одной из тысяч родителей, искавших своих детей. Руководители не оправдывались, не старались показаться с лучшей стороны.

— Это разбойники, это сумасшедшие, таких еще никогда не было, — жаловались они: — Тюрьма для них единственное место!

На службе она сидела сдвинув брови, раздражалась и делала выговоры. Со старыми товарищами она старалась не встречаться. На неизбежные вопросы она пожимала плечами и быстро переводила разговор.

Однажды в широком коридоре, перед дверью своего кабинета она натолкнулась на многолетнего соседа в эмиграции — они жили в Женеве в одном доме, обедали в одной столовой и часто встречались по вечерам.

Большой, лохматый, отяжелевший и оплывший как глыба льда, он шел размахивая набитым портфелем и хмуро опустив голову. Елена поспешно отвернулась и толкнула свою дверь.

— Ты что это, а? — крикнул он, хватая ее за руку: — Друзей не узнаешь!

— Пусти!

— Во власти личных переживаний? Плохо, брат, плохо! Неужели не можешь держать себя в руках? Нам нужны сильные, бодрые... Приходи сегодня на пионерский съезд, прелесть что за ребята, сердце радуется!

В его мутных глазах, с оттянутыми вниз как у сенбернара веками, была не радость, а мрачная жалоба.

Вечером, возвращаясь домой безлюдным Неглинным проездом, она услышала детские голоса. В двух шагах от нее, в обшитом железом котле, где летом варили асфальт, что-то упало.

— Чего стоишь? — спросил из завешанного тряпкой отверстия сердитый мальчишеский голос.

Она наклонилась. Кто-то шептался, кто-то глухо кашлял, закрывая лицо.

— Куда лезешь? Убирайся!

— Слушай! — сказала она заискивающе: — Есть у вас мальчик, зовут Димой, большой, пятнадцать лет... Может ты слышал?

В котле молчали.

— Мне ничего не надо, только передать...

— Из детдома убежал? — спросил насмешливый голос.

— Нет, это мой сын, ты ему скажи...

— Таких у нас нет.

Она постояла несколько минут, опустив голову, и побрела к Кузнецкому мосту. От стены углового дома отделилась темная фигура.

— Сколько дашь? Мы найдем.

— Почему ты в детдом не идешь? — спросила она по привычке.

И так же привычно и фальшиво от ответил:

— Не берут. Да теперь уж скоро в степи поедем.

— У тебя мать есть?

— Была когда-то.

— Пойдем, я тебя покормлю.

— Ну, тебя! Так не дашь, жила?

— На вот, на, больше нет, все...

Холодная лапка прикоснулась к ее руке. Мальчик исчез безшумно, будто растаял. Она свернула на Кузнецкий. Прохожих не было, но в подворотнях кто-то шевелился, двери подъездов приоткрывались, шептались приглушенные голоса. Город был полон бездомных детей.

В пустой квартире гудела электрическими проводами тишина, восьмой этаж плыл покачиваясь в воз-

духе. Кругом был необъятный, пустой мир, ледяной круг, освященный луной.

Что-то треснуло в оконной раме, будто хлопущка, стекло забито инеем, мороз. Где он, где? Ни копейки денег, эта слабость, эта беззащитность, эти глаза испуганные, доверчивые... Как могла она не видеть, как могла быть совершенно слепой! Вот сейчас в эту минуту он лежит где-то и плачет, сжавшись в комок как в детстве, натянув на голову одеяло... Одеяло! Очнись — он лежит на голых досках, на полу, на камнях, на снегу...

Она схватила брошенное на пол пальто — надо итти, надо искать, больницы, участки, вокзалы открыты ночью...

Желтым светом резнуло электричество.

— Ты дома? — спокойно спросил Сивков: — Что это ты, или куда собралась?

Она положила пальто на стул и села. Сивков вошел в кухню, шуршал бумагой, что-то резал, стуча ножом о доску. Машинально она разделась и легла, не думая о том, что делает, напряженно прислушиваясь к чему-то происходившему внутри.

— Легла? — крикнул Сивков: — Хочешь я чаю принесу?

Она не ответила, ей казалось он спрашивает кого-то другого.

— А меня задержали, — сказал Сивков входя в спальню, — поздно, лучше завтра расскажу... Ну, спать, спать, спать!

Он улыбался и с сухим треском тер ладони одну о другую.

— Руки холодные, — сказал он, дую под одеялом на пальцы; — мороз здоровый — боюсь ни застудить бы...

Он осторожно обнял ее за плечи, бормоча привычный вздор.

— Ну, иди ко мне! Чего ты? Соскучилась немножко?

— Оставь ! — крикнула она срывающимся голосом:
— Не смей ! Не трогай !

— Ты что, белены объелась ? — спросил он обиженно: — Я к тебе душевно, пожалел . . .

— Уйди, не смей об этом говорить !

— Здравствуйте, пожалуйста ! Я то чем виноват ? Не слушала меня, распустила, вот и плачь теперь, а мне надоело . . .

Он повернулся на другой бок и скоро заснул. Разбудил его скрип пружины.

— Ты что ? — проворчал он недовольно.

За широким четырехугольником окна слабо светилось ночное небо, шумела в трубах вода, что-то потрескивало, будто стучали на пишущей машинке. Одеяло съехало с его плеча.

— Куда ты ? Ложись !

— Звонок, разве ты не слышал ?

— Никакого звонка не было.

— Был, я потому и проснулась.

Она зашуршала по полу туфлями и встала. Сивков натянул освободившееся одеяло. Дверь в переднюю осталась открытой, но огня она не зажгла. Звякнула цепочка, по полу наискось легла полоса света.

— Ну, что ? — спросил он нетерпеливо : — Теперь сама видишь !

Елена не ответила, ему показалось, она с кем-то шепчется в темноте.

— Сама не спишь и людям не даешь ! — проворчал он сердито и, протянув руку, зажег лампу : — Шестой час, скоро вставать. Поставь хоть чайник !

Он умылся, надел новый костюм и посмотрел на себя в зеркало. Костюм был синий, в полоску, такой же как у нескольких спецов. Сивков довольно усмехнулся и пошел в кухню.

Елена стояла перед раковиной и смотрела в окно на летящие хлопья снега. Пушистый, косой сугроб закрыл угол окна и рос на глазах. Кран был открыт, вода бежала мимо чайника.

— Ты что же это, а? — спросил он мягко: — Давай-ка лучше я!

Она передала ему чайник и подвинулась, продолжая смотреть в окно.

— На прошлой неделе потеплело и вот опять, — пробормотала она.

— Ты смотри как я нарядился, — шутливо сказал Сивков: — все для твоего доклада. Вернусь пораньше, может и успею. Вот и хорошо, что рано встали.

Она пошла за ним в столовую и села на первый попавшийся стул.

— Вот мы сейчас горяченького чайку попьем, на душе и повеселеет. Ну, чего ты так смотришь, вроде весь мир провалился... Мало ли что бывает! Сегодня плохо, завтра опять хорошо будет, надо перетерпеть... А ты себе воли не давай, берись за дело, вот и забудешь! Ты хоть и партийная большевичка, а много в тебе барства осталось. У простого человека, помер кто или что, похоронили и ладно. А уж интеллигенты всегда так! Вон у Тоскиных дочь чахоткой померла, я к нему по делу разогнался, а он на меня зверем... Будто я виноват! Чего ему не хватало, скажи? Ему и комната, ему и школа, обут, одет... Другой бы на его месте... А если ты думаешь я с ним строг был — с ними иначе нельзя, они сами своей пользы не понимают. Если б его раньше покрепче держали... а то так, безотцовщина!

Она поднялась, отыскивая упавшие туфли.

— Ну, чего ты? Опять обиделась? Нельзя так все к сердцу принимать, никакого у тебя терпения. Все наладится понемногу, будет хорошо. Вот скоро Колька приедет, будет тебе развлечение...

Она рванулась к двери и, подождав немного, Сивков пошел за ней. В спальне на полу лежал раскрытый чемодан, она не глядя совала в него какие то вещи.

— Куда это ты? — мрачно спросил Сивков: — Чего выдумала?

— Я с тобой больше не могу... под одной крышей...

— Да ведь ночь на дворе, куда это ты пойдешь ?

— Ни одной минуты . . .

— Ты погоди, дай рассветет . . .

— Говорю тебе, я не могу ! Дышать не могу ! Ты думаешь, ты коммунист ? Ты маленький, ничтожный мешанин ! Только подумать — все годы, все жертвы, столько честных, больших людей . . . Во что это выродилось ? Для чего мы боролись ? Чтоб такие как ты покупали все эти дрянные, ненужные вещи и ели семгу ! Для этого уничтожены миллионы людей ! Для этого дети живут в асфальтовых котлах !

— Ну, поехала ! Я и сам уйду, черт с тобой. Так я и думал, что ничего у нас не выйдет, буза одна !

— А ты чего хотел ? Ведь я знаю, все из расчета . . .

— Из какого это расчета ? Что я нажил — бриллианты твои приданные ? Ну, видно так тому и быть !

Вытянув шею она прислушивалась к удалявшимся шагам. Захлопнулась дверь подъемной машины, она рухнула на колени и закинула голову.

— Господи ! О, Господи ! О, Господи !

На потолке двигались тени, ветер шуршал снегом по крыше, дальше был пустой воздух и пустое небо. С перекошенным лицом она вскочила на ноги. Будто перед смертью она вдруг увидела разом всю свою жизнь — баррикады на Пресне, восторг, опьянение своим бесстрашием, бледное северное сияние, чистенькую Женеву, шумный Париж, мечты, фантазии, в которые никто до конца не верил, чудо осуществления, победу над всеми препятствиями и таинственную дезинтеграцию, превратившую все в зеленую мебель и пакетики с маслом и ветчиной между двумя рамами. Дмитрий ? Тень, обман. Дима, которого она проглядела, упустила. Надо иметь мужество подвести итог — нули, нули, нули . . . Ошибки, которые уже нельзя поправить.

Но что-то еще есть, последнее, что она должна сделать. Она вскочила и кинулась к столу, отыскивая бумагу и карандаш.

Завод сельско-хозяйственных орудий имени Калинина, еще недавно работавший полным ходом, стоял. Сивкова встретила мертвая тишина. В углу двора, там где лежала груда шлака, сбилась в кучу толпа рабочих. Кто-то указал ему на дверь низкого одноэтажного строения.

В конторе, на расставленных полукругом стульях, сидело человек пять выборных. У окна пожилой бухгалтер озабоченно рылся в бумагах.

— Здравствуйте, товарищи! — сказал Сивков.

— Ну, здравствуйте! — неохотно ответил один из рабочих.

Другие молчали. Сивков расстегнул полушубок и бросил его на лавку.

— У вас тут жарко, — сказал он, присаживаясь на табуретку и вытаскивая из кармана пачку „Иры“: — Значит, отдыхаете?

Он вынул одну папиросу, не зажигая, зажал ее зубами и молча сунул пачку поочередно сидевшим полукругом рабочим.

— Что ж это вы работать бросили? — спросил он будто между прочим, не придавая значения своему вопросу: — Думается, нехорошо это, братцы, а? Народ вы сознательный, передовой, сами можете понимать. Хлеб мы едим? Едим. Землю пахать надо? Надо. Чем же ее пахать без плугов то, а? Ваша работа во всей стране самая главная, что ж вы хотите уморить весь народ голодом, что ли? Мы всё вредителей виним, которые против рабочего класса идут, а тут выходит, что мы сами главные вредители и есть. Ну, давайте рассудим по-товарищески: чем вы недовольны?

Один из рабочих, молодой, красивый парень с хохлом на лбу, прочистил горло, но его перебил другой, черноватый, остроглазый.

— Мы не знаем как по-вашему, а по-нашему выходит не так, — заговорил он торопливо и резко: —

Нам что говорят? Завод, мол, ваш, все принадлежит рабочим, диктатура пролетариата и всякая такая штука. А на деле никакой диктатуры то и нет! То есть она может и есть, только не наша. Вот скажем, завод принадлежал Чистякову. Кто доход получал? Чистяков. Теперь завод наш, значит и доход наш? Так? А нам говорят: нет, вы работайте, а доход идет государству! Какая же выходит разница? Для нас то есть? Работали мы на Чистякова, получали жалование, много ли, мало, как-то жили. Теперь паек, вы думаете на него проживешь? Да и откуда он этот паек идет? У моего же отца, этой волости крестьянина, взяли да нам дали...

— Нет, ты погоди! — перебил красивый парень: — Надо как следует, дай товарищу объясниться!

— Ладно, — согласился Сивков: — Вот вы к примеру слышали, что такое калькуляция? Калькуляция это расчет. Вы говорите — Чистяков доход получал, хорошо, вот спросите товарища бухгалтера как дело было. Получит, скажем, Чистяков тысячу рублей за продукцию, сейчас считает: столько-то за сырье надо отдать, столько-то на амортизацию, новые машины и всякая такая штука, жалование рабочим, а уж что останется это доход. А у нас что теперь получается? Государство дало вам субсидию на восстановление завода, дало сырье — должны вы за это расчитаться или нет?

— Да ведь сырье то не покупное! — воскликнул пожилой рабочий: — Что ж за него платить? Государству то оно даром досталось?

— Нет, погоди! — перебил другой: — Дело вот в чем: куда остатки идут? Имеем мы полное право разделить промежду собой какой доход будет?

Не отвечая на вопрос Сивков перешел к нападению.

— Вы лучше скажите, сколько вы продукции сдали! Ничего не разберешь — в плане одно, в отчете другое. Где ваша выработка, куда она девалась?

Он обернулся к бухгалтеру. Бухгалтер вынул из ящика стола бумажку с оборванным краем.

— Сентября тринадцатого этого года, — сказал он усталым и безнадежным голосом, — сдано по требованию уездного исполнительного комитета сто двадцать три плуга для нужд местного населения. Вот расписка.

— Как же так, товарищи? Разве вы не знаете, что завод государственный и продукция распределяется ВСНХ? Как вы так можете решать?

— Наши мужички тоже нуждаются, — заметил один из рабочих.

— В центре знают у кого нужда больше. Перво-на-перво завод должен погасить задолженность государству.

— А ну-ка, Анисимов, скажи!

Пожилой рабочий в очках перевязанных веревочкой, с лицом начетчика поднял голову.

— Согласно учению Карла Маркса, — сказал он строго, — весь продукт труда принадлежит рабочим.

— Правильно! — согласился Сивков: — Так и будет, а сейчас время переходное, государству нужны деньги, чтоб стать на ноги. Весь доход идет в особый фонд для электрификации страны.

— А мы пока что клади зубы на полку?

— Странные у вас понятия, товарищи! Если мужик например перестанет землю пахать, потому что должен сдавать часть хлеба, кого он накажет? Сам голодать будет, правда? Ну, вот то-то и оно-то! Вы мне поверьте, я сам рабочий, я обманывать не стану. Давайте лучше решим так: вы беритесь за работу, а я постараюсь, добьюсь для вас усиленного пайка! Идет?

Рабочие больше не возражали. Они ушли, по очереди пожав Сивкову руку, а он остался с бухгалтером проверять отчетность.

Серый, морозный день клонился к вечеру и на снег уже легли густые, синие тени, когда он добрался до станции. Дачный поезд был набит мешечниками и кондуктор провел его в служебное отделение. На лавках сонно покачивались железнодорожники с флажками и фонарями у ног. От дыхания, от закрытой двери, от огромных полушубков было почти тепло и, усевшись в

угол, Сивков почувствовал приятную сонливость. „Рано встал, вот что” — подумал он, и вдруг припомнил все, что случилось утром. Обида уже не казалась такой нестерпимой и он пожалел что напрасно сказал, будто он никогда не вернется. Что она такое говорила? Мещанин? Ну, это не беда. Что по расчету? Жениться без соображения тоже глупо, а если она думает из корысти — никакой корысти быть не могло.

Он представил себе ее наклоненную спину, красное, опухшее лицо, раскрытый чемодан... А! вот что — чемодан! Вот что было обидно. Кто он для нее? Надоело — повернулась и пошла! Нет, это простить нельзя, таких учить надо... Эх, глупо, не остался ночевать на заводе, утром легче было бы придумать, что делать.

Он вышел на темную вокзальную площадь, так и не решив куда теперь ехать. Мешечники лентой растянулись по направлению к Зацепе. Холодный воздух щипал ноздри, полозья извозчичьих санок с хрустом резали зернистый снег. Он пошел пешком по Кузнецкой улице. Перед каждым домом, вернувшиеся с работы, жильцы чистили под командой дворников снег с тротуаров. По сторонам улицы росли непроходимые горы, скрежетали скребки, шуршали метлы. Растрепанная, в сбившемся платке женщина уронила с лопаты глыбу снега на ноги Сивкова.

„Эх, глупо получилось! Ехать в гостиницу? Надо объяснять почему да зачем... Кум! — вспомнил он вдруг, — как это я сразу не догадался! И близко, и говорить много не надо.”

Он зашагал быстрее, обгоняя прохожих. Места были знакомые — на углу, где когда-то была пивная, открылась мелочная торговля, в тускло освещенных окнах лежали коробки, виден был угол прилавка. И дом, где он когда-то жил, не изменился — так же туго открывалась осевшая дверь, тот же неистребимый запах стоял на лестнице.

Николай Митрофанович долго, будто не узнавая, смотрел на него поверх очков.

— А-а, пришел! А я уж думал, знать не хочешь. Давно не был, может и не слышал какие у нас дела происходят. Ведь меня вышибли, знаешь? Нет? Ну, и хорошо, а то я думал, ты из-за этого не приходишь. И за что вышибли сам не знаю. Конечно, я немножко заленился, это я сознаю, на собрания не стал ходить. А что толку? Говорят и говорят. А так чтоб что-нибудь серьезное — ничего за мной нет. Я даже и не жалею, дела много и без того. Вот думаем с Симусей столовку открыть. Ну, ты чтож не садишься? Сейчас чай пить будем. Ну-ка, Симуся, собери нам закусить! А мы тут сидели, в дурачка играли, — он сгреб пухлой рукой карты: — Ну, а ты как? Елена Владимировна здорова? Нашли мальчишку? Плохо, какой ни на есть, а все жалко. Да может еще вернется... Ты что так смотришь? Ведь и правда давно не был, я третьего дня Симусе говорил — загордел наш Андрей Иванович...

На окнах висели крахмальные занавески, за ними топорщились растения в горшках, на стене веером раскинулись глянцевиные открытки.

— Все Симуся занимается, — сказал, заметив его взгляд, Николай Митрофанович: — Она у меня художница, вот и абажур сама, проволочки то я согнул, а остальное ее работа. Ты что такой сумный, или что случилось?

— Да нет, так, устал должно быть.

— Что-нибудь есть, уж я вижу! Сколько времени не был и вдруг пришел... Письма из дому получал? Как там моя супруга живет, не слышал? Ну вот и чай!

Сивков посмотрел на Симусю — только что она открыла дверь в чем то бесформенном, старом, а теперь была в голубенькой кофточке, и щеки порозовели, и нос припудрила.

— Ну, как, Симуся? Споем по старой памяти?

Она улыбнулась и испуганно сжала губы — наверху не хватало зуба.

— Можно и спеть, — сказала она, пришепывая: — Ну, как вы живете? Сынишка ваш приехал?

— Должен скоро приехать. Знаете как в деревне собираются...

— Вот и хорошо. Елене Владимировне веселей будет. Все тужит или забывать стала?

— Ей тужить некогда, — холодно ответил Сивков, — с утра до вечера по заседаниям.

— А толку что? — вызывающе заметила Симуся: — Другие хоть живут хорошо и про черный день запасают, а у нее и платья приличного нет. Или думаете спасибо кто-нибудь скажет? Только ругать будут, больше ничего.

— Это уж ты, Симуся, ни к селу ни к городу. Иди-ка ты к себе, а мы тут поговорим!

Но и без Симуси разговор не клеился.

— Вот так и живем, — скучливо вздохнул Николай Митрофанович: — Симуся подбивает столовку открыть, а я не знаю. Сейчас будто и разрешают, а там прихлопнут, да еще отберут все. Ты как скажешь?

— Эх, устал я, — сказал Сивков зевая и потягиваясь, — так бы вот свалился и заснул. Или мне у вас тут по старой памяти прилечь?

— Это за милую душу. Да ты не финти, говори прямо, я вижу что-то не так!

— Да нет, так повздорили немножко...

— С Еленой Владимировной? Ну, это такое... это со всеми бывает. А я уж испугался, думал переворот или что... Конечно, оставайся! Только ты это напрасно, поверь мне! Дело семейное, без этого нельзя. Симуся вон попроще, и то бывает... Я так считаю — не обращай внимания, будто ничего и не было!

— Да ведь обидно — такие слова говорит...

— Ну что ж слова, с горяча чего не скажешь... Мой совет — поезжай домой и нуль внимания!

— Уж я не знаю... Волю давать тоже не следует.

— Да ведь ты знал на ком женишься? Она не деревенская баба, она человек самостоятельный. А тебе все подай! Чтоб образованная была и чтоб слушалась! Ты

поговори по-хорошему, рассуди что и как... она тоже может мучается...

— Ну, видно будь по-твоему! — с облегченным вздохом сказал Сивков: — Еще не поздно, заеду за ней, она у профсоюзников доклад делает...

Мостовые были завалены снегом, извозчик еле двигался, переваливаясь с сугроба на сугроб. Но Сивков не сердился, на душе у него было легко, заботы отошли, он успокоился. „Все таки Николай Митрофанович хороший человек, подумал он, правильно посоветовал. Надо будет как-нибудь ему помочь!“ Перед ним выплыло Симусино скуластое лицо, которое когда-то ему нравилось, душная, тесная комната, открытки, занавески, карты на столе.

— Нет! — сказал он громко: — Мне надо кое-что побольше!

— Мало что надо, — не разобрав отозвался извозчик, — я и сам бы рад, да дорога видишь какая... Ну, теперь уж здесь, приехали.

Сивков весело выскочил из санок. Издали казалось, что перед домом стоит толпа, вблизи толпа рассыпалась на кучки, люди быстро расходились в разные стороны.

— Кончилось? — спросил он человека с портфелем, сбегавшего вниз по ступенькам.

Тот вскинул голову и, не отвечая, шмыгнул мимо. В подъезде толпа была гуще, все двигались в выходу, где-то сзади мелькнуло длинное лицо Любецкого.

— Фома Александрович! — крикнул Сивков, проталкиваясь через толпу: — Куда вы, подождите!

Любецкий скрылся за чьей-то широкой спиной, но Сивков уже заметил и догнал.

— Что это вы прячетесь? — спросил он, усмехаясь: — Где моя хозяйка, наверху?

Он всегда затруднялся как ее называть в разговорах с другими: Еленой — было почему то неловко, Еленой Владимировной — будто она ему чужая.

— А вы чего кричите? — недовольно пробормотал Любецкий: — Пустите, я спешу.

— Да что с вами такое? — воскликнул Сивков,

шутливо хватая его за рукав: — Вы какой-то чудной.

Любецкий осторожно и быстро оглянулся вокруг.

— Идите сюда! — пробормотал он, продвигаясь в темноту под лестницу: — Вы что, с неба свалились? Как же это вы допустили? Неужели ничего не заметили?

— Чего не заметил? — с усилием произнес Сивков, чувствуя как уходит из-под ног пол.

— А вы и не знаете? Скандал, настоящий скандал! Елена Владимировна, неподкупный человек... я за нее больше чем за самого себя мог поручиться!

— Да что с ней?! Где она?

— Ничего, с ней доктор...

— Больна? Да она утром была здорова, немного расстроена...

— Я так и сказал — нервное расстройство, больше никак не объяснишь! Но что она говорила! Вы себе представить не можете! Все ошибка, мы погубили революцию, все разваливается, все гибнет и напрасно мы закрываем глаза... об изменниках, о детях, которые ночуют в котлах... Минут пять говорила, пока председатель очнулся. Сидят, молчат — привычка не вслушиваться...

— Она просто рехнулась!

— Вот именно! Единственная правильная линия. Я вам советую, скажите, что она была расстроена, припомните всякие несообразности! Если-б другое время, а сейчас так опасно, используют все как и не ожидаешь... Слушайте, я пойду, а вы немного подождите! Понимаете, я против вас ничего не имею, но пока лучше не встречаться. Мое положение тоже рискованное, все знают, мы много лет были дружны...

Сивков вышел на улицу уничтоженный, раздавленный неожиданной катастрофой. На секунду мелькнула мысль не возвращаться домой, уехать, спрятаться. К Николаю Митрофановичу? В деревню? Стеша будет рада. Но какой смысл? Если будут искать — найдут

все равно, а жизнь будет разрушена, все пойдет насмарку.

На извозчике он сидел согнувшись, закусив руку, не в силах справиться с тревогой, решить что теперь делать. В подъезде он натолкнулся на знакомого.

— Ну, как все, как вы? — развязно, с самодовольной усмешкой спросил тот: — А я только что из командировки вернулся.

— Живем понемногу, — коротко ответил Сивков.

Лифтерша посмотрела на него с кокетливой улыбкой.

— Что это вы какие сурьезные, товарищ Сивков? Должно быть и не знаете какой вам будет сюрприз!

Он вошел в пустую квартиру, зажег в столовой свет и обвел взглядом знакомые, милые вещи. Приятно, успокаивающе шумела вода в радиаторе, поблескивали разноцветные стеклышки в дверцах шкафа. Ах, как он все устраивал, как радовался! Неужели пропал? Неужели конец?

Вдруг он вздрогнул и перестал дышать — рядом, в Диминой комнате скрипнула пружина. Плечи его опустились — так вот что она сказала „сюрприз“! И сегодня, именно сегодня!

Он почти задохнулся от охватившей его злобы. Сжимая кулаки он шагнул к двери. Из-за него, из-за этого щенка испорчена вся жизнь — схватить за шиворот, тряхнуть и выбросить за дверь!

Свет упал полосой на стул, на спинку кровати, мальчишеская голова на подушке двинулась и повернулась к стене. Несколько секунд Сивков стоял без движения, стук сердца отдавался у него в ушах. То, что он видел, еще не понимая, постепенно доходило до сознания — волосы на подушке были очень светлые, почти белые на полу рядышком стояли новые, еще не растоптанные, валенки, лежал аккуратно перевязанный бечевкой, деревенский мешок.

Сивков набрал полную грудь воздуха и стал растирать ее обеими руками.

В январе поползли слухи о выселении. Занесенные снегом усадьбы не шевелились, из труб столбами поднимался дым, среди высоких сугробов блестели следы полозьев. В сумерках от усадьбы к усадьбе катились сани — большие ковровые, с мягкими сидениями, маленькие без козел и простые, набитые соломой, розвальни.

— Вы слышали?

— Ерунда! Не первый раз...

— Все-таки надо что-то делать, нельзя же так... как овцы!

— А что вы будете делать? Деваться некуда — в Москву не пускают, квартиры дают только рабочим.

— Там сплошной ужас. Говорят, съели всех собак.

— И что им надо? Ведь все отняли...

— У Дмитриевских дом взяли под школу, оставили одну комнату.

— Иван Сергеевич сам предложил полдома под народный суд, думал обеспечить...

— Вот и обеспечил!

— Уж лучше как Султановы — сняли в деревне избу...

Недели две прошло без всяких событий.

— Может и обойдется. Дай-то Бог!

И вдруг, когда все уже стали переводить дыхание, почта принесла доказательство, что с ними не шутят. За пользование национальной собственностью с октября семнадцатого года на помещиков была наложена контрибуция. Настегивая вожжами худую донскую кобылу, в Ненашево прискакал Сычев.

— Получили? — крикнул он с порога: — Сколько с вас?

— Семнадцать миллионов, — безнадежно вздохнула Марья Михайловна: — Не всё ли равно? Ведь платить нечем.

— Да и смысла нет — заплатишь, через полгода потребуют вдвое. Мерзавцы!

Он просидел три часа, пил чай, ужинал, возмущался и повторял одно и то же.

Через неделю за неуплату контрибуции бывшие помещики были вызваны в суд.

— Я не поеду! — заявила Люба, глядя на мать злыми, потемневшими глазами: — Пускай арестуют, пускай делают что хотят!

Она была уверена, что мать будет убеждать и сердиться, но Марья Михайловна только закрыла глаза и покачала головой.

— Ах, всё равно! Какое это имеет значение?

Деревня волновалась. Осторожно поглядывали в сторону усадьбы, притворно вздыхали и жалели. Передавали, что на суде было много крику, судья грозил сослать всех господ в Сибирь, спрашивал, где они зарыли деньги. В сумерках, прячась друг от друга, старались незаметно пробраться на барский двор, выдумывали предлоги — отдать должок, предложить квартиру, если, не дай Бог, и правда выгонят, схоронить что поценней.

— Ночью перевезем, никто и не увидит. А когда нужно — все ваше, мне чужого добра не надо.

Потом приступали к делу.

— А вот у вас доски в сарае сложены, не этим же иродам доставаться! Я не даром... я заплачу... Хоть что-нибудь, лучше чем так отдавать!

— Швейную машинку с собой возьмете? Я б рублика три дал.

— А вот у вас сепаратор, вам то уж вроде и ни к чему.

Ничего не получив, мужики уходили недовольные, иные ругались.

— Ишь, жадность какая! Уж самим-то и не надо, нет! не доставайся никому! Ведь я не так, я деньги давал...

Груша, румяная от волнения, почти не спала. По ночам ее мать и брат-подросток тащили задами мешки с добычей.

— Повезло девке, — завидовали соседи, — счастье привалило, теперь за хорошего человека выйдет . . .

Федосья Колычева, забыв про больного мужа, вертелась в усадьбе с утра до ночи, охотно и ловко помогала тому и другому, топила вместо Груши печь, доила корову. Шепотом, быстрым говорком, предупреждала, чтоб не доверяли мужикам — обманут, возьмут схоронить и не вернут. А если нужно, она так сделает, что никто и не узнает.

Марья Михайловна дала ей для Ивана Михайловича банку засахаренного варения. Федосья варение взяла, а потом сказала, что есть уж он не может, лежит вроде как без памяти.

— А очнется, бознать что говорит ! Намедни я печку топлю и не чую, он на меня глядит. „А помнишь, говорит, Феня, мы ухватом мерялись?“ Чего вспомнул! Это вскоре как мы повенчались, стояла я так-то вот с ухватом, а он обнял меня да давай мерять кто больше. Он и смолоду росточком не вышел. А то вдруг Наташу вспомнил. „Ты, говорит, ее не обижай и ребятам не вели обижать“. Уж мы ей письмо послали, чтоб ехала, отец, мол, помирать собрался. Плохо мне без него будет, какой ни на есть мужик, а всё таки . . . Да и то сказать, хворый-то он уж и не помощь ! Иной раз на ребят пожалуешься, что ленятся, мол, о хозяйстве не стараются, а он только рукой махнет. Скорей всего скоро помрет, внутренность у него больная, ничего не ест, ни маковой росинки. Уж я ему и лапши молочной давала, даром что пост, и творожку. Ложечку чайную скушает и будет. А надясь вздумалось ему капустки квашеной, слазила я в погребницу, а он и смотреть не стал. Плох, совсем плох !

Она уходила, когда все уже ложились спать, уносила с собой выпрошенные вещи — эмалированную кастрюлю, негодную для русской печки, старую пуховую подушку, золоченую раму без картины. Ей хотелось всё это кому-нибудь показать, похвастать удачей, но она знала, что соседи будут завидовать, скажут она украла,

а сыновья и невестка возьмут себе. Иван Михайлович смотрел на вещи равнодушно. Он лежал на печке, скорчившись, выгнув спину колесом, длинные седые волосы мешались с серым мехом тулупа. Вставал он только за нуждой, хватаясь слабыми исхудалыми руками за кирпичи.

Еще летом он добирался с палочкой на сходку, садился где-нибудь в сторонке. Теперь вместо него ходил Николай. Когда спрашивали об отце, он снисходительно пожимал плечами.

— Что ж, понимаете — старичек, такое его дело...

Николай жил с женой в другой половине, харчился отдельно, хозяйством не занимался, варил из патоки липкие конфеты и продавал на базаре. Максимка дома только обедал и спал, в избе было тихо и скучно. Иногда по утрам Иван Михайлович чувствовал себя лучше, возвращался к действительности, слышал ворчливый голос жены.

— Валенки прохудились, волна третий год лежит, некому за вальщиками сходить... Дверка в закуте с петли сорвалась, что ж я и буду век подпирать? Мужиков полон дом, а я все сама да сама... Николай вон опять куда-то мерина погнал... Ему что? Я и скотину корми, я и за водой... Максимку с собаками не поймаешь, ничего не слушает, все супротив наровит...

— Уж вы как-нибудь без меня управляйтесь — медленно выговаривал Иван Михайлович, — я от этих делов отошел.

— Невестка-то вовсе не уважает, что ни вздумает без успросу берет.

— А ты не обижайся, много ли им надо...

Он не мог объяснить ей, что все это неважно, как и раньше не умел умерить ее желания быть не хуже людей. Но она его не раздражала, он видел ее не старой, тощей бабой, совавшей нос в чужие дела, как видели другие, для него она была молоденькой девченкой, оставившейся в ясное июньское утро на пореги избы с

поджатой ногой, как птичка готовая улететь, он видел ее возвращавшейся из церкви в длинной, светлой юбке с маленьким Николкой на руках, он видел ее через всю жизнь — в поле, в риге, на деревянном помосте, служившем им кроватью — всегда в движении, с быстрой улыбкой, с острым словом и только редко, от большой обиды, со слезами.

Сыновья и невестка не обращали на него внимания, входили и выходили, будто его уже не было. Иногда Максим, набравшись храбрости, ругался с Николаем, требовал свою долю. Иван Михайлович слушал равнодушно, будто это его не касалось. Прожив всю жизнь в заботах о завтрашнем дне, он вдруг потерял интерес ко всему, что им казалось важным.

— Тебе хорошо, — жаловалась Федосья, — помрешь и всё тут, а мне одной жить придется . . .

Он закрывал глаза и видел перед собой Наташу, слышал ее тревожный, взволнованный голос : „ Папанечка, ты приезжай, мы с тобой жить будем, я одного тебя люблю . . . ”. Теплые слезы катились по его лицу, он плакал от счастья и оттого, что этого никогда не будет.

43.

Утром был мороз, бледный месяц долго стоял на небе, хрустел под ногами тонкий ледок. Потом пригрело, закапало с крыш, от кухни вниз к плотине потекли ручьи, на припеке около дома и у сарая вокруг парников открылась черная, в мокрых прошлогодних листьях, земля. На подсохшей крыше балкона топтались, ворковали и пыжились голуби; громко кудахтали куры; неизвестно на кого лаял Барсик, яростно раскидывая солому задними ногами.

— Опять не кормила ! — крикнула Люба, распахивая кухонную дверь : — Приготовь, я отнесу !

— Вы б ноги то обтерли, глядите какая лужа ! —

проворчала Груша : — Как так не кормила, все помои ему отдала . . .

— Ты что думаешь, он одной водой будет сыт ?

Не обращая внимания на протесты Люба отхватила огромный ломоть хлеба и понесла собаке. Барсик выхватил хлеб, полез в будку, но через минуту выскочил опять и хрипя, давясь, захлебываясь остервенелым лаем, стал рваться, гремя цепью.

— Ты что, дурак ? — Люба потрепала лохматую, круглую голову : — Чего ты, никого нет !

Среди дня во дворе появилась кучка людей. Впереди шел высокий человек в кожаной куртке и блестящих сапогах, за ним молоденький, хорошенький мальчишка с выпущенными на лоб кудрями. Он с любопытством поглядывал по сторонам и улыбался. Свои деревенские немного отстали, они шли неуверенно, сбившись в кучу, толкались, старались спрятаться друг за друга.

Стоя за воротами сарая Люба видела, как они один за другим вошли в кухню. Несколько минут было очень тихо, потом громко хлопнула дверь, без стеснения, уверенно заговорили голоса. Что-то там двигали, тащили шурша по полу тяжелую мебель, ругались, натываясь на стены. То и дело распахивалась кухонная дверь, многоголосый шум вырывался наружу, кто-нибудь пробежал по двору, на-ходу объяснял что-то подходившим с плотины любопытным. Одни, поскромней, останавливались кучками у балкона, другие смело шли в дом, будто двери были открыты для всех и никто не имел права их остановить.

Начало смеркаться, побледнело, стало еще выше и прозрачней весеннее небо, перестало капать с крыш. Барсик, охрипший от лая, залез в будку и лежал там тихо повизгивая. Из дома вывалилась толпа, взволновано переговариваясь двинулась вниз к деревне.

Двор опустел. Скользя и размахивая руками Люба кинулась к дому. В кухне ничего не изменилось. Гремя заслонкой Груша спокойно возилась у печки. Коридор стал шире, там, где был шкаф, осталась кучка сора.

По дому ходил ветерок, двери холодных комнат были открыты, только на той, что вела в залу, висел большой замок.

На другой день двор наполнился подводами. Привязанные лошади жевали сено, мужики стояли по два, по три, качали головами, посматривали на отливавшие мутным блеском окна. С парадного крыльца начали выносить мебель. Люба схватила куртку и выбежала через кухню в сад. Целиком, не разбирая она шагала по серому хрупкому снегу, по скользкой, оттаявшей сверху, земле, ступала в холодные лужи. Свежий ветер бил в лицо, трепал волосы; по хмурому небу неслись рваные, темные тучи.

Она шла не глядя по сторонам, ничего не замечая, иногда вдруг без всякой причины прибавляя шаг. Перебираясь через овраг она поскользнулась и провалилась в глубокий, режущий как разбитое стекло, снег. Под снегом была вода, вода залилась в сапоги, пропитала подол ее юбки. Пришлось повернуть домой. Итти было трудно — тянуло вниз, ноги были как связанные, щипало расцарапанное колено.

Осторожно обойдя вокруг сарая она заглянула во двор; на изрезанном, размешанном полозьями снегу валялись пучки соломы, у балкона стоял письменный стол с выдвинутыми ящиками. Она медленно двинулась к дому и вдруг, уже посередине двора, заметила стоявших у амбара людей. Возвращаться назад было поздно — они смотрели на нее и улыбались.

— Ну-ка, гражданочка, пойдите сюда!

Она сделала вид, что не слышит, и пошла быстрее. Но они двинулись наперерез и загородили ей дорогу.

— Как насчет краски? — сказал ухмыляясь человек в кожаной куртке: — вчера была — сегодня нет.

— Какой краски? — спросила она растерянно.

— Сами знаете, в амбаре стояла, медянка. Собака у самой двери, чужих не пропустит.

Несколько секунд она смотрела ничего не понимая. Выпуклые, мутноватые глаза бегали по ее лицу. Она

откинула голову и сделала шаг вперед. Они схватили ее с двух сторон за руки.

— Если б я заранее знал, что тут такая особочка, можно было приятно время провести...

Их лица придвинулись совсем близко, выросли как под микроскопом до гигантских размеров, закрыли дом и небо. У старшего не хватало передних зубов, в бледных деснах был ряд дырочек, шрам на левом виске сдвинул веко, глаз был наполовину закрыт. Лицо мальчишки было в крупных порах, из припухших, в трещинках губ шло неприятное дыхание.

— Как вы смеете! — крикнула она, стараясь вырвать руки.

— Ну-ну, не брыкайтесь! Миром лучше... Нам и не такие в ноги кланялись. Сейчас протокол составим, а вы подпишите!

— Какой протокол? — спросила она испуганно, чувствуя что ее запутывают в темное дело.

— Скажете, что была, а теперь пропала.

Ей вдруг стало жарко, страх и осторожность исчезли, ей показалось, что она летит по воздуху.

— Мерзавцы! — крикнула она звонко: — Воры!

Она, старалась вспомнить самые ужасные, оскорбительные слова, но все они исчезли, оставалось только плюнуть им в рожи.

Во рту пересохло, она втянула щеки, чтоб собрать слюну, но кто то положил ей руку на плечо.

— Что тут собственно делается? — спросил неизвестно откуда взявшийся Сережа.

44.

Весь день прошел в разговорах, и все-таки к вечеру ничего не было решено. Сережа бледный, небритый, измученный бессонной ночью, непонятным упорством матери

и легкомыслием Любы, шагал по комнате, стараясь придумать, как выйти из этой тяжелой неопределенности. Он не был в Ненашеве с Рождества и теперь никак не мог привыкнуть к происшедшей с матерью перемене. В три месяца она состарилась на десять лет — лицо ее опухло, щеки опустились, брови были высоко подняты, с лица не сходило выражение горестного изумления. Говорить с ней было невозможно, слова до нее не доходили, она думала о своем и ничего не слышала.

— Ну, мама, чего ты все таки хочешь? — спрашивал он хриплым от усталости голосом: — Ведь завтра надо уезжать, откладывать больше нельзя.

— Ах, это неважно, — пробормотала она, махнув рукой: — Я просто не понимаю, как вы могли ничего не сделать, бросить мальчика на произвол судьбы! Ведь у Елены связи. Неужели нельзя через газеты или еще как-нибудь...

— Мама, мы поговорим об этом потом. Сейчас надо устроить тебя и Любу.

— Делайте что хотите, мне совершенно все равно.

— Значит ты согласна ехать в Москву?

— Никуда я не поеду, поезжайте без меня.

— То есть как не поедешь? Здесь оставаться нельзя.

Она потрясла головой и заплакала сильнее. При свете стоявшей на полу лампы красные круги вокруг ее глаз казались черными, ноги в стоптанных ночных туфлях не доходили до полу, слезы ручейками стекали по подбородку на грудь. Она их не замечала, лицо ее одеревенело.

— Димочка вернется, — она запнулась и громко всхлинула, — придет сюда... никого нет...

Сереза зашагал быстрее.

— Все это надо было ожидать, — сказал он, сдерживая досаду: — если б вы послушали раньше...

— Ах, разве это важно! Ты думаешь мне чего-нибудь жалко? Пусть берут все! Только обидно... И папа, и я — мы всегда старались помочь, делали все, что

могли, а теперь... Я прошу оставить кровати... только на два дня... Неужели мы возьмем их с собой?

— Неважно, у тебя есть, а мы можем на полу.

— Да не только это, ты бы посмотрел как они тащили все что попало, сначала стеснялись, а потом стали хватать, суют в карманы...

— Перестань об этом думать! Как только переедешь, вес будет казаться по другому. Вам надо сейчас же начать хлопотать о заграничном паспорте. Кто знает, может выпустят. Еще в прошлом году было легче...

Люба вдруг вскинула голову. Она сидела на полу, обхватив колени руками и не слушала. Все, что говорил Сережа, не имело никакого смысла, весь мир кроме Ненашева был пустыней, но думать о какой-то загранице — этого перенести она не могла!

— Можешь ехать сам! Я никуда не поеду! Почему ты все о нас?

— Потому что меня не выпустят. Вы обо мне не беспокойтесь, если я буду уверен, что вы там, я как-нибудь выберусь. Говорят, многие бегут через Кавказ...

— Ну и беги! А я не хочу. Что я там буду делать?

— А что ты будешь делать здесь? Служить в комиссариате?

— Нигде я служить не буду!

— Заставят, пошлют на принудительные работы. Нельзя быть таким ребенком, Люба!

— Ах, ты не понимаешь! Там все ненастоящее, — прошептала она опустив голову в колени, — как пахнет, и земля, деревья...

— Такое же настоящее как здесь, просто надо привыкнуть

Люба вскочила и, хлопнув дверью, выбежала из комнаты. Мать сидела неподвижно, с удивлением смотрела себе в колени.

— Мама, ты не волнуйся, все устроится. И комнату тебе найдем, мне дьякон обещал, он даже рад, боится кого-нибудь вселят. Может даже все к лучшему, в Москве будет легче. Пусть там холод и голод, с этим можно

справиться, зато кругом люди, и театр, и книги... Я никогда не мог понять, как вы можете здесь жить!

Он остановился, посмотрел на ее жалкую седую голову и протянул руку.

— Уйди! — крикнула она резко : — Не трогай!

Разве он мог понять, как она несчастна, как ее пугает завтрашний день, толпа, набитые людьми поезда, грубые голоса. Жить с ним в одной комнате, не иметь своего угла, сознавать, что ты мешаешь... Утешает театром, разве это ей нужно? Но ей уже стало стыдно.

— Я так устала, так устала, — прошептала она, — будто я вся избита, вся в синяках, нет живого места. Я просто больше не могу. И за что? Чем мы виноваты? А еще летом казалось все устроилось. Люба успокоилась и Димочка приехал. Я все думаю и думаю, как это я не сумела к нему подойти? Неужели нельзя было найти слов, понять, что его мучает... Ведь он как улитка — зажметесь и не откроешь... Или это там, в Москве? Что он за человек этот Ленин муж? Как она могла!

— Ты лучше ложись и постарайся заснуть. Я пойду посмотрю где Люба.

Пустой, ободранный дом был полон шорохов, потрескивали стены, суетливо пробегали спугнутые крысы. В кухне было темно, через щели дощатой перегородки проходил слабый свет, падал на голые полки, на связанные бичевкой ухваты.

— Люба, ты здесь? — окликнул он, толкая дверь.

— Должно вышли, — ответил Грушин голос.

Комната была полна баб, они сидели на кровати, на табуретках, на сложенных в углу узлах.

— Здравствуйте, Сергей Владимирович, здравствуйте! — заговорили певучие голоса : — За мамашей приехали? Плохо вам, плохо, что и говорить... Да ничего, Бог даст как-нибудь справитесь, вы образованные, не нам чета!

Он пробормотал что-то неразборчивое и вышел. С поля дул пахучий сырой ветер, где-то капала вода, в

конце деревни жалобно и пронзительно таявал привязанный шенок. Над безлюдным двором, над деревней, над темными полями сияло глубокое, облитое холодным блеском, небо. Он пошел наугад к сараю.

— Люба, — оклинул он, — ты здесь? Что ты делаешь?

— Ничего.

Он подошел, похрустывая снегом, и взял ее за руку.

— Ну, идем, чего ты стоишь?

— Я думаю. Это просто не может быть. Что-нибудь должно случиться и все будет как раньше...

— Забудь и пойми, что это кончено, надо начинать что-то другое! Ты только себя мучаешь. Я знаю, ты все это любила...

— Любила! — крикнула она с негодованием: — Это не любила, это гораздо больше, это часть меня, это я сама. В Москве я умру! Ты представляешь, что здесь, — она топнула ногой, — будет кто-то ходить, какиенибудь типы вроде косоглазого влезут в дом, все изгадят, запачкают... Нет, я знаю! Я поеду в Москву, немного подожду, потом вернусь, слезу на другой станции, дойду до Ненашева пешком, ночью, чтоб никто не увидел, и подожгу дом. Чтоб никому не доставался! Чтоб никто не смел здесь жить!

— Глупости, Люба, глупости! Что ж ты хочешь, чтоб тебя расстреляли? Да и меня тоже.

— Я сделаю так, что никто не узнает, — сказала она не совсем уверенно.

— Ненавистью ничего не достигнешь, только отравишь себя.

— А я ненавижу! — перебила она страстно: — Зачем притворяться? И дом сожгу, вот увидишь!

Она повернула голову к пустой собачьей будке.

— Лучше бы я их убила — и Барсика и корову, все равно их заморят! Я говорю этому дураку, кузнецу, что собак надо кормить, а он смеется, меньше, говорит, кормить, злей будут. Я ему муки дала, все равно он кормить

не будет! А корова плакала. Не веришь? Плакала настоящими слезами, как человек!

— Слушай, Люба! Я не хотел при маме говорить... Дело в том, что с Леной что-то случилось.

— Мне совершенно все равно, что с ней случилось. Я даже не понимаю, зачем ты ходил. После того как она не могла ничего сделать для Льва Александровича...

— Лев Александрович другое, она его не знала, он чужой человек... Мама меня просила, в конце концов не так уж трудно. Там что-то непонятное. На службе сказали, ее нет и неизвестно когда будет. Больна? Они не знают. А главное какой-то странный тон — не смотрят в глаза, стараются отделаться. Я пошел на квартиру... Знаешь этот новый дом в Леонтьевском? Открывает какая-то женщина, должно быть прислуга. Спрашиваю Елена Владимировна дома? Она жметса, не отвечает. Я уж думал не туда попал или переехали, и вдруг выходит Сивков, спрашивает по какому делу? Как будто не узнал. Я только раз его видел, когда он насчет Димы приходил. Я говорю, я хочу видеть сестру. Уехала и долго не вернется. Спрашиваю куда? Он молчит. Потом буркнул что-то странное, вроде чем меньше разговору тем лучше, вы меня не знаете и я вас не знаю. И эта женщина, она его почему-то на ты, называет Андреем...

— Просто они разошлись.

— Нет, это что-то другое! Что-нибудь случилось. Ну, идем, надо спать!

Услыхав шаги, бабы за перегородкой заговорили громкими, фальшивыми голосами.

— Ну как же не убиваться, добра то сколько, копили, собирали и все прахом пошло... Кому хошь доведись, неужто ж лёгко?

Они помолчали, прислушались и, убедившись что дверь в комнаты закрылась, заговорили опять.

— Все-таки неправильно сделали, не так надо было!

— Разделили бы поровну, вот и хорошо бы, и никому не обидно.

— А то что он принес, мой то, совсем ни к чему, аппарат называется, вертел, вертел — ничего не выходит, лихоманка ее знает что такое... Так и отдал ребяташкам играть!

— На жребий бы или как...

— Кто посмелей всегда захватит.

— Да и то сказать, бабы, на чужом добре не разживься!

— Бросать тоже жалко — не мы так другие!

— Наши мужики и не ворочались, косоглазый в город погнал, что получше отобрал, велел к себе на квартиру везть. А дорога знаешь какая, не приведи Бог! Ну, видно итти надо, у меня хлеба.

Груша проводила их до сеней.

— Прощай, девка! Ты тепер с приданым...

— Постели то с собой возьмут или тебе оставят?

Они поохали, повздохали и, отыскав в темноте свои палочки, пошли вниз к плотине, осторожно щупая дорогу. Во всей деревне погасли огни, только у Колычевых горела низко прикрученная лампочка — Иван Михайлович вторые сутки лежал без сознания.

Огромная, медно-красная, похожая на солнце, луна осветила через незанавешенные окна пустые комнаты дома, лежавших на полу Сережу и Любу, блеснула на металлических шариках кровати в спальне рядом. Марья Михайловна подвинула голову, сморщила губы и застонала. Она ехала с детьми в телеге по саду вымощенному кирпичами. Лена сидела впереди и держала вожжи. Колеса катились по самому краю, дальше был обрыв, пропасть. Осторожней, — умоляла она Лену, — пожалуйста, осторожней! Но Лена не слушала и погоняла. Телега тряслась, переднее колесо качалось и соскальзывало. Еще можно было повернуть и удержаться, но телега вдруг наклонилась и стала падать. С сознанием конца Марья Михайловна полетела вниз, в пропасть. Рядом с ней упало неподвижное тело Лены: Всегда,

всю жизнь, — думала она, разглядывая покрытые синяками ноги дочери, — никогда не хотела слушать, все по-своему . . .

45.

Ивана Михайловича похоронили в субботу. В воскресенье утром Федосья, в черном полушалке и сама вся почерневшая и ссохшаяся, пошла в церковь. Николай повез женину родню на станцию.

С поля дул холодный ветер, шумел верхушками голых ветел, носил по улице сухие прошлогодние листья. На тускло-сером небе выступили неясные очертания облаков, сначала мутно-белые, они постепенно пронизывались светом, теплели, розовели. Там и здесь протерлись голубые пятна, стали шириться, слились и скоро на шарокой синеве осталось только несколько маленьких тучек, быстро уплывавших к горизонту.

В десятом часу в деревне появились незнакомые женщины. Шли они краем дороги, под самыми окнами, старались ступать на подмерзший за ночь снег. Передняя, высокая, в черной кожаной куртке, с жетоном на груди, шагала широко и твердо, вторая отставала и рысью догоняла подругу. Шла она враскачку, выпятив живот, в одной руке держала узелок, другой прижимала к боку набитую сумку.

К окнам приваливались головы, хлопали двери, растрепанные девченки в грязных платьях, с бледными, выцветшими за зиму лицами, выскакивали на крылечки и, разинув рот, смотрели на прохожих.

— О-ох, матушки, да чьи же это ?

— Передний то, никак, мужик, на ем картуз !

— Дура, юбку не видишь ?

— А медаль то на ем прицеплена !

Когда они поровнялись с Палочкиными, Арина, стояв-

шая на крыльце и давно уже разгядывавшая их из-под руки, громко плюнула.

— Фу-ты, пропасть ! Я гляжу чьи такие, чьи такие, а это наши девки ! Ох, Наташа, — переменяла она голос на жалобный и тонкий : — что же это ты к папаньке опоздала ? Без тебя похоронили вчерашний день . . .

Наташа поскользнулась, раскинула руки, но удержалась на ногах и, выпрямившись, подняла к старухе покрасневшее лицо.

— Телеграмма опоздала, только вчера принесли.

— Схоронили, схоронили . . . Они уж и не думали ты приедешь. Мать больно убивалась, выла, выла . . . Плохо ей теперь будет, оно хоть Иван и смирный был, а все она хозяйка . . . — Арина нагнулась через перила и шмыгнула кругом зелеными глазами, — Танька то не приведи Бог какая самолюбка ! Все по-своему, все по-своему нарочит, никого не уважает . . . А Нюшку то и не узнаешь ! — громко на всю улицу сказала она распрямляясь и с жадным любопытством разглядывая кургузую Нюшкину фигуру : — Видно хорошо вам живется, девки !

— Неужли ж плохо ! — бойко отрезала Нюшка : — Дура я была сколько годов здесь мучилась !

Через полчаса новость облетела всю деревню. Наперебой сообщали друг другу, что Нюшка пришла тяжелой, а сама так в глаза и глядит, и говорит резко, никого не боится. И одёжа на ней вся новая, хорошая, в руках сумка чисто у барыни. А Наташка Колычева косу обстригла и картуз на ней мужичий. Кто-то даже сказал, что она в штанах.

Около Колычевых толпился народ, передние заглядывали в окна, передавали задним, что тетка Федосья плачет, а Наташка хоть бы слезинку уронила, сидит как каменная. Под пиджаком у нее гимнастерка как на солдате.

Посидев с матерью, Наташа взяла картуз и пошла к двери. Народ отхлынул. Не глядя по сторонам, она спро-

сила ребяташек, где стоит на квартире приехавший из города секретарь. Ребята проводили ее на выселки. И опять под окнами толпился народ, приваливались к запотевшим стеклам, громко дышали и шептались.

Около Такуновых народу было еще больше, вновь пришедшим рассказывали какие подарки привезла Нюшка — сестре калоши, ясные, так и горят, Петре табаку полфунта, хлебов французских два, селедок... Передавали, что Катерина стала было Нюшку ругать, что она тяжелая. „ Дура, говорит, ты дура ! Да кто же это тебе исделал ? ” А Нюшка хоть бы глазом моргнула. „ Кто, говорит, ни сделал тому спасибо ! ” „ Да тебя с должности погонят, куда ты денешься ! ” „ Прошли, говорит, те времена, когда гоняли. У нас теперь ясли, сколько хочешь рожай, всех воспитают и не глядят — законный или нет. Будет у меня малый, а больше мне ничего и не надо. Я б, говорит, кабы захотела, могла б расписаться, да на кой он мне нужен, мужик то ? А ребятенка я и сама прокормлю ! ”

Под вечер председатель сельсовета обошел деревню.

— Бабий митин, — говорил он, останавливаясь у порога, — как уберетесь, всем велено на барский двор итти !

Бабы испуганно переглядывались, мужики ругались.

В сумерках опустевшая усадьба смотрела печально и угрожающе. На пруду плавал круг нерастаявшего льда, с бугров бежали ручейки, урчали, пробуя голоса, лягушки.

Собирались медленно. Первые пришли Содатовы девки, Ганька и Донька. Прежде чем войти в дом они крадучись обошли все постройки, заглянули в пустые закуты, нашли на гвозде в сарае никем не замеченный ременный кнут и спрятали его в собачьей будке, прикрыв сверху клочьями желтой шерсти. Минут через десять прибежала Анисья, сделала вид, что пришла за дочерьми, даже выругала их для приличия, но девки не послушались и она осталась с ними.

В пустой зале кто-то расставил сборные скамейки.

Палочкины — Арина и Настя — чинные, важные, в новых шубах, сели впереди. Рядом поместилась Нюшка с сумкой на коленях. В печке потрескивали дрова, но было еще очень холодно, Анисьины девки вскакивали и приплясывали, чтобы согреться.

— Чего вы, дуры, — одергивала их мать; — нешто можно? Где вы?

Устав ждать, они пошли бродить по комнатам, но скоро с визгом, толкая друг друга, прибежали обратно. Бабы приходили по две, по три, робко оглядывались, не решаясь сесть. Кто-то пустил по деревне слух, что на собрании будут давать ситец, и даже старуха Левашкина не выдержала, пришла последняя, села у входа. В углу у рояля хихикали девки.

— Под его плясать хорошо.

— Тяжелый, вот и оставили, сказали как дорога станет — возьмут себе.

Кто-то поднял скользкую круглую крышку и тронул клавишу.

— Ну ее, не тревожьте! — крикнули из залы.

У окна Наташа Колычева разговаривала с секретарем, недавно присланным в район и жившим у родных в Ненашеве. Бабы переглядывались и усмехались.

— Нехороша то стала, страсть!

— Накой она косу обстригла?

— Вот и будет сидеть в девках, кто ее такую возьмет?

До нее доходили только ехидные бабьи голоса, слов разобрать она не могла, но старое, знакомое ощущение окружающей неприязни охватывало ее кольцом. За что они ее ненавидели? За то что читала книжки? Не ходила на улицу? Отказывала женихам? Или теперь за то, что обстригла косу?

Длинноносый паренек разглядывал исподлобья ее крепкое синеглазое лицо, видел, что она волнуется и не знал как ей помочь.

— Да ты не бойся, — сказал он добродушно, — бабы, чего они понимают!

— Я и не боюсь! — ответила она, тряхнув головой: — Только вроде неловко. В городе я привыкла, там мне нипочем!

Он видел, что она врет — ее лицо было залито румянцем до самых ушей.

— Ладно! — сказала она решительно: — Я знаю, чего я им сперва расскажу! — и, повернувшись лицом к зале, шагнула вперед.

— Ну, значит такое дело, — начала она с напускной развязностью: — хотите знать как я в Москву приехала? Привел меня дядя Семен в контору фабричную, поговорил с главным конторщиком и записали меня на станки учиться. Записать — записали, а никто учить не берется, иду я по корпусу и такая мне обида, чуть не плачу, но все-таки не сдаюсь. Нет, думаю себе, назад в деревню не поеду! Навстречу мне вижу идет председатель фабкома, я к нему. Он обо всем расспросил и устроил мне учительницу, Ксюшу. Училась я мало, к хорошей ткачихе попала. На третьей неделе она и говорит старшему мастеру: девочка старается, ставь ее на станок. Я пошла сдавать пробу и поставили меня на станок, а вскоре я сама на двух стала работать — рядом пустой стоял. Ну, они видят я взялась как следует, стали меня втягивать в общественную работу. Сперва я боялась, потом ничего. Я работала в культпросвете, была делегаткой в цехе, проводила собрания с бабами. За эту общественную нагрузку дали мне премию — 20 рублей. Я была тоже заседателем в народном суде. Зарабатываю теперь рублей семьдесят — на все хватает...

Солдатовы девки подошли ближе, Агафья Левашкина отодвинула платок и приложила ладонь к уху.

— Я вам, бабы, так скажу, — уже уверенней продолжала Наташа, — кто работает и кто немного посмелей в настоящее время выбиться можно! Что ж так жить в темноте да в бедности? Уж я довольно насмотрелась, хоть и в городе а тоже самое, плохо женщинам приходится. Пока одна — не беда, а выйдет замуж — горе! Редко, редко какой мужик о семье думает, все больше

пьют да безобразничают. И свое пропьет и, что жена зарабатывает, все отымет. А дети, что есть, что нет, для них все одно. Ну, теперь уж кое-кто понимать начал, стали женщины посамостоятельней, у нас на фабрике ячейка завелась „Охрана материнства”. Сперва никто не решался жаловаться, а потом одна женщина приходит, так и так, говорит, если можете — помогите ! Муж у нее все деньги забрал, да еще избил, вся в синяках. Ну, председатель говорит, надо тебя устроить ! Позвала ее одна женщина к себе жить, а то она на вокзале ночевала. А как отстроили казармы, ей с детьми комнату дали, только чтоб мужа к себе не пускала.

В зале засмеялись. Старуха Палочкина поджала губы.
— Конечно, силой не заставишь, но я думаю пора вам о себе подумать. Школы у вас нет, ребяташки в мороз четыре версты снег месят. Женотдела нет, консультации нет. Вы что на мужиков надеетесь, что ли ? На них надежда плохая, им была бы только водка. Что ж говорить, что спокон веку так было . . . Было да прошло ! Или вам не надоело, что вас за виски таскают, из сундуков последнее добро пропивают, девок портят ? А захотела развод, иди на все четыре стороны в одной юбке, да еще спасибо скажи ! Теперь закон новый, теперь что бабы, что девки имеют на имущество полное право наравне с мужиками. Уходишь из хозяйства — получи свою долю ! Каждая по отдельности не справится, а вместе можно настоять. Вот я и говорю, давайте организуем женотдел ! И советская власть поможет . . .

— Ну уж это ни к чему ! — громко произнес чей-то голос : — Даже слушать совестно !

— А жизнь губить не совестно ? Так и будете терпеть — у одной косы вырваны, у другой шишки на голове от побоев . . . Почему ? Какое они имеют право ?

— Это даже люди осудят !

Скрипнула дверь, все головы повернулись назад.

— Выдают ? — вскрикнула задремавшая было баба.

Кругом засмеялись. Старуха, выходявшая зачем-то из залы, подошла к Агафье Левашкиной.

— Как есть все облазила, все закоулочки, — сыпала она скороговоркой, — ничегошеньки нет, скорей всего обманули . . .

— Простой народ завсегда обманывают, — громко сказала Агафья и встала.

Стали подниматься и другие.

46.

В конторе с усыпляющим однообразием стучал телеграф; в густом, тяжелом воздухе волнами плавал махорочный дым; двери в зал первого класса и в уборную были распахнуты настежь; скамейки, столы, подоконники — все было облеплено людьми как насекомыми. Даже немытый с восемнадцатого года пол был покрыт лежащими и сидящими телами.

Иногда кто-нибудь начинал возиться, беспокойно ощупывал свои пожитки и, ступая на ноги и на руки, пробирался на платформу посмотреть ни шумит ли поезд. За весь день прополз на юг один перегруженный людьми товарный, да, не останавливаясь, пролетел в Москву пышущий огнями, короткий состав.

Буфетчик второй раз развел щепками стоявший на возвышении, огромный самовар; запахло керосином и дымом. С тягучим скрипом открылась задняя дверь, вошел мужик с кнутом и баба, тащившая два мешка. Остановившись на пороге, они несколько минут дико озирались, отыскивая свободное место, потом решительно двинулись в угол, где был отгорожен иконостас. Баба перекинула мешки через решетку и перекрестилась.

Марья Михайловна сидела на деревянной скамье, зажатая с двух сторон, держала в одной руке полученную утром почту, другой прижимала к груди сумку с документами. Время от времени она начинала дремать, но, вздрогнув, просыпалась и со страхом смотрела на часы,

висевшие над окошком кассы. Стрелки стояли по-прежнему на половине двенадцатого. Где были дети, куда они девались? Давно должны были вернуться... Зачем им надо было опять бежать в Ненашево? Все Люба... что она могла забыть? Просто, чтоб не сидеть спокойно на месте!

В ушах, не смешиваясь с пустыми звуками станции, продолжали неотвязно раздаваться голоса, обрывки фраз, не имевшие смысла, отдельные слова. Перебивая друг друга в чем-то уверяли Ненашевские бабы, „не хочу отвязать“, — неизвестно к нему говорила Люба, „поднимите выше!“ — кричал Сережа.

Сидевшая рядом баба икнула и обдала Марью Михайловну крепким духом переваренного лука.

— Солнышко садится, — сказала она спокойно: — Уж скотину, поди, убрали. Видно, до утра посидим, а то и домой поедем, что ж так попусту ждать...

У нее был дом, она могла туда вернуться. А что они будут делать, если поезд никогда не придет?

Сосед слева задремал и повалился Марье Михайловне на плечо. Она осторожно наклонилась вперед, голова покачалась и скатилась ей за спину. В зале было почти темно. Буфетчик, зевая, поднялся с табуретки и зажег керосиновую лампу. Свет упал на середину стойки с тарелкой засохших плюшек, на стоявшего перед стойкой оборванца, неизвестно как попавшего на деревенскую станцию, на колени Марьи Михайловны. Она сунула газету под руку и в третий раз вынула из конверта, исписанный знакомым размашистым почерком, лист. Письмо было не совсем понятное, важно было, что оно было первое за много лет, и где-то за обычным вызывающим тоном мелькало новое смягченное чувство.

„Мама! Пишу наспех. Я решила сделать то, что необходимо. Если что-нибудь услышишь, пожалуйста, не воображай, что я раскаиваюсь. Мои убеждения не изменились, все было правильно. Плохо только, что так мало честных людей. Вчера мне приснился странный сон. Эту

глупость я от тебя унаследовала. Будто Дима маленький, лет восьми, и несет тарелку с супом. Суп разлился, и я рассердилась. Потом не помню. А в конце он опять несет какую-то длинную посуду, и супу много, только очень жидкий. И смотрит так хитро, думает, я не замечу, что он подлил воды. Я еще больше рассердилась и стала его шлёпать. А спина такая узенькая, синяя и скользкая. Я замахиваюсь, а рука все не доходит. Он оглянулся и говорит : Вот видишь ! Вот видишь !

Если он вернется, объясни ему все. Он, может, не поймет — никто ничего не понимает, — но ты все-таки постарайся ! Все вспоминаю, как одна женщина, должно быть пьяная, меня прокляла, меня и Диму. Так и сказала : Вспомните меня ! Но за что его ? ”

Звонко, неожиданно, над самой головой ударил колокол. Вся зала пришла в движение — люди вскакивали, хватили мешки, качаясь, тыкались во все стороны. В дверях сбилась пробка, кто-то кинулся к заднему ходу и, как стадо овец, за ним бросились другие.

В холодном отчаянии Марья Михайловна вышла из опустевшего зала на платформу. Так она и знала, что дети опоздают... В бессильном раздражении она закрыла глаза.

Земля дрожала, шум нарастал, в пустых постройках грохнуло эхо, зазвенели рельсы. С лязгом и грохотом, обдавая паром, налетел огненный, пышущий паровоз, прогрохотали темные вагоны, и перед растерянной толпой мелькнула, обвешанная серыми фигурами, задняя площадка.

Ворча, ругаясь, проклиная, все потащились назад. Марья Михайловна осталась одна на платформе. За черной полосой леса догорал бледный, прозрачный закат, перерезанный фиолетовыми и пурпурными облаками. Где то вдаль чутко перестукнули колеса и все стихло. Ее вдруг охватило отчаяние. Конечно, что-то случилось ! Не могли они быть так долго. До Ненашева час, полтора... Какое безумие было туда итти ! В доме хули-

ганы, тащут все, что осталось . . . Разве поверят, что они вернулись просто так, за какой-то ерундой . . . Или косяглазый приехал . . . А вдруг попали под поезд, бежали по рельсам, не успели сойти . . . Как я была счастлива, еще утром, и даже не понимала !

Из окна конторы падала полоса желтого света, спотыкаясь стучал телеграф. Над головой гудели провода, где-то глухо журчала вода. Со стороны водокачки кто-то шел, шмурыгая по земле ногами. Поровнявшись с ней, человек стал и качнулся.

— Уезжаете, мамаша ? — пьяно пробормотал он : — Стрекача задаете ? А то они вчера говорили надо задержать, узнать куда она спрятала мягкую мебель . . .

Он наклонился, с довольной усмешкой заглянул в ее перепуганное лицо и побрел дальше. Марья Михайловна зашла за угол и в изнеможении прислонилась к стене. А они еще воображали, что могут куда-то уехать, спокойно жить . . .

У переезда, в той стороне, где зияла темная пустота Ненашева, хрустнул гравий, прозвенел молодой, беспечный смех. С минуту было тихо, потом хруст повторился ближе — кто-то спешил, бежал, уже слышно было тяжелое, прерывистое дыхание.

— Нет, стой ! — крикнул запыхавшийся Любин голос : — Я больше не могу. Все равно уже поздно — прошел !

— Я тебе говорил !

— Нет, я уверена, он не останавливался . . .

Марья Михайловна откинула голову и набрала полную грудь воздуха. Теплая волна прошла по всему телу. Они были живы, здесь, около нее . . .

Сережа остановился на краю платформы, спиной к двери ; Люба, покачиваясь, старалась удержаться обеими ногами на рельсе.

— Все-таки я очень рада, что мы сходили ! — сказала она прерывающимся от усилия голосом : — Теперь

у меня совсем другое чувство, я знаю, что это не навсегда и я вернусь !

— Главное надо помнить, что дурное тоже хорошо, тоже жизнь ! Если поймешь, станет легко и нестрашно. Как Иоанн Дамаскин :

И посох свой благославляю,
И эту нищую суму,
И мир от края и до края,
И солнца свет, и ночи тьму.

Люба качнулась, раскинула руки и спрыгнула на землю. Кусок шлага, позванивая, ударился о рельсу.

— Это все философия, — сказала она пренебрежительно, — я люблю простую жизнь, как есть, без прикрас !

— Простой жизни не бывает.

— Ты не понимаешь ! Я говорю саму жизнь, а не рассуждения. Лев Александрович тоже никогда не мог понять. Знаешь, я думаю, если б этого с ним не случилось, все равно ничего не вышло б, я бы чувствовала себя чужой, вроде белой вороны . . .

Сережа засмеялся.

— Все мы, Чернышевы, белые вороны, даже Елена, и Дима тоже. Революция тут ни при чем, я и в гимназии и в университете чувствовал, что туда не принадлежу, старался и не мог. Ничего, будем жить сами по себе — измениться мы не можем. Ну, идем !

Он открыл дверь и они вошли в набитую людьми, душную, смрадную клеть. Высоко на бледном небе зажглись две звезды.

A. ROSSEELS PRINTING C°
Vaartstraat 70 — Leuven
☎ (016) 219.62 — Belgium
